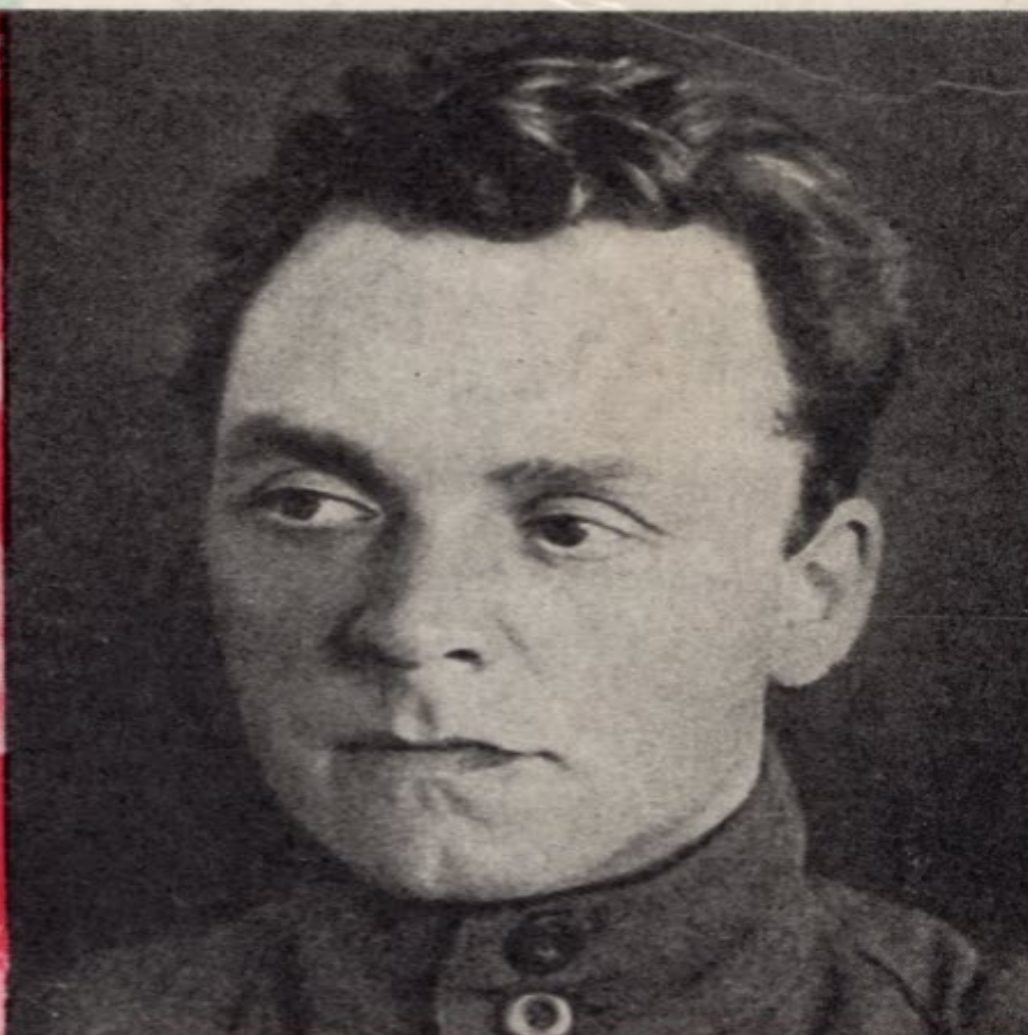


ФУРМАНОВ



Александр
Исбах



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

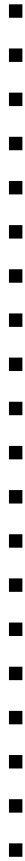
Книга рассказывает о жизни и творчестве знаменитого писателя Д. А. Фурманова.

[Адаптировано для AlReader]



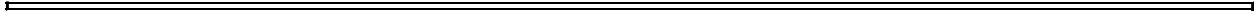
FB2 книгу сделал *mefysto*

- [Александр Исбах](#)
 -
 -
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -



- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [INFO](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 16
(457)

МОСКВА
1968

Александр Исбах

ФУРМАНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

М., «Молодая гвардия», 1968



Deery

ПРОЛОГ

Внутрипартийная дискуссия в начале двадцатых годов в Московском университете протекала напряженно и бурно. Нас, комсомольцев, на закрытые партийные собрания не допускали, но и до комсомольских собраний докатывались волны дискуссии. На общем комсомольском собрании факультета общественных наук оппозиционеры предприняли разведку боем. Какой-то незнакомый большеголовый тучный человек призывал освежить, как он сказал, «застоявшуюся» партийную кровь. Он заигрывал с комсомольцами, напоминал о вечно передовой роли молодежи. Говорил оратор цветисто, злоупотребляя картинными, театральными жестами, пересыпал свою речь выпадами по адресу руководства партии, обрушивался на «бюрократизм» в партийном аппарате. Председатель, отметив недопустимый тон, предупредил следующих ораторов. И тогда поднялся худенький чистенький юноша в белом отложном воротничке и пронзительным голосом начал выкрикивать:

— Слова не даете сказать! Рабочий класс скажет свое слово. Не за то боролись!

В разных местах зала одновременно раздались аплодисменты, протестующие крики, свистки. В общем шуме трудно было уже что-то разобрать. Но кто дал право этому юнцу говорить от имени рабочего класса? Когда и где он боролся, этот маменькин сынок? Несколько человек рванулись к трибуне. Я тоже что-то кричал, просил слова.

В этот момент к кафедре вышел коренастый, плечистый человек в военной гимнастерке, с орденом Красного Знамени. Он поднял руку, и все затихли. Он говорил, не повышая голоса. Просто, задушевно беседовал со слушателями, убеждал их, как старший младших. Но делал это так, что нигде, ни в одной фразе вы не ощущали ноток превосходства. Он ничего не навязывал вам, но слова доходили до самого сердца. Краснознаменец рассказывал об истории партии, о Ленине и его учениках. Приводил красочные и убедительные примеры из недавней истории гражданской войны. Он говорил о мудрости руководителей-ленинцев и называл в их числе товарища Фрунзе, которого, оказывается, он и лично хорошо знал. Мне казалось, что я еще никогда не слышал подобной речи. Его слова глубоко подействовали на комсомольцев. Юноша в белом воротничке пытался еще что-то выкрикивать, но его не слушали.

Прения вскоре закрылись, моя речь так и осталась несказанной. Да

после речи краснознаменца она не так уж была и нужна.

— Кто это был, этот, с орденом? — спросил я товарища, однокурсника.

— Как, ты не знаешь? — удивился он. — Это наш студент, Дмитрий Фурманов, бывший комиссар дивизии.

Это было как раз в ту пору, когда Дмитрий Фурманов писал книгу «Чапаев». Мы познакомились в тот же день. И с этого вечера Дмитрий Фурманов занял большое место в моем сердце. Он рассказывал мне о жизни, читал главы будущей книги, и я видел живых героев, радовался победам Чапая и тяжело переживал его гибель.

Много позже, после смерти Фурманова, нам пришлось выехать в Иваново совместно с его старшей сестрой Софьей Андреевной и одним из лучших его друзей, впоследствии героически павшим в боях за свободу испанского народа, погибшим под Уэской, замечательным человеком Мате Залка.

Мы бродили по улицам Иванова, фурмановским местам. Вышли на Талку. Туда, где в 1905 году царские жандармы убили старого ткача — Отца, Федора Афанасьева.

Мы нашли на Советском проспекте старый дом, где жил Митяй, и долго беседовали с жильцами-соседями. Некоторые старики еще помнили Митяя (так звали его близкие друзья), с гордостью рассказывали о детстве своего замечательного земляка.

Мы выступали на ивановских заводах, рассказывали о жизни и борьбе Фурманова. И, в свою очередь, выслушивали десятки рассказов о его юности. Еще были в живых многие старые ивановские большевики, знавшие Фурманова юношей, любившие и ценившие его.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ

1

7 ноября 1891 года в семье Андрея Семеновича Фурманова родился третий ребенок, которому дали имя Дмитрий. В ту пору Фурмановы жили в селе Серeda Нерехтского уезда Костромской губернии. Село лежало на большой проезжей дороге, в 30 верстах от Иваново-Вознесенска.

Детство Дмитрия было нелегким. «Из своей ранней жизни, — записывает впоследствии Фурманов в дневник, — я ничего решительно не помню — лишь по рассказам старших, я был ужасный драчун. Смутно помню жизнь в шесть-семь лет, когда я был заводиловкой всех драк».

Отец Митяя не был уроженцем Середы. Он пришел сюда, как многие обездоленные, безземельные крестьяне, в поисках заработка. Родом он был из деревни Алешино Ярославской губернии, восьми лет остался сиротой, мыкал горе по чужим углам, пока не подвернулся случай устроиться в один из трактиров старинного города Ростова.

Семья Фурмановых увеличивалась быстро. Кроме старшей дочери Сони, уже подрастали Аркадий и Митяй.

Андрей Семенович перевез семью в Иваново-Вознесенск, когда Митяю минуло шесть лет.

Сначала Фурмановы поселились здесь в подвальном помещении дома Миловых на 2-й Троицкой улице, но вскоре отец купил дом под векселя, близ базара, и открыл в нем чайную.

Характер у отца был крутой. Ему ничего не стоило вспылить из-за пустяка, накричать на детей. Дети боялись отца, но любили его. В минуты хорошего настроения Андрей Семенович ласково гладил по голове ребятишек, учил их уму-разуму, шутил, рассказывал всякие забавные истории.

Митяю, непоседливому и озорному, любителю всяких приключений, больше всех доставалось в семье.

Семья Фурмановых все увеличивалась. К 1903 году появилось еще

четверо детей — Саша, Лиза, Сережа и Настя.

Много забот ложилось на руки матери, неустанно хлопотавшей около ребят. В полночь она просыпалась, чтобы успокоить малюток, а чуть свет хлопотала на кухне, готовила пищу, ставила ведерные самовары для чайной. Митяй горячо любил свою мать и часто с грустью вспоминал о ней в годы долгой разлуки.

Жизнь становилась год от году все тяжелее и непригляднее. Лишь старшая сестра Соня имела отдельную маленькую комнату, в другой столь же крошечной комнате жили Аркаша и Митяй, а остальные четверо вместе с няней спали на кухне, дышали чадом и гарью всегда разжигаемых самоваров, часто болели. Когда Митяю исполнилось восемь лет, его определили учиться в шестиклассное городское училище. Крепкий, жизнерадостный и любознательный мальчик с нетерпением ждал начала школьных занятий.

В школе он сразу стал вожаком, неизменным участником всяких «событий». Но это не мешало ему прилежно учиться.

Возвращаясь из школы с заткнутыми за ремень тетрадями, он всегда радовал старших своими новыми успехами.

Особенно увлекали его занятия по русскому языку и литературе.

Митяй облюбовал для себя чуланчик и, вернувшись из школы, часто просиживал там целые часы. Он начал сочинять стихи.

Стихи он писал почти каждый день и переписывал их в большую толстую тетрадь. В одном из первых своих стихотворений Фурманов возвещал:

*Милую науку —
Русский наш язык —
Я учу усердно,
Ибо курс велик.*

Стихи были, конечно, ребячески наивными, беспомощными. Здесь были и лирика и школьный «эпос», описание классного быта и сатира на школьные нравы.

Появлялись в этих стихах и социальные мотивы, ощущалась уже и публицистическая направленность, чувствовался духовный рост беспокойного подростка. Таков был и целый цикл стихов, посвященный войне с Японией: «Война с Японией», «Отражение врага», «Освобождение Порт-Артура».

Об увлечении Митяя поэзией рассказывает и его школьный друг, а потом соратник по Чапаевской дивизии, ныне Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Михайлович Хлебников. «По инициативе Митяя мы начали выпускать первый наш ученический журнал. Помещали сатиру, стихи, рассказы, рисовали карикатуры и шаржи, высмеивали отдельных учеников и нелюбимых учителей... Только два-три номера журнала успели выпустить и «засыпались». Неизвестными путями журнал попал к инспектору училища Городскому, начались вызовы, допросы».

А от Городского добра ждать не приходилось. Это был типичный царский чиновник, сухой, черствый человек, обижавший детей и заставлявший их выполнять самую бессмысленную работу.

Одноклассник Фурманова А. Н. Киселев вспоминает, что о грубом произволе Городского появилась заметка в костромской газете. Инспектор решил, что это дело рук Фурманова, и стал всячески притеснять его.

Были у Митяя неприятности и с попом Александром, преподававшим «закон божий». Воспитываясь в религиозной семье, юноша не любил, однако, ходить в церковь, не любил отца Александра и под разными предлогами не являлся к нему на исповедь, за что его не раз распекал все тот же инспектор Городской, который давно бы выгнал из училища ненавистного ему «стихоплета», если бы Митяй не учился так успешно и безупречно.

Особенно он пристрастился к литературе и, сидя в том же чуланчике, с упоением читал Майн Рида, Конан-Дойля, Жюль Верна, Вальтера Скотта. Нередко прочитанные книги вдохновляли его на новые стихи.

Деньги, которые давал ему отец на леденцы и пряники, он тратил на книги.

Но не только книги волновали подростка.

Он пристально вглядывается в окружающую его жизнь, жизнь большого фабричного города Иваново-Вознесенска, со всеми его социальными противоречиями и назревающими классовыми схватками. Несколько богатых особняков фабрикантов и тысячи убогих лачуг рабочих. Довольные барской своей жизнью капиталисты и подавленные тяжелым трудом, полуголодные рабочие-ткачи. Растет классовая ненависть. Всего этого не может не заметить впечатлительный юноша. Город ткачей начинает занимать значительное место уже в ранних стихах и первых прозаических набросках Дмитрия Фурманова.

— Едва ли в Российской империи, — вспоминает старый ивановский литератор Г. И. Горбунов, — можно было встретить такой же город, каким выглядел в начале века Иваново-Вознесенск с его обезображенными, словно прокопченными улицами, застанным гарью небом и маленькой речушкой Уводью, которая источала зловонье фабричных отбросов.

Город славился цветастыми своими ситцами, огненным кумачом, эластичными сатинами. Ткани распространялись по всей империи, шли и на экспорт, фабриканты и купцы наживали большие капиталы. А ткачи, прядильщики, красильщики изнывали от непосильного труда, нищенствовали, жили впроголодь. Дети рабочей бедноты умирали от недоедания.

Единственной отрадой ткачей были часы, когда они шли за город, на опушку соснового леса, на речку Талку. Здесь взвивались кумачовые флаги первых маевок, здесь-то и стали звучать первые слова протеста ивановских ткачей.

Митяю казалось, что жизнь в городе идет по раз навсегда установившимся обычаям. Но вести о волнениях на ткацких фабриках проникали и в школу. Весь город взбудоражен был январскими событиями в Петербурге, Кровавым воскресеньем, когда по приказу царя были убиты и ранены перед дворцом многие сотни рабочих. Узнал Митяй и о забастовке на ремонтном заводе и на фабрике Полушина, и о том, как на фабричный двор ворвались вооруженные казаки, избивали нагайками рабочих, многих увели в тюрьму.

Именно в те дни попалась ему на глаза и первая партийная прокламация. На листке, приклеенном к забору, большими корявыми буквами было написано:

«Не хватает больше сил терпеть! Оглянитесь на нашу жизнь — до чего довели нас хозяева! Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни! Довольно! Час пробил!.. Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя... Пора приняться добывать себе лучшую жизнь! Бросайте работу, присоединяйтесь к нашим забастовщикам, товарищи!»

И дальше слова, которые особенно поразили подростка:

«Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует российская революция!»

И подпись, непонятная и таинственная:

«Иваново-Вознесенская группа Северного Комитета РСДРП».

Что означали загадочные эти буквы — РСДРП, Митяй не донял. Не совсем понятен ему был и самый смысл листовки. Но сердце забилося гулко и тревожно.

Вместе с братом Аркадием Митяй не раз убегает из дому на Талку, где происходят бурные демонстрации и митинги ивановских ткачей, где выступают рабочие вожаки: старый ткач Федор Афанасьев (Отец) и Евлампий Дунаев. Здесь он впервые услышал и горячую речь молодого агитатора, любимца рабочих товарища Арсения, Трифоныча.

«Он еще и думать не мог тогда, тринадцатилетний Митяй Фурманов, что этот человек, Михаил Васильевич Фрунзе, сыграет такую важную роль во всей его жизни.

Не все в речи Арсения было понятно подростку. Но одно запечатлелось навсегда. Он говорил о необходимости борьбы «с самодержавием и капиталистами, о борьбе за свои, рабочие «права.

Между тем события в городе развивались. Росли ряды забастовщиков. Летняя стачка длилась 72 дня и охватила около 70 тысяч рабочих. Создается один из первых в России Совет рабочих депутатов.

Именно в те дни осени 1905 года Владимир Ильич Ленин писал:

«Иваново-Вознесенская стачка показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки. Теперь это брожение стало выливаться наружу, стало превращаться в восстание»^[1].

Полицейские и вызванные фабрикантами казаки совместно с местными черносотенцами жестоко расправляются с забастовщиками. Большая поляна на Талке, где собираются ткачи, не раз становится местом расправ и расстрелов.

22 октября на Талке был зверски убит любимец и вожак рабочих, руководитель иваново-вознесенских большевиков Федор Афанасьев.

Это убийство глубоко взволновало Митяя. Он становится «серьезнее и взрослее, чаще задумывается над глубокими противоречиями окружающего мира.

Образ Отца никогда не покидал творческого сознания Фурманова. К нему он возвращался неоднократно на протяжении всей жизни.

Еще в те осенние дни 1905 года, под непосредственным впечатлением от преступной расправы казаков и черносотенцев (друзья и земляки утверждают, что сам Митяй в те дни тоже изведal казацких плетей), Фурманов пишет стихотворение «И ты заступник».

А через двадцать лет, уже прославленный писатель, автор «Чапаева» и «Мятежа», опять возвращается к дням своей юности и пишет очерки «Талка» и «Как убили Отца». Фурманов рисует облик Федора Афанасьева, величие его духа, показывает вожака героических ивановских ткачей,

которые потом, через годы, влились в Чапаевскую дивизию и составили непобедимый ее костяк.

«В это время издалека прояснилось смутное пятно черной сотни — она валила на Талку. Позади, как там, на Шереметьевской, вздрагивала казацкая конница.

Решили отойти за мостик — встали около будки, у бора. И когда ревущая пьяная ватага сомкнулась на берегу — заорала к будке:

— Высылайте делегатов... Давай переговоры!

Стояли молча большевики. Никто не тронулся с места. И вдруг выступил Отец, за ним Павел Павлыч. И никто не вздумал удержать — двое через луг ковыляли они на речку. Вот спустились к мостику, перешли, встали на крутом берегу — их в тот же миг окружила гудущая стая. И только видели от будки большевики, как заметались в воздухе кулачищи, как сбили обоих на землю и со зверьим ревом заплясали над телами. Выхватил Станко браунинг, Фрунзе кричал чужим голосом:

— Бежим стрелять. Пока не поздно. Товарищи!

Николай Дианов крепко Фрунзе схватил за рукав:

— Куда побежишь, безумный, — иль не видишь казаков.

Дрожали в бессильном гневе, но все остались у будки... Вот Павел Павлыч вдруг вскочил, спрыгнул к речке и через мостик мчится сюда... Его подхватили, стащили в лес...

И видно, как поднял окровавленную голову Отец, но в миг его сбили наземь и снова бешено замолотили глухими тупыми ударами...

Когда окончена была расправа — повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотней весело ускакали желтые казаки.

В пустом и тихом поле лежал одиноко окровавленный труп Отца...»

Фурманов не раз говорил мне о своей мечте написать эпопею об ивановских ткачах. В центре этой эпопеи должен был стоять Отец — Федор Афанасьев. Рядом с ним Трифоныч, Арсений — Фрунзе...

Еще весной 1905 года Митяй окончил шестиклассное училище. Надо было учиться дальше. Родители хотели зачислить сына в торговую школу, где учился их старший сын Аркадий. Узнав об этом, Митяй расстроился: уж очень не хотелось стать бухгалтером, когда душой овладела поэзия.

Чтоб не обидеть родителей, Митяй поступил все же в торговую школу (теперь средняя школа № 26 имени Д. А. Фурманова). Здесь он осваивался

медленно. Слишком претили его душе финансовые премудрости, и лишь уроки литературы как-то скрашивали безотрадную перспективу сидеть за конторкой какого-нибудь купца или фабриканта.

Товарищей он заводил не сразу, подолгу присматриваясь к окружающим людям, словно боясь доверить им свои мысли и желания, пока не пригляделся, наконец, к одному из них, учившемуся в другом классе. Таким человеком был Миша Колосов. Он пришелся по душе Митяю своей любовью к литературе. Между ними завязалась настоящая дружба. Миша увлекался поэзией Некрасова, Никитина, Кольцова, читал Белинского и Чернышевского, приносил в школу книги, которые открывали Митяю совсем новые, неведомые ему миры, знакомил его с текстами рабочих революционных песен. Митяй охотно проводил с ним все перемены, нередко читая Мише в укромном уголке свои новые стихи.

Колосов очень привязался к своему юному другу. Впоследствии он писал в своих воспоминаниях:

«Он был хорошо сложен, красив, силен. Но товарищи любили Митю Фурманова не за внешность, а за его прекрасный характер, отличительными чертами которого были прямота, правдивость и честность. Особенно презирал Фурманов подхалимство и рабское чиновничество, которое настойчиво воспитывалось тогда в торговой школе. Учился Фурманов хорошо, а его сочинения по литературе были всегда лучшими в классе. Он часто писал небольшие шуточные стихи о товарищах и преподавателях, хорошо пел и декламировал...»

«Шуточные стихи», о которых вспоминает Колосов, были порой весьма язвительными и острыми. Они были адресованы людям мелким, хвастливым, беспринципным и попадали, что называется, не в бровь, а прямо в глаз.

В то же время Фурманов пишет немало стихов, посвященных людям из народа, труженикам, страдающим от притеснения богачей.

Большое впечатление производят на юношу произведения, где воспевается борьба, героическое начало.

Знаменитая «Песнь о Роланде» взволновала его. Роланд, борющийся против несметных мавританских полчищ, изнемогающий, но не сдающийся, трубящий в знаменитый свой рог, снился ему по ночам. Он написал стихи: «Долина Ронсевалья».

...Но вот минули и годы учения в торговой школе. Теперь перед ним открывалась безрадостная перспектива стать бухгалтером на одной из фабрик. Кусок хлеба, конечно, обеспечен, однако он мечтал о дальнейшей

учебе.

Попытки сдать экзамены сначала в Ивановское, а потом Костромское училище окончились неудачей. Наконец после долгих проволочек он был принят в 5-й класс Кинешемского реального училища.

Кинешма... Новая страница открывается в жизни Фурманова. На первых порах Дмитрий чувствовал себя в Кинешме неловко. Ему минуло уже 17 лет. Он на два-три года старше своих одноклассников. Но юные товарищи его сразу увидели в нем человека более развитого и опытного, и многие из них старались подражать ему во всем. На первых же школьных вечерах Митяй покорила сердца своих соучеников. Он вдохновенно читал стихи Некрасова, взволнованно декламировал Тютчева. «Репертуар» его был разнообразен. Круг интересов широк. От Лермонтова до Надсона. Гражданские мотивы и сокровенная интимная лирика. И потом он сам был поэтом. Это особенно привлекало и одноклассников и приглашаемых на вечера девушек-гимназисток.

А вскоре пришла и первая любовь.

Покидая Иваново-Вознесенск, Фурманов увез в Кинешму образ девушки, с которой не был знаком и ни разу не обменялся ни одним словом.

Между тем образ этот все чаще возникал и в мечтах его, и в раздумьях, и в воспоминаниях о родном городе. Временами приходила даже мысль покинуть Кинешму, вернуться в Иваново, познакомиться с девушкой, которая не раз встречалась ему на Негорелой улице, близ пожарного депо.

Он явственно представлял себе эту девушку с голубыми глазами, смуглым лицом, в темно-синем пальто с белой горжеткой. «Кто она? — не раз спрашивал себя Фурманов. — Барышня из купеческого дома? Дочь фабриканта? Нет, не похоже!» Иваново-вознесенские купчихи держались обычно гордо, неприступно, отчужденно от рабочих, а ее Митяй часто видел с подругами, одетыми бедно, несомненно из рабочих — семей. Дмитрий упрекал себя за то, что у него не хватило смелости подойти к незнакомке, заговорить с ней, может быть, подружиться с ней. Тогда бы легче было жить и учиться в Кинешме.

Он успокаивал себя тем, что, как только вернется домой на рождественские каникулы, наберется смелости и познакомится с ней.

На первых порах Фурманов поселился на квартире делопроизводителя реального училища Птицына. Общая комната, крик малолетних детей...

Жил Дмитрий очень скромно, зарабатывал на жизнь репетиторством, ухитряясь из весьма ограниченного своего бюджета выделять средства на книги, на — создание маленькой своей библиотечки.

Время его было точно распределено. Учеба. Чтение художественной литературы. Уроки.

«Выделял он время и для отдыха, — рассказывает его товарищ и одноклассник Н. В. Шляпников, — каждый вечер... мы выходили на бульвар на набережной Волги. Это было любимое место отдыха не только нас, но и всех кинешемцев.

Зимой любили посещать театр. Кинешемский театр в то время был одним из лучших театров в губернии по составу труппы и по игре. Здесь можно было видеть игру артистов Малого театра...»

Один из близких друзей Митяя по реальному училищу, Михаил Сокольников, хорошо охарактеризовал впоследствии обстановку, в которую попал Фурманов:

«Наше восприятие жизни ограничивалось стенами училища. Вспоминаю унижительную опеку со стороны классных надзирателей, которым вменялось в обязанность посещать квартиры учащихся. В первую очередь под такой надзор попадали «нахлебники», то есть те, кто жил на частных квартирах. К таким ученикам принадлежал и Фурманов, не имевший в Кинешме родственников и снимавший комнату со столом в чужих семьях. Надзиратели под предлогом проверки поведения питомцев рылись в книгах и тетрадях, допытывались, каких авторов читает «нахлебник», кто его товарищи и куда он ходит. Из нас основательно стремились сделать «верноподданных», пытаясь пресечь всевозможную «крамолу» в зародыше.

Дыхание общественной жизни в стране проходило мимо нас, мы были полностью изолированы от нее, и естественно, что атмосфера мещанства и обывательщины обволакивала наши души...

А ведь вокруг Кинешмы, да и в самом городе было много фабрик и заводов, нарастало рабочее движение, но «стена режима» прочно отгораживала нас от жизни народа».

М. П. Сокольников рассказывает и о том, какое впечатление на учеников-реалистов произвел Фурманов: «В замкнутую обстановку реального училища Фурманов ворвался как свежий ветер, как порыв лучших устремлений молодости. Этот крепкий юноша, с копной красивых каштановых волос, с глубокими карими глазами, весь как-то светился. Выл Митяй всегда подтянут, опрятно одет, и я сейчас ясно вижу, как он прочно, крепко держит правую руку за широким ремнем своей куртки, как

энергична его походка, как высоко поднята грудь, как горит, да, да — именно горит его лицо.

Я не помню унылости, скуки, усталости на лице Фурманова — оно всегда полно было бодрости, живости, кипучести его натуры. В нем бурлили большие внутренние силы, шла постоянная борьба мысли, сверкали чистые человеческие чувства...»

Первые три месяца пребывания в Кинешме прошли незаметно. Приближались рождественские каникулы, Фурманов мечтал о поездке домой, в Иваново-Вознесенск, о встрече с девушкой своей мечты, о знакомстве, о дружбе, о... кто может знать... о любви.

Много читая, он искал черты сходства героинь романов со своей незнакомой еще, будущей подругой. Искал и... находил, еще ничего о ней не зная.

В конце декабря Дмитрий приехал в Иваново-Вознесенск.

В ночь под Новый год в Приказчиьем клубе состоялся бал-маскарад.

Фурманов, осмелев, пригласил девушку на вальс. Она охотно согласилась...

С того новогоднего вечера он зачастил в дом брандмейстера, отца новой знакомой, гимназистки Наташи Соловьевой. Молодые люди уже обращались друг к другу на «ты», проводили долгие часы в сокровенных беседах и никак не могли наговориться. Фурманов убедился, что Наташа непохожа на пустых, кисейных девушек, она много думала о несправедливостях житейских, и мысли ее были часто сродни мыслям Митяя.

Гневно обрушивался Дмитрий на людей, главной целью которых является нажива. Он рассказывал Наташе о прочитанных книгах, о любимых героях, всегда борющихся против косности, против тьмы, за народное счастье. В маленькой Наташиной комнате и в укромной излюбленной ими аллее Графского сада звучали стихи Пушкина, Лермонтова.

Митяй читал Наташе и свои новые стихи, многие из которых были ей посвящены. Однако агитатор по самой натуре своей, он иногда увлекался и произносил перед девушкой целые речи, чтобы, как думал он, воздействовать на нее и окончательно сформировать ее сознание.

Наташе очень нравился красивый, вдохновенный юноша, так непохожий на всех окружающих ее людей. Поэт... Но от длинных его тирад ей становилось порой скучно. И обличительным стихам его она предпочитала интимные, лирические.

Часто беседовали они о будущем.

— По окончании гимназии жить самостоятельно, ехать в деревню, учить крестьянских ребятишек. Согласна?! — спрашивал Митяй.

Наташа колебалась. Слишком трудно ей было представить жизнь вне родительского дома. Но Фурманов добивался своего и обрадовался, когда она сдалась. Да, они поедут в деревню, будут работать рука об руку. «Сеять разумное, доброе, вечное...»

Дмитрий вернулся в Кинешму расстроенный разлукой с Наташей, но окрыленный романтическими мечтами о будущем.

Впереди были еще долгие годы учебы в реальном училище, а Дмитрий уже мечтал об университете, о большой общественной деятельности, о творческой работе.

Смелый, начитанный, остроумный, Фурманов собирал вокруг себя всех, кто привлекал его своим отрицательным отношением к казарменным порядкам в училище.

Опасения вызывал он только у некоторых наиболее реакционных преподавателей.

— В классе, — вспоминает один из одноклассников Фурманова, Николай Смирнов, — Дмитрий сидел на «Камчатке» у окна, за которым открывался лесной заволжский простор. Фурманов во всем любил порядок, точность и чистоту. (Эта черта сохранилась у него на всю жизнь.) Парта, за которой он сидел, сверкала лаком, учебники были обернуты толстой цветной бумагой, в тетрадках не было ни одного чернильного пятна, карандаш был постоянно тонко заточен, твердое и чистое перо легко скользило по бумаге.

Однажды было задано домашнее сочинение на тему из эпохи Кромвеля. Фурманов, строго придерживаясь исторических фактов, написал яркое, смелое и страстное рассуждение о революции. Исписал целую тетрадь. Учитель истории Иван Васильевич Голубев, возвращая ему сочинение, сказал:

— Я вам поставил двойную отметку: пять за изложение, за слог и единицу за смысл, за содержание. Суждения ваши возмутительны и должны явиться предметом особого разбирательства на заседании педагогического совета.

— Но ведь английская революция, как и французская, как и наш тысяча девятьсот пятый год, — исторический факт, — ответил со своим

обычным спокойствием Фурманов.

Голубев нахмурился.

— Во-первых, не революция, а бунт, а во-вторых, сии печальные факты мы должны расценивать так, как они расцениваются в учебниках, рекомендованных министерством... — Иван Васильевич перешел на соболезнующий тон. — Одуматься, одуматься надлежит: на краю бездны, над самой стремниной стоите, молодой человек! Закончите реальное училище, поступите в университет. А там попадете на студенческие сходочки, запрещенную литературу будете почитать, за литературной пойдут практические зловерности, а там, глядишь, казенные харчи, серая бескозырка, а за сим — матушка Владимирка, «слышен звон кандалный», и прочая, и прочая.

Фурманов слушал Голубева с чуть заметной насмешливой улыбкой.

Одним из главных недругов Фурманова был учитель химии Ладухин, грузный, немолодой, хмурый человек, известный своим грубым отношением к ученикам.

Реалисты старших классов выпускали «подпольный» рукописный журнал. В журнале было немало эпиграмм и карикатур на нелюбимых учителей. Однажды в журнале появился едкий фельетон, посвященный химику.

Писал его Коля Бобыльков, но Ладухин решил, что автор фельетона Фурманов, главный заводила «бунтарей». Он решил отомстить крамольному ученику.

Вскоре по докладу Ладухина «крамольника» Фурманова на несколько месяцев исключили из училища. Чтоб одумался. Это глубоко огорчило Дмитрия.

Фурманов к тому времени уже перебрался с квартиры Птицына в дом Василия Илларионовича Гаврилова, на спуске крутой горы, по Солдатской улице, неподалеку от реального училища. Хозяин дома Гаврилов, человек довольно прогрессивных взглядов, хорошо принял молодого своего постояльца и любил потолковать с ним о жизни, о литературе.

В квартире Гаврилова Фурманову была предоставлена отдельная, хоть и маленькая, комнатка. Здесь у него часто собирались друзья, здесь происходили заседания созданного Фурмановым литературного кружка. Из окна комнаты открывался прекрасный вид на реку, на заречные густые леса.

На столе, застланном голубой бумагой, стояла керосиновая лампа с голубым абажуром (голубой — любимый цвет Дмитрия), в образцовом порядке лежали книги.

Тут были Пушкин и Толстой (портреты Толстого, цитаты из его произведений были развешаны по всей комнате), Тургенев и Чехов, Шекспир и Гёте, Белинский и Добролюбов, Чернышевский и Писарев, Ключевский и Соловьев. Были и сборники «Знания» с произведениями Горького, журналы, где печатались Бунин и Алексей Толстой, Куприн и Сергеев-Ценский, Вересаев и Серафимович (он и думать еще тогда не мог, Митяй Фурманов, что через какой-нибудь десяток лет будет переписываться с Горьким, познакомится с Вересаевым, станет другом Серафимовича). Среди книг стояли две фотографии в узорных рамках из темно-розового орехового дерева. На одной была снята тройка друзей: Фурманов, Румянцев, Шорнинг, на другой — Наташа Соловьева. Гимназическая форма. Тонкое, чуть удлинненное лицо, большие глаза, длинные косы... Тургеневская девушка...

Как всегда, время у Фурманова было строго рассчитано. Утром — училище. После обеда он готовился к занятиям на следующий день, а потом шел на уроки. У него было трое учеников в купеческих семьях Кинешмы. Кроме этих уроков, он еще немного подрабатывал репортерской работой в газете «Кинешемец», где печатал под различными псевдонимами заметки на местные бытовые и общелитературные темы.

...Вечера... Долгие вечера над книгами. Он всегда читал с карандашом в руках, делал пространные выписки. Вечера, полные раздумий и мечтаний. И длинные взволнованные письма Наташе. И стихи. Он писал их часто, почти каждый день. Писал. Зачеркивал целые страницы. И снова писал. У него было уже немало друзей. И все же он не мог передать им самые сокровенные свои мысли. 24 июня 1910 года он нашел, наконец, самого близкого и самого верного друга и собеседника, с которым не расставался до последних дней своей жизни. Это был дневник.

Дневник Фурманова (конторская книга большого формата) открывается стихами, которые могут послужить эпиграфом ко всем дневниковым его записям:

*Я ждал тебя... и ты пришел...
Теперь мне есть пред кем открыться...*

Запись 26 июня^[2]. Первая «программная» запись Фурманова:
«Наконец-то я сижу с ручкой в руке и строчу давно жданный дневник свой...

В дневнике своем я намерен писать все то, что в данный момент

бродит у меня в голове... безо всякой проверки, систематизации или особой последовательности: есть возвышенная мысль — катай ее сюда; вспомнилось, как в детстве яблоки воровал, — вали пиши!.. Почему же мне не приняться и не написать повесть о себе? Я в душе тоже поэт: я пишу стихи, интересуюсь литературой, терзаюсь за русский язык и очень ревную порой к нему приближающихся, но, по-видимому, недостойных. И с детства своего я здесь намерен написать лишь то, что без особенного направления мысли смогу переложить на бумагу, т. е. факты, возможно ярко характеризующие меня (если только характеристика моя пригодится будущим поколениям).

На свое будущее я смотрю спокойно, мне думается *почему-то, что я должен сделаться писателем и обязательно поэтом...*»

Уже в этой первой записи молодого Фурманова возникают основные проблемы, волновавшие его всю жизнь.

«Великое дело любовь!.. Я говорю о той любви, которая больше походит на уважение, на сострадание, на понимание чужих нужд и вообще на гуманное отношение к человеку, да, именно гуманное...

...Гуманизм — это направление... проникнутое уважением к человеку, к его потребностям, способностям, наклонностям и т. п. и т. д. Вот именно этого-то гуманизма я и придерживаюсь: я уважаю человека, кто б он ни был, я смело могу даже сказать о себе, что «я могу полюбить даже человека единственно за то, что он беден». И это я говорю чистую правду, ничуть не рисуясь и не хвалясь своими чувствами, — я бедных люблю более, нежели богатых. Бывают со мной часто такие случаи: говорят что-нибудь о человеке хорошее, достойное уважения, подражания и любви, говорят о его добродетелях... Слушаешь, узнаешь, что он богат, а в душу как-то невольно вкрадывается сомнение в чистоте дела: или подозреваешь аферу, или в крайнем случае рисовку... Мало, очень мало верю я богачам... Но стоит сделать бедняку из этого хотя бы сотую долю, как сердце мое уже пылает к нему любовью и уважением; я возношу его в своих мыслях, представляю его себе необыкновенным даже человеком и вижу в нем золотое сердце...»

С этого дня, с 26 июня, Фурманов систематически ведет дневник до конца своей жизни.

2 августа 1910 года Фурманов записывает: «Я постараюсь по возможности исключить из своих писаний все ложное, придуманное. Быть писателем-реалистом — дело великое и полезное...»

Порою, на литературном ли вечере, на бурном ли писательском собрании, мы были свидетелями того, как Дмитрий Андреевич начинал

лихорадочно что-то записывать на клочках бумаги, на крышке папиросной коробки, если бумаги не было под рукой. Это были отдельные зарисовки, записи мыслей. Все это Фурманов бережно сохранял, все это он потом переписывал в дневник, использовал в своей работе. Так же делал он свои дневниковые наброски в походах, в седле, в перерывах между боями. Дневники Фурманова представляют необычайный интерес.

Запись 5 июля:

«...Вчера прочитал Рылеева Кондратия. Он мне очень понравился. Читал я только лирику, заметку его относительно классической и романтической поэзии да несколько писем. Нравятся мне такие натуры: открытые, свободные, энергичные, любвеобильные, готовые идти на самопожертвование.

..В детстве Рылеев был, по-видимому, резвым, остроумным, задорным парнем, хорошим товарищем и, одним словом, «душа нараспашку» или «парень-рубаха». Вот таких товарищей я люблю: он все весел, шутит, часто с болью на сердце, и грустит в уединении — таков именно был Кондратий.

...Я Рылеева считаю одним из лучших передовых людей своего времени...

..Человек только тогда истинно высок, когда, свято исполняя обязанности человека и гражданина, он кладет все свое достояние, материальное и духовное, исключительно на благо общественное...

...Эх, Кондратий, далеко же ты угнал меня, о тебе-то я уж было и кончил, а нужно еще сказать, что ты был великим патриотом, в то же время будучи и великим революционером, кандидатом и соперником современных, конечно, деятелей России, на поприще государственном...»

Рылеев — пример для подражания.

Как хочется, отложив томик Рылеева, взяться за свою заветную тетрадь, за свои стихи.

«Хочется создать что-то крупное, порядочное... Как хочется писать! Как чувствуешь себя на что-то способным...»

Юноша, которому душно в гнетущей обстановке царской школы, бунтует против казенщины и бюрократизма.

Не случайно, что одним из первых любимых героев молодого Фурманова был тургеневский Базаров. В образе Базарова он особенно ценил цельность натуры, честность, борьбу с иллюзиями, стремление к правде.

Все это было близко к мыслям и чувствам Дмитрия, все это было связано с его жизненными идеалами.

Происходит становление мировоззрения Фурманова, связанное со

сложными психологическими сдвигами, с пересмотром многих детских представлений о жизни. Прощание со многими юношескими иллюзиями и «очарованиями».

26 октября 1910 года:

«Как-то все не хочется верить, что мне пошел двадцатый год. Двадцатый год... Двадцатый год!!! Как это много! Подумаешь уж девятнадцать лет я отжил — уже половину, треть или, может быть, четверть своей жизни... Как это много..

...Жизнь в прошлом кажется мне бесчисленным рядом взбираний, остановок, падений и снова и снова подниманий и взбираний все выше и выше... да оно так и должно быть: часть лестницы жизни теперь пройдена, на оставленный путь сверху взглянуть и как будто бы жалко и приятно, а вверх — и таинственно что-то и страшновато... Брел, брел я и, наконец, добрел до зрелой юности... Как-то пройдет она — эта золотая и чудная пора, столь много дающая и столь много сулящая мне?..»

(Если бы он знал, Митяй, что прожил он уже большую половину, что жизнь его окажется такой бурной и такой горько короткой...)

Лето 1910 года Дмитрий проводил в Иванове, в родительском доме Новые встречи с Наташей, волнующие и вместе с тем тревожные: Наташа, как и прежде, не очень-то сочувствовала общественным увлечениям Фурманова, идеалы Митяя казались ей далекими и неосуществимыми. Слишком тревожной казалась ей, привыкшей к домашнему уюту, беспокойная любовь Митяя.

Кончился срок «отлучения» Фурманова от училища.

Правда, и в эти тяжелые для него дни товарищи не оставляли его, часто приходили к своему вожаку, делились всеми школьными новостями.

Жаркие споры о жизни, о литературе продолжались до глубокой ночи.

Приходили и новые друзья. Среди них особое место заняла живая, энергичная гимназистка Марта Хазова.

Она, казалось, гораздо больше понимала его, чем та, любимая, Наташа... А иногда и Наташа и Марта сливались для него в единый образ, близкий и желанный.

Идет к концу учеба в реальном училище. Фурманов задумывается о будущем.

На собраниях литературного кружка — в тесной ли фурмановской комнате или на волжских откосах, куда в воскресные дни уходят друзья, — звучат стихи Некрасова и Никитина.

А прочитав роман модного писателя Арцыбашева, Фурманов негодуяще заносит в дневник:

«Сегодня кончил «Санина» Арцыбашева... Санин как-то нагло равнодушен: что это за истукан, видящий и слышащий о позоре своей сестры и относящийся к этому совершенно безучастно: услышав разговор ее с Зарудиным — он лишь улыбнулся и побрел по саду...

Взгляд его на женщину — взгляд извращенный, сальный, чисто животный... Сальность, цинизм, сладострастие, да, пожалуй, кутеж и бесшабашность, беспринципность — вот характерные черты этого декадентского героя».

Возникает план собственной прозаической повести «Юность». Задача повести — рассказать о мыслях и чувствах своего поколения, о воспитании чувств. О становлении характеров.

«В «Юности» думаю поставить центральное лицо, имеющее в некоторой степени черты и Онегина и, главным образом, Штольца... Хочу выявить и причину «обломовщины» в нашей среде, тем более такая масса наглядных примеров...»

Он разрабатывает уже план повести, делает «заготовки». Намечает характеристики отдельных персонажей.

«Низенький, румяный, довольно красивый. Лысец, враль. Вероятно, не очень нравственный. Любителю рисовать, играть «деятеля». Фуражка на затылке, пенсне. Двойник Грушницкого».

«...Н. Суханов. Маленькое, некрасивое, изворотливое, на лице «Дно» М. Горького. Пьет, живет нечистоплотно — всегда от него скверный запах. Отец дал на книги, а он пропил. На прощанье разоткровенничался: «Дома я мрачен, но ты, Митя, никому не говори этого. Пусть так и думают, что я могу только шуметь и ругаться...»

«Л. Седов. Ямщик. Открытое простое лицо; красное, всегда веселое. Милая натура...»

«Ершик, очки надел, фасон другой: походка, важность. Добродушие, лень... При незнании — заискивающий тон...»

«А. Львов. Толстяк, барсук, общая нелюбовь: щепетильность, недотрога, подмазывание к старшим, врожденное барство, аристократизм, склонность знать больше: неискренняя... Отсутствие искренности и сердечной теплоты. Страсть к сплетням, к пустословию, как врожденная черта. Слабость убеждений, быстрое согласие, неуверенность... Знает великолепно стили (их названия). Не умеет передать понятия (?) ни об одном. Читает по 400–500 стр. в день».

Повесть «Юность» так и не была написана. Нахлынули другие дела. Напряженные занятия в училище. Подготовка к университету. Репетиторство... Стихи... Но сами наброски эти чрезвычайно интересны

для понимания творческой лаборатории Фурманова. Через пятнадцать лет он приступит к работе над романом «Писатели». Конечно, характеристики персонажей станут более многоплановыми, более глубокими, более острыми. Однако в основе останется тот же принцип. Внешний портрет дается в сочетании с внутренним, психологическим. Намечаются основные черты персонажа. Они даются обостренно, иногда доводятся до гротеска. Образ формируется не в статике, а в движении, в действии, в поступках.

Своими планами Фурманов все чаще делится с Мартой. Она понимает его гораздо лучше Наташи. Она начинает занимать все большее место в его жизни. (Он запишет потом в дневник: «Хорошо с ней быть: душа покойна. Всегда дает она какую-то отраду: в душе ее, знать, бьет неиссякаемый родник жажды жизни — она вливает ее в меня и понукает вернуться к прошлому: к стихам, к мечтам...») Но Наташа, кончив ивановскую гимназию, приезжает в соседнее село Новинское. И Фурманов едет туда навестить любимую.

...Они сидели над тихой лесной тенистой речкой на замшелых досках ветхой, заброшенной запруды. Митяй рассказывал Наташе о последних прочитанных книгах.

Наташе нравилось, что этот красивый, мужественный, такой умный и серьезный юноша, поэт, так любит ее, делится с ней всем самым сокровенным, посвящает ей стихи. Но, признаться, «умные» разговоры Митяя не очень трогали ее. Приятно было слушать его глубокий, грудной голос, когда пел он довольно тривиальные романсы «Сияла ночь, луной был полон сад, сидели мы с тобой в гостиной на диване», когда декламировал чувствительные стихи Надсона:

Хороши только первые встречи любви...

И гораздо менее трогали девушку цитаты из Писарева или гневные стихи Некрасова о трудной доле бурлаков.

Такая уж она была, Наташа. Обыкновенная провинциальная гимназистка, далекая от того образа, который создал в своей душе Фурманов.

Вернулся в Кинешму Фурманов немного удрученный и разочарованный. Однако не в его характере было долго грустить. Тем более что новые дела и заботы поглотили его целиком.

Предстояли последние месяцы учебы. А потом экзамены. А потом... Мечты о Москве, об университете...

В спорах на общественно-литературные темы с друзьями Дмитрий подчеркивает значение демократических идей Белинского, Писарева и хочет подражать им во всем. Он говорит о необходимости отрешиться от праздных забав в жизни, проникнуться состраданием к народу, который несет бремя безысходной нужды и горя.

Не всегда и не все он высказывал друзьям прямо и откровенно: среди товарищей могли оказаться доносчики. Зато своему молчаливому другу — дневнику он доверял душу и записывал все, что беспокоило его.

«Писарев и Добролюбов перевернули вверх дном все мои мечты, все убеждения.

Я знаю, что ничего нет еще во мне основательного, твердого, но зачатки чего-то уже есть... Явится новая жизнь, явится новое сознание, новые стремления и мечты...»

«Передо мной рисуется моя будущая литературная жизнь, не такая, правда, грозная и кипучая, как жизнь Белинского, Писарева, Добролюбова, но какая-то удивительно плодотворная...»

Тема труда, возвышающего и облагораживающего человека, начинает занимать значительное место в дневниковых записях и стихах его. Труд — основа человеческой жизни.

*Только им — этим долгим, упорным трудом
Меня в будущем жизнь привлекает.*

Своеобразный сплав влияний Надсона и Некрасова ощущается во многих стихах Фурманова. Писал он их почти ежедневно. Но, видимо, так и не суждено было ему стать поэтом. Судьба готовила ему другое призвание.

6 июля 1912 года в иваново-вознесенской газете было впервые напечатано стихотворение Фурманова «Мне грустно осенью холодной». Оно было посвящено памяти безвременно ушедшего Д. Д. Ефремова, инспектора Иваново-Вознесенской школы колористов, которого хорошо знали и любили в семье Фурмановых, и было подписано псевдонимом «Новий».

В центре стихотворения символические образы увядающей природы, картина смерти дуба, имеющая, несомненно, аллегорический смысл:

*Когда с последним тяжким вздохом
Исчезнет дивный аромат,*

*Когда пойму, что к жизни новой
Его лучи не воскресят, —
Мне грустно... Но лишь тень страданья
Оставят блеклые цветы.
Как символ вянущей надежды,
Умершей рано красоты...*

Невысокие по художественному своему уровню стихи эти не были лучшими даже среди других стихов молодого поэта. Не было в них никаких элементов бунтарства, и редактор «Ивановского листка» монархист П. И. Зайцев (девизом газеты было: «Церковь, царь и народ») напечатал их без всякой опаски.

Но, увидев первое свое стихотворение на газетной полосе, Фурманов был счастлив. Он записал в дневник: «Боже мой, боже мой: как я рад! Первый раз в печати... Взял газеты, смотрю: нет, нет и... вдруг вижу:

Мне грустно осенью холодной...

Новый. Боже мой, какая радость!.. Слава богу: начало есть!..» Однако навестившему его брату Аркадию он сказал:

— И все-таки это совсем не то, к чему я стремился.

— Почему? — спросил Аркадий.

— Очень просто, — ответил он, — стихи должны будоражить мысли, ставить общественные вопросы, пробуждать в людях не умиление, не слезы, а желание действовать.

Ему захотелось дать отповедь интеллигентам, умеющим красиво говорить о народном горе на сытый желудок, но не способным к действию, к борьбе, к жертвам.

Считая одним из своих духовных учителей Н. А. Некрасова, Дмитрий написал стихотворение «Три думы», обличающее людей, у которых слово расходится с делом.

*Три думы были у меня:
Одна — все старое разрушить.
Другая — новое родить,
А третья — грех обезоружить
И счастье в жизни воплотить...*

*...Решали с пылом юных душ
И в вихре слов не замечали,
Что из себя изображали
Бесплодно просидевших клуш...
Да, пусты, жалки эти годы...*

Редактор газеты Зайцев отклонил новые стихи Фурманова, сделав на них пометку: «Политическая». Дмитрий с горечью понял, что в родном городе для него нет трибуны, с которой он мог бы выступать, будучи хоть чуть-чуть похожим на Некрасова.

Получив обратно рукопись, Фурманов написал на полях: «Посланный в ред. «Ив. листка» — сей (опус...) потерпел молчаливое фиаско».

Позднее он сам так охарактеризовал «Ивановский листок»: «Газета была паскудная, но тогда не разбирался серьезно, не все понимал...»

Фурманов записывает в дневник:

«Уеду в Москву... Для денег, для богатства я не буду жить... Москва для меня — центр, «откуда выходят гордые и сильные, как львы», откуда разливается свет и надежда молодой России. И я верю в этот свет, еще не увидев его, верю, что и мой дух просветлеет и окрепнет, увидев его...»

Однако и в эти дни, оторвавшись от книг, от учебников, он многие часы уделяет своим стихам, литературным наброскам, заготовкам будущих произведений.

Он описывает и пребывание свое в дни каникул в деревне и портреты полюбившихся ему крестьян, делает зарисовки пейзажей. Характерны самые заглавия очерковых его записей: «Мать Антона», «Первый вечер», «Дядя Кирилл», «Дядя Ефим», «Великая душа», «Первый выстрел», «Мера» (река).

Интересны портреты юродивого Антона и Ольги Францевны («Мать Антона»), местного певца, знатока грибных мест дяди Кирилла и многих других.

Чувствуется большая наблюдательность, умение отойти от плоскостного портрета к стереоскопическому, к многоплановому, что так ярко проявилось в «Чапаеве».

Как справедливо замечает исследователь творчества Фурманова П. В. Куприяновский, он умеет подметить несовпадение внешности и внутреннего мира человека.

С негодованием обличает Фурманов затхлую атмосферу

провинциального мещанского быта. И в стихах, и в дневниковых записях, и в прозаических набросках. Он задумывает написать целую повесть «Мещанское горе».

Недаром, перечитывая позже ранние дневники свои, он подумал: «Почему бы не написать по примеру «Детства», «Отрочества» и «Юности», например, «Мое прошлое» по дневникам?»

Недаром мечтал он: «Жажда жизни, разнообразия, полноты... Пройдут года... С высоким буду образованием... Пойду по народу, не в «народ», а по народу: есть страстное желание пережить как можно больше чужих жизней, чтоб знать жизнь мира... Это желание родилось давно — теперь оно преследует меня днем и ночью... Я дворник, сапожник, лакей, портной, народный учитель, крестьянский работник, ломовой извозчик... и много, много дел встает передо мной... Это не пустая мечта — это серьезное желание...»

В дни каникул Фурманов нередко бывал в театре. Особенно любил пьесы Островского «Лес», «Бесприданница» и «Гроза».

А по выходе из театра друзья бродили по городу, с жаром обсуждали судьбу Катерины по статье Добролюбова «Луч света в темном царстве».

«Стояла глубокая ночь, — вспоминает одноклассник Фурманова Н. Смирнов. — Липы на бульваре были облеплены мохнатым инеем. Высокая зимняя луна чуть золотила вековые снеговые просторы — бесконечную Россию, спавшую глухим и тревожным сном. Но в темноте и холоде ночи ярко огромными сотами светились вокруг электрические огни неспящих, глухо рокотающих фабрик. И, смотря на эти огни, Фурманов однажды вдохновенно и радостно сказал:

— Вот откуда придет настоящий свет...»

Лето 1912 года. Учеба закончена.

«Юность, юность! — замечает Фурманов на страницах дневника. — Ушла ты! Прошли золотые дни... Сколько тут было чистого, доброго, искреннего, бесшабашно-необдуманного, но, главное, искреннего, искреннего...»

«Скоро, очень скоро... Так скоро, что даже самому не верится... Столица, университет, жизнь... А я жду мучительно, с сердечным замиранием жду... Часто в свободную (утаенную) минуту я лечу мыслью туда, к этому свету, к этой новой, желанной жизни... Ну, что-то будет... Вывозите меня, молодые силы... Труд да ты — глупое счастье!..»

«В Москву, в Москву, в Москву!.. Во что бы то ни стало надо ехать туда... Здесь не могу, не могу я жить: мало мне здесь простору...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

7

Началась студенческая жизнь в столице. Фурманов был зачислен на юридический факультет. Но вскоре ему разрешили перевестись на филологический.

Живется Дмитрию, конечно, трудновато. На отцовскую помощь рассчитывать нельзя. Много времени приходится уделять репетиторству. Не один час нужно ежедневно тратить на поездки к ученикам в разные концы города.

Но на первых порах все это мало удручает Фурманова. Как всегда точный, дисциплинированный, организованный, он находит время для всего. И для учебы, и для книг, и для театра. Ведь так много надо прочесть, так много увидеть.

Не теряя обычного своего юмора, делает он запись в дневнике 26 сентября 1912 года:

«А в сущности, студенческая жизнь — одна прелесть. Как ни плохо, как ни приходится разочаровываться на каждом шагу, а все ж она прелесть. Я теперь, пожалуй, бедности и не вижу — я переживаю одну лишь поэзию бедности. Мне приятны эти 15-копеечные обеды, приятны скудные завтраки. Придешь в столовую, поешь на 15 коп. одно первое блюдо, подумаешь о втором и пойдешь... Утром — фунт черного — и он на весь день... В студенческой наешься — просто прелесть. Тарелки две выхлебаешь... Хлеба поешь за троих — ну второе-то уж и лишнее. Хоть не лишнее, положим: завистливо как-то смотришь на эти котлеты и творожнички, что едят вокруг тебя...

Комната плохая, близкая к кухне... Часто слышен запах из кухни; постоянный говор; плач и крик детей; громкие сплетни разных кумушек —

заниматься крайне неудобно. Да вдобавок ко всему по стене довольно свободно разгуливают клопы... Плохо, что и говорить...»

И тут же совсем весело и даже озорно;

«Но мало меня расстраивает все это: или молодость тому виною, или спокойствие здоровое я нажил себе, живя вдали от семьи?. Бог знает что, но вполне легко и безропотно несущее все, что посылается мне на пути...»

«Но молодость свое взяла», — как говорил Пушкин».

Зато духовной пищи в столице полное изобилие.

Что ни день — новое, волнующие впечатления.

2 октября опера «Садко» в Большом театре. Сказочная, незабываемая музыка.

5 октября театр Корша. Спектакль по пьесе очень популярного в те годы С. Гарина «Пески кипучие». Прекрасный актерский состав.

«На сцене не было провинциального ломания, и потому впечатление получилось у меня особо сильное. А театр сильно живет и поднимает душу».

6 октября в университете первая лекция по психологии. Читает Георгий Иванович Челпанов. Знаменитый Челпанов. Это тоже почти спектакль.

(Прошло десять лет. И каких лет... В 1922 году мне тоже пришлось услышать профессора Челпанова... В большой Богословской (ныне Коммунистической) аудитории. И рядом со мной сидел... Дмитрий Фурманов. Прославленный комиссар Дмитрий Фурманов, вернувшийся на учебу в университет... Он снова слушал Челпанова и улыбался какой-то своей, сокровенной улыбкой...)

Театры. Лекции. Выставки. Книжки... Ночами он поглощает несметное количество книг. Читает с карандашом, делает выписки. В дневнике своем полемизирует с авторами. Постепенно вырабатывает свою собственную эстетическую систему, свой эстетический кодекс. Покоряет его беспощадный реализм Художественного театра. Театра Станиславского.

С обычной студенческой галерки он пересмотрел все спектакли театра, восхищенный игрою таких актеров, как Москвин и Качалов. (Как неисповедимы судьбы истории! Пройдут годы, и жена Дмитрия Ная — Анна Никитична Фурманова, боевая соратница Митяя по Чапаевской дивизии, станет директором Театрального института (ГИТИС), в ученом совете которого будут состоять и Москвин, и Тарханов, и Леонидов...)

Он записывает в дневнике свои впечатления о «Живом труппе» (Москвин играл Протасова), о «Гамлете», «...тут жизнь. Тут простота жизни, ее правда, слезы и смех радости...»

И в то же время он резко спорит на страницах дневника с антигуманистическими, эгоцентрическими доктринами Ницше, отрицавшего обязанности человека перед людьми.

«Обязанность? Ну да, и тысячу раз — да! Обязанность. Нужно быть безнравственно грубым и жестоким, чтобы не признавать этой обязанности...»

Он отрицательно относится к модной декадентской литературе, резко критикует роман «Тяжелые сны» Федора Сологуба.

«Ничего решительно не остается от его картин... Сологуб не сердцевед, близорук и не художник — ни слова, ни пейзажа...»

Он глубоко возмущен широко известными в то время стихами Сологуба:

*В поле не видно ни зги,
Кто-то кричит: «Помоги!»
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Как помогу?*

Эта упадочная философия далека от собственных взглядов Фурманова.

Но как дорого ему все, что говорит о великой реалистической силе русского искусства! Какое горе приносит ему весть о смерти художника Левитана!

«Левитан, великий Левитан, «Омут» которого приковал меня к себе — умер он... Как все великое и чуткое до тоски (все ли?), до упрямства, до исступления (Лермонтов, Белинский, Добролюбов, Писарев...) — умер до времени...»

Из современных писателей близки ему Горький, Вересаев, литераторы, группирующиеся вокруг горьковских сборников «Знание».

С большим интересом приглядывается он к событиям, происходящим в литературе. Волнует его знаменитое письмо Алексея Максимовича Горького в редакцию газеты «Русское слово». Горький протестует против постановки на сцене Художественного театра инсценировки «Бесов» Достоевского («Николай Ставрогин»).

Резкие и справедливые слова Горького о «Бесах», о клевете на русских революционеров, помогают Фурманову понять собственный, еще не осознанный протест против достоевщины, против всего, что казалось ему

чуждым в творчестве великого писателя. Это связано с пересмотром многих старых привязанностей, с органическим неприятием всего упадочного, болезненного. Может быть, именно тогда рождается у Фурманова та ненависть к декадентству, которая была типична для него в более поздние годы.

В стихах, написанных через несколько лет, он попытается выразить свое кредо:

*Но кипит в душе презрение и злоба
На стихи унынья, рабства и тоски,
Где живые люди сами ищут гроба.
Молятся на холод гробовой доски.
Это дети мрака, дети подземелья
С гимнами бессилью и могильной мгле, —
Взросшие без солнца, света и веселья,
И не им царить на солнечной земле...*

В новой университетской среде Фурманов еще очень одинок В поисках друзей, с которыми мог бы он делиться сомнениями и раздумьями своими, как это было в Кинешме, Митяй вступает в «Христианский кружок» и «Кружок по изучению изящной литературы».

Он мечтает о том, что литературный кружок даст в будущем своих Белинских и Станкевичей.

Но настоящих друзей, перед которыми можно бы открыть всю душу свою, Фурманов в университетских кружках не находит.

Религиозные искания, которыми увлекаются многие члены кружка, всякое «богоискательство» глубоко чужды ему.

«День со днем все глубже презираю подлца бога. Кощунство? Какой черт, кощунство? Над чем? Его или нет совсем, или же он величайший подлец... А он, мерзавец, этот хваленый бог, и земную жизнь наполнил гадостью, чтобы страсть свою утолять».

Да и вся университетская обстановка начинает угнетать его. Приходит разочарование. Он видит в университете ту же казенщину, бюрократизм, тот же душный мир, из которого он стремился вырваться. Царские чиновники, руководимые министром просвещения реакционером Кассо, изгоняют из университета всякое свободное слово, увольняют лучших профессоров Уже высланы из Москвы многие студенты. Фурманов записывает в своем дневнике: «Значит все... все так? Так что же это за

храм науки? Я думал, что это моя больная душа заныла, раны мои заныли и обрушились всей тяжестью на бедный университет... Ошибся!.. Всем тяжело! Тюрьма, а не храм...»

Об этом же он пишет другу, бывшему однокласснику, А. Веселовскому: «Все тихо, мертво... Даже обидно за то, что у себя, там на Волге, мы шире и живей пользовали свою жизнь...»

В эти дни происходит и первое столкновение Фурманова с полицией.

Его арестовывают за то, что он защитил девушку, оскорбленную полицейским.

«Пришли в участок, — напишет потом Фурманов, — долго ждал. Дали мне полицейского для сопровождения в арестный дом. Надзиратель тыкнул в меня пальцем и приказал вести. Я подошел к нему и сказал: «Черт вас побери, а за что вы меня посадили, за то, что я вступился за девушку несчастную, избитую, которую оскорбил ваш чин?» Надзиратель вскинул рыжие усы и спокойно сказал: «Не ругаться, а то в морду получишь. Ничего, что блестящие пуговицы на тебе. Все вы, студенты, шарлатаны, то и дело норовите в петлю попасть!» Я был взбешен, но сдержался, только зло плюнул».

В арестном доме Фурманов провел три дня.

Второе столкновение с полицией состоялось «на литературной почве».

Молодой, но уже известный в студенческих кругах лектор — Валерьян Федорович Переверзев читал лекцию о Достоевском. Он жестоко обличал реакционный режим Николая I, погубивший столько талантливых людей, писателей и ученых.

Присутствовавший в зале пристав оборвал оратора и запретил продолжать лекцию.

Возмущенный Фурманов вскочил с места, потребовал продолжения лекции и... под конвоем был препровожден в участок. Здесь составили протокол «о вмешательстве в дела полиции». Снова двое суток в полицейском участке за «оскорбление полицейского». (Об этом он написал потом рассказ «В арестном доме», так и не увидевший свет).

Подавление всякой свободной мысли приняло особо агрессивный характер в связи с приближающимся трехсотлетием дома Романовых.

Однажды Фурманов заметил необычайное скопление городских и дворников, стоявших вдоль мостовых. На тротуарах толпился народ. Остановился и Фурманов.

Вскоре показался открытый автомобиль, окруженный полицейским эскортом. В автомобиле восседал щуплый, невзрачный человек с рыжеватой бородкой, одетый в форму полковника. Рядом с ним дама в

роскошных мехах.

Это были царь Николай II и царица Александра.

Фурманов стоял у самого края тротуара. Ему показалось, что Николай посмотрел прямо на него тусклыми, невыразительными своими глазами.

Лицо императора всероссийского показалось Фурманову ничтожным.

Он записал в тот же вечер:

«Видел царя: он ехал по Тверской в автомобиле, с государыней... Жалкая картина! Судьба не рассчитала, отдавая ему в руки царственный жезл».

Но поделиться мыслями и наблюдениями было не с кем.

Да и опасно было говорить обо всем этом с участниками «Кружна по изучению изящной литературы». Слишком далеки были их интересы.

«Чувствую свое одиночество, — записывает Фурманов, — нет друзей, не могу подойти к ним — серые, безликие они, погрязшие в житейских вопросах. А большие вопросы, которые изгрызли мне душу, их не интересуют».

Очень обрадовался Митяй, когда узнал, что приехала в Москву учиться на Высших женских курсах приятельница его по Кинешме — Марта Хазова.

Начались долгие встречи их, прогулки по Москве, беседы о жизни, литературе.

Это была отдушина. Даже дневник свой он стал открывать не так уж часто.

Но путей к настоящей, большой политической жизни, которая шла где-то рядом, которая бурлила в глубоком подполье, Фурманов найти еще не мог.

«В душе моей, — писал он в дневнике, — много сырого, набитого бог знает когда и зачем... Теперь выбрасывается хлам, предмет долгой любви и заботы, выбрасывается — и оставляет массу пустого места. Но то, что остается, тесно сближается и единится в какую-то хорошую, новую душу души моей... Старые боги умерли, а новые не родились еще, и тяжело мне в сумеречной, переходной пустоте».

Не было еще рядом с ним будущего учителя, земляка и друга, товарища Арсения — Михаила Васильевича Фрунзе. Не настал еще час их встречи.

Раздвоенность чувствовал Фурманов и в области личной жизни, личных привязанностей.

Он по-прежнему дружил с Мартой Хазовой. Но не мог забыть о Наташе Соловьевой, продолжал нежно любить ее, часто писал ей и

огорчался, когда ответные письма казались чересчур холодными. А может быть, он сам выдумал эту раннюю свою любовь...

И все же он шлет ей все более пространные письма и все новые стихи.

В летние каникулы он снова встречался с ней в Новинском, снова огорчался ее «холодком», недомолвками, отсутствием интереса ко всему тому, что так волновало его самого. Но, вернувшись в Москву, он все еще надеялся на взаимность, на вечную дружбу, на будущий союз с любимой девушкой.

Осенью умер отец. Мать осталась одна с большой семьей, без средств к существованию. Отец ничего, кроме долгов, им не оставил.

25 ноября Дмитрий записал в дневник скорбное признание: «Похоронили папу... Хоронить было не на что... С трудом достали на похороны отцу».

8

Все, что волнует Фурманова в эти трудные для него переломные университетские годы, находит свое отражение в его стихах.

Часто стихи Фурманова носят эпистолярный характер, посвящены Наташе Соловьевой, Марте Хазовой. Часто находят в них отражение мысли о литературе, о только что прочитанных произведениях.

Атмосфера в стране накаляется. Близится уже первая мировая война.

В стихах Фурманова звучат гражданственные мотивы:

*...О битва под грозой, меня ты захватила
Огнем борьбы...*

Крепнет желание отдать борьбе все свои силы, ей посвятить свою поэзию, свое творчество, свою жизнь. Стихи начинают напоминать страстную исповедь, в которой молодой поэт не щадит самого себя, критикует собственную нерешительность, оторванность от народа, от боев житейских, ставит перед собой новые, большие цели.

В памяти Фурманова возникают картины тех классовых битв, свидетелем которых он был еще в детстве своем, в Иваново-Вознесенске, на Талке. Тогда он еще был слишком юн, чтобы понять всю глубину социальных противоречий. Теперь все эти, казалось бы, давно позабытые им события вновь волнуют его, окрашенные поистине романтическим

заревом борьбы не только минувшей, но и грядущей.

Конечно, он еще не представляет себе ясно, какой она будет, эта борьба. Никаких связей с подпольщиками, с революционерами у него еще нет.

...В предвоенные эти суровые дни Фурманов часто задумывается над сложными процессами, происходящими в русской и мировой литературе.

Читая и перечитывая Толстого и Достоевского, Тургенева и Горького, он прежде всего отмечает гуманистическую основу всего их творчества, тот гуманизм, которого не находит он в произведениях писателей, близких к декадансу, — Федора Сологуба, Леонида Андреева.

«Лучшие умы, — записывает он, — не глумились над человеком. Они страдали и своим страданием прокладывали и указывали путь или они любили и показывали, как надо любить, — таковы Толстой, Достоевский, Горький и Тургенев...»

«Художественное впечатление от чтения Достоевского громадно. Помимо того, что создаются высокие порывы, жажда помощи, сострадания и желания отдать себя за чужое горе, — помимо всего этого, чувствуется какая-то огромная правда. Правда во всем. И в том, о чем он говорит, и в том, как и для чего именно говорит он так, а не иначе. Как-то доверяешься каждому его слову, доверяешься потому, что чувствуешь душу глубокую, любящую и страдающую. Истинное художество в том и состоит: в высоте подъема, в полноте переживания и в доверенности — к художнику и изображаемому им миру... А общая мысль получилась та, что идти надо, идти любить и помогать...»

Он присутствует на диспуте о пьесе Леонида Андреева «Екатерина Ивановна» и, как бы включаясь в этот диспут, осуждает в пьесе Андреева «отсутствие воли, нравственных принципов, более или менее ценных взглядов на жизнь, отсутствие активности».

Он слушает лекцию профессора П. С. Когана «Перелом в новейшей русской литературе», посвященную главным образом характеристике декадентских течений, и осуждает все те произведения, которые далеки от правды жизни, далеки от современности, от борьбы. Он осуждает трюкачество мнимых «новаторов» и дает им резкую характеристику в дневнике своем:

«Выходки и требования «свободы» наших футуристов, кубистов, эгоякобинцев и вообще названных новаторов жизни напоминают мне дикую, неудержимую форму требований и самообличений Ипполитового кружка (очевидно, имеется в виду кружок Ипполита Терентьева из романа Достоевского «Идиот». — А. И.) зеленой молодежи, бродившей не на

дрожжах, а на чем-то искусственном и фальшивом».

И в то же время он дает высокую оценку творчеству В. Вересаева: «Он так хорош, так чист в своем искусстве».

Вдумчивый и пытливый, он не во всем согласен и с Достоевским. Не по душе ему утверждения Достоевского о бессилии человека. Уже в те годы Фурманов мечтал о герое активном, действенном, не только любящем людей, но и творчески преобразующем мир. «Он был сам себе творцом жизни», — пишет он об издавна любимом Чернышевском.

Прочитав книгу Вересаева «Живая жизнь» (Часть 1. О Достоевском и Льве Толстом), он отмечает: «Толстой бесконечно ближе мне со своей теплотой, лаской, цельностью душевной и свободным проявлением души, далеким от ярма аскетизма...»

Об этом говорит он неоднократно, создавая собственное эстетическое кредо.

«Имея идеал как нечто бесконечно совершенное и невысказанное в реальных формах, как двигатель, светильник и очиститель, имея его в душе своей, не должно терять из виду и земного идеала, цели чисто человеческих, житейских поисков и желаний. В сущности, ведь у высокоразвитого человека — у человека живой жизни, а не кабинетного труженика — эти два идеала живут дружно, мало того: необходимо слитно, живут, питаются друг другом и осмысливая взаимно стремления...

Вот, говоря о бессилии-то человеческом, — заключал Фурманов, — Достоевский и опустил из виду этот земной идеал, который отнюдь не исключается наличием вечного и прекрасного идеала. Добролюбов, конечно, здесь более прав...»

Фурманов осуждает писателей, далеких от жизни, ее радостей и горестей, поэтов, обладающих «сатанинско-невозмутимым» эгоизмом, бесцеремонно третирующих окружающий их мир.

«Мы говорим о ценности художника, помимо ценности вообще, — и для данного времени, для времени творчества. А ведь то творчество ценнее и выше, которое, помимо великого, ответило и насущному...

Жизнь настолько полна и разнообразна, что невозможно петлять обо всем, что придет на ум, надо выбирать только ценное, а чтоб уметь выбирать его — надо иметь глаз. «Искусства для искусства» нет, есть только искусство для жизни».

«Искусство для искусства — абстракция, удаленность, мертвый мир, самодовлеющая ничтожность. Искусство имеет цель — не выдуманную, не деланную, но рождаемую его полнотой и чистотой. Искусство будит мысли, а пробужденная мысль, воспрянувшая мысль всегда горячее, чище и глубже

мысли живой постоянно. Искусство рождает порыв, а порывы рождают святые дела».

Это писал двадцатидвухлетний Фурманов. За десять лет до «Чапаева». И эти свои взгляды на искусство он пронес через годы и годы, развивая их, совершенствуя, отстаивая их в борьбе, воплощая в художественной практике.

1914 год. Последняя предвоенная весна.

Тысячи вопросов будоражат сознание Дмитрия. Его удручает ощущение одиночества, отрыва от большой жизни, бурно текущей за стенами его комнаты. (А комната теперь более обширная и благоустроенная. Он поступает репетитором в дом московского врача Г. Я. Леви. Переезжает в его квартиру на Страстном бульваре.)

«Я как-то мало имею точек соприкосновения с действительной жизнью. Я хочу познать, понять ее — и в то же время отгораживаю себя от нее толстыми корешками книг. В этом тоже своего рода драма».

Перечитывая (который раз!) «Братьев Карамазовых», он теперь обращает особое внимание на «ту же жажду жизни, которой захлебывается, страшно в то же время томясь от нее, Некрасов...».

«Поэт готов был искать спасения в том, чтобы, если уж не дается разумная жизнь, отдать ее разом всю за что-либо высшее. Утопая в омуте жизни, он восклицал:

*От ликующих, праздно болтающих...
[...Уведи меня в стан погибающих]
За великое дело любви.*

Часто приходит и мне эта мысль — отдать себя разом на святое дело...»

Это становится лейтмотивом, пронизывает и дневниковые записи и стихи. Отдать себя на святое дело.

Но... «На какое?..»

Надо найти точку приложения для своих все крепнущих сил.

А вокруг целое море мещанства, пошлости, которая становится с каждым днем все невыносимей. Она проникает, эта пошлость, и в

искусство, в литературу. С негодованием пишет Фурманов.

«Оскорбляет до боли то, что песни наши, любимые народные песни, полные чувства и огня, постепенно вытесняются разной пошлостью...

С большой охотой поют «Мариэту»:

Мариэта... Люблю за это.

Что ты к нам вышла без корсета...

А о «Пупсике» (наиболее модная в предвоенное лето пошлая песенка. — А. И.) уж и говорить нечего, на нем все словно помешаны. Поют его и рестораны, поют и дружеские компании, поют дети...

Меня просто тошнит, физически тошнит, когда я слышу эту пошлость. В душе накапливает злорада, хочется кому-то мстить, мстить жестоко...»

На весь мир прозвучал выстрел в Сараеве. Убит австрийский эрцгерцог. 15 июля Австрия объявила войну Сербии. 17 июля была объявлена всеобщая мобилизация в России. 19 (по старому стилю) июля Германия объявила России войну.

Партия большевиков, руководимая Владимиром Ильичем Лениным, единственная во всем мире сразу разоблачила истинный империалистический характер первой мировой войны.

Но царское правительство, поддерживаемое русской буржуазией, пытаясь обмануть народ, сыграть на его патриотических чувствах, бросило в военную мясорубку миллионы рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели.

Шовинистический дурман отравил многих, даже прогрессивных, деятелей культуры, литературы, искусства.

Драматурги сочиняли «патриотические» пьесы. Поэты писали воинственные вирши. В церквях служили торжественные молебны.

По всей стране прокатилась волна манифестаций под лозунгом «За веру, царя и отечество».

Играли духовые оркестры. Высоко вздымая вверх царские портреты и священные хоругви, шагали по улицам и площадям купцы, охотнорядцы, обыватели, чиновники. Члены Союза русского народа, черносотенцы горланили: «Боже, царя храни».

К общей толпе примыкали и гимназисты и студенты Московского университета.

Среди них оказался и Дмитрий Фурманов. Сначала общий

шовинистический угар отравил и его. Ему казалось, что вот оно, наконец, то святое дело, в котором он должен принять участие, которому должен отдать все силы свои. Спасти свою страну от германского нашествия. Пойти в народ и разделить трагическую судьбу его.

Но первая же манифестация у памятника генералу Скобелеву глубоко разочаровала Дмитрия, показала всю изнанку этого мнимого патриотизма.

Нет, не по пути ему было с этими жирными, горланящими охотнорядцами. Он еще принимал лозунг «за отечество» Но — за веру? За какую веру?.. За царя? За этого туполицего рыжебородого офицера, о котором он так язвительно писал в своем дневнике?..

Но рассказать об этом гнетущем своем впечатлении он мог только единственному другу своему — дневнику.

Вернувшись после манифестации домой, он записал взволнованно и горько.

«Был я в этой грандиозной манифестации Москвы 17 июля, в день объявления мобилизации. Скверное у меня осталось впечатление. Подъем духа у некоторых, может, и очень большой, чувство, может, искреннее, глубокое и неудержимое, но в большинстве-то что-то фальшивое, деланное. Видно, что многие идут из любви к шуму и толкотне, нравится эта бесконтрольная свобода — хоть на миг, да и я делаю, что хочу, — так и звучит в каждом слове... И скверно особенно то, что главари, эти закрикивалы, выглядывают то дурачками, то нахалами. «Долой Австрию!» — крикнет какая-нибудь бесшабашная голова, и многоголосое «ура» покроет его призыв, а между тем ни чувства, ни искреннего сочувствия. Ну что вот этот парень все пытается сказать что-то во всеуслышание? Ведь рожа глупейшая, ничего толком не умеет, а тянется... Ну, а вот этот молокосос — оратор у Скобелевского памятника — чего он пищит? Ведь его насквозь видно: поза, поза и поза... И все так, и вот этот оратор, что сначала замахивается через плечо своей соломенной шляпой и потом после непонятого, но исступленного лепета — красиво описывает ею в воздухе полукруг и ждет продажного «ура». Глупое, никчемное «ура» глушит его слова, но что тут толку? Никто ничего не слышал и не понял, многие ведь смеются даже. И что осел кричит? Я тоже кричал, когда только присоединился, но тогда я весь дрожал, я не мог не кричать... Теперь я уже остыл, я даже озлоблен на их рев».

Как ярко ощущается в этой замечательной зарисовке Фурманова талант будущего автора «Чапаева» и «Мятежа», с его умением и описать многообразие толпы, и проникнуть в психологию отдельных характеров, и высказать свое авторское критическое отношение к ним, и сказать о

сложных нюансах своих собственных чувств и переживаний.

«Может быть, — размышляет Фурманов, — где-нибудь в глуши, на чистоте и глубоко чувствуют обиду славян, но эти наши манифестации — это просто обычное, любимое проявление своевольтва и чувства стадности. Вы посмотрите, как весело большинство идущих. Ведь вот музыка только что кончила гимн — какой-то дурак крикнул: «Пупсика!» И что же: засмеялись... Разве это чувство? А этот вот чудак, что повесил шляпу на палку и высоко мотает ею над головой, — что он чувствует? Ведь он хохочет своей забаве... И встретить какое-нибудь зрелище на пути — непременно забудут свою манифестацию и прикуются к нему — во всем, во всем только жажда обыденной веселости и свободного размаха. Вон навстречу, прорезая толпу, идет чин; он уже знает заранее, что ему будут громкие приветствия, если он сделает под козырек и улыбнется... Он так и делает — и ему чуть не хлопают... А все эти требования: «Шапки долой!», «Вывески долой!» — ведь это не по чувству, не по убеждению, а по хулиганству все творится. Я слышал и видел, кто тут командует. Глупо, чрезвычайно глупо... Может, тут и есть высокий момент в этой манифестации, но момент — и только. Дальше одна пошлость и ложь. Я оскорбился этим извращением такого высокого чувства, как любовь к славянам.

Подло, гадко было в эту манифестацию...»

Профессор Н. Ф. Бельчиков, бывший тогда студентом Московского университета, рассказал нам, что с лекцией, восхвалявшей войну, выступил в богословской аудитории профессор философии и права князь Евгений Трубецкой. Его милитаристскую пропаганду поддержали и декан историко-филологического факультета профессор Грушко и ректор профессор Любавский.

— И вдруг, — вспоминает Н. Бельчиков, — один из студентов, стройный юноша, попросил разрешения у председателя задать вопрос профессору. Он быстро поднялся на трибуну и стал говорить о том, что в своей лекции профессор обошел молчанием некоторые вопросы, и, в частности, вопрос: а полезна ли эта война народу? Студент раскрыл книгу, бывшую у него в руках, и прочел отрывок из «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского, где автор говорит об изучении любого вопроса всесторонне. В примечании к этому рассуждению, добавил студент, Чернышевский пишет о необходимости конкретно решать вопрос о пользе или вреде всякого явления, всякого события...

«Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на это

решительным образом, надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места... Война 1812 года была спасительна для русского народа. А какова эта война — будет ли она полезна для народа?» — примерно так закончил свое выступление студент. Это был Дмитрий Фурманов.

Он поразил многих присутствовавших в аудитории своей начитанностью, самостоятельностью мысли и смелостью суждений. Издание Чернышевского в ту пору достать было нелегко. Фурманов, видимо, прочитал его насквозь, с карандашом.

— Прекрасная юная смелость, толкнувшая его на выступление, — заключает бывший студент и коллега Фурманова, ныне член-корреспондент Академии наук СССР Н. Ф. Бельчиков, — была, бесспорно, вызвана жаждой знать социальную правду, установить истину в интересах народа.

И все же война казалась Фурманову большим общенародным делом. (Он ведь так далек был еще от большевиков, от их единственно правильной интернационалистской позиции. Да он и не был подготовлен к тому, чтобы эту позицию принять.)

Как и многие прогрессивные деятели разных стран, впоследствии увидевшие истинную суть войны, как Анри Барбюс во Франции, как Мате Залка в Венгрии, будущий любимый его друг Мате Залка, Фурманов решает идти на фронт, даже не дожидаясь призыва. Его народ переживает величайшую трагедию. Он должен быть вместе со своим народом.

В октябре Фурманов начинает посещать санитарные курсы, готовясь стать братом милосердия, работает в лазарете при городской больнице.

В конце октября Фурманов уже получает удостоверение брата милосердия.

Он пишет матери о предстоящей поездке на фронт, успокаивает ее:

«Опасного тут ничего нет, а время такое, что помогать надо чем только можешь, дело ведь общее и всякая помощь является святым делом».

И Наташе он рассказывает о новых мыслях своих и переживаниях.

«Увидела бы ты меня теперь в белом братском халате, немало подивилась бы. Создалась какая-то хорошая, святая цель, и я отдался ей всею душой... Понимаешь всем существом своим, что сделался вдруг хоть и маленьким, но необходимым винтиком в этой огромной машине общественной жизни. На душе постоянная радость, жизнь осветилась высшим смыслом, и теперь нет доступа в мою душу ни тоске, ни печали, она полна другим, полна делом... и тобой...»

Он еще не ведает, Митяй, что это одно из последних его писем к Наташе, что именно там, на фронте, встретит он настоящую подругу

жизни, будущую жену свою, Наю.

22 ноября брат милосердия Дмитрий Фурманов уезжает из Москвы в санитарном поезде, перевозящем раненых на Урал и в Сибирь, через Вологду — Вятку.

«Работы масса, — пишет он с пути Наташе Соловьевой. — Сегодня в Ярославле сделали 60 перевязок. Горячка, спешка были непередаваемые. И так было легко в этой сутолоке — необходимой, важной. Мигом пролетели три часа, и не заметили, как отпустили раненых. Усталости и в помине нет. Университета словно и не бывало — так теперь он далек от меня...»

И все же, несмотря на то, что он целиком поглощен своей работой, Фурманов не может оставить без внимания всей той грязной накипи, которая все нарастает и нарастает вокруг самых, казалось бы, «святых дел». Его глубоко огорчает вся система стяжательства, взяточничества, «сладкой жизни» офицерского медицинского персонала в общей обстановке нищеты и страданий.

Это первые «фронтовые противоречия», с которыми он встретился. Сколько их, еще более разительных контрастов, впереди! Омерзительная изнанка войны обнажается перед ним. Он начинает проходить курс своих фронтовых университетов. И он начинает бунтовать против этой «системы».

...В декабре Фурманов возвращается с поездом в Москву и наконец-то отправляется на кавказский (турецкий) фронт.

Путь на турецкий фронт долог. Свободного времени много. Среди персонала поезда Фурманов не находит друзей, с которыми можно было поговорить по душам, поделиться глубокими, тревожными своими раздумьями об истинном характере войны. Для многих врачей и сестер милосердия война — это только экзотика, погоня за приключениями.

Гораздо ближе Митяю простые солдаты, с которыми ведет он долгие беседы, расспрашивает, старается проникнуть в самую душу их, записывает. Он не знает еще, Митяй, пригодятся ли когда-нибудь ему эти записи. Но нельзя понять подлинный характер войны без бесед с этими истинными героями, отдающими свою жизнь на поле боя. За что? Во всяком случае, начинает понимать Фурманов, не за веру и не за царя.

Каждая дневниковая запись такой беседы — это маленькая сюжетная новелла. Может быть, без этих творческих заготовок не были бы

впоследствии написаны ни «Чапаев», ни «Мятеж».

Запись рассказа конного разведчика одного из туркестанских полков, георгиевского кавалера. О том, как еще до войны им, солдатам, приказали расстрелять своего товарища, обвиненного в бунте.

«Щелк!.. Это мы взвели курки. А Сахаров стоит, не дрогнет, головой не тряхнул. Смотрит прямо в дула нам, и только по лицу словно морщины побежали. Быстро опустил начальник шашку. Трах! Все 33 пули попали... все ему разможжили, по всем частям попало.

А он как стоял привязанный, так и остался, только голову склонил немного набок. Его отвязали, бросили в яму. И сразу страшно стало. Кругом тут гиены завывали — они всегда воют, когда слышат, что человека убивают, всегда воют. А нам стало всем стыдно. Командир все отворачивается, а мы сами-то все винтовками заслоняемся. Стыдно в лицо посмотреть. Пришли в казармы, а товарищи-то и кричат: «Эх вы, головорезы, вам только связанных и стрелять!» И дразнили они нас с тех пор завсегда и проходу не давали. А что мы тут? Приказали стрелять — и стреляй, не то самого пристрелят, как собаку: полурота-то сзади выстроилась ведь не в шутку. И я не мог никак успокоиться, все меня совесть-то мучила. А за что я его все-таки убил? Что он мне сделал плохого-то? И очень уж было тяжело, а особенно ежели товарищи напомнят. Только я это на исповеди батюшке все и рассказал: так и так, говорю, батюшка, человека убил, и душа покою не имеет. А он и говорит мне: «Эх ты, глупый ты человек! Принимал ты присягу-то аль нет?» — «Принимал», — говорю. «Ну, так чего же, — говорит, — тебе и беспокоиться? Разве там не сказано, чтобы убивать врагов внутренних и внешних?»

Обо всем этом думает Фурманов беспрестанно. Как хочется с кем-нибудь поделиться мыслями своими, посоветоваться. Написать об этом Наташе? Она (как ни горько сознавать это) не поймет его. Написать матери?.. Он часто и много пишет ей. Но не об этом. Не хочет ее беспокоить.

С прибытием поезда в Закавказье работы с каждым днем становится все больше. Фронт уже близок. Идут кровопролитные бои.

«Сегодня было масса работы, до усталости, — пишет он матери из Тифлиса, — привезли более 1000 раненых...»

19 января 1915 года — знаменательный день в жизни Фурманова. В этот день он знакомится со своей будущей женой Анной Никитичной Стешенко.

Аня Стешенко родилась в Екатеринодаре в рабочей семье. На Кубани

провела она детство свое и юность. В самом начале войны окончила краткосрочные курсы и в качестве сестры милосердия попала на турецкий фронт, в тот же санитарный поезд, где служил Митяй. Ее нельзя было назвать красавицей. Наташа Соловьева, пожалуй, была красивее. Но... таких глаз, как у Ани, Фурманов не встречал никогда. Он увидел ее неожиданно в палате, при обходе раненых, у койки тяжело контуженного артиллериста. И ему показалось, что в огромных влажных глазах сестры находят отражение все страдания человека, и любовь к нему, и стремление помочь, и уверенность в том, что она сумеет помочь, и какая-то неразгаданная пытливая мысль.

А она, увидав его впервые, точно остолбенела.

— Мы еще не сказали друг другу ни слова, — рассказывала мне впоследствии Анна Никитична, — а я уже решила, что мы больше никогда не расстанемся, что это судьба. Если бы ты знал, как он был тогда хорош. Впрочем, таким он и остался всю жизнь.

Он не хотел называть ее, как все, «Аня»... Он выдумал для нее имя «Ная». И нам, друзьям Фурмановых, всегда казалось, что иначе ее и нельзя было называть.

И все, что связывало его в былые годы с Наташей, отошло куда-то в далекое прошлое. Хотя, всегда честный с самим собой, Фурманов решил обо всем написать Наташе и, может быть, если придется побывать в Иванове, встретиться и в последний раз поговорить по душам.

Теперь впервые рядом с ним был друг. Друг верный, настоящий, с которым можно было делиться раздумьями и сомнениями своими, который понимал его и почти во всем разделял его мысли, чувства и взгляды.

С каждым днем становились ощутимее противоречия этой братоубийственной бойни. С каждым днем росло солдатское недовольство.

Особенно тяжелыми и кровопролитными были сарыкамьшские бои. Фурманов сам побывал впервые на поле боя. Здесь, в Сарыкамьшских горах, отдавали свои жизни и русские и турки. Оттуда, из-под Сарыкамьша, санитарный поезд отвозил раненых в Тифлис, Баку, Батум, Эривань.

«Я был на Сарыкамьшских горах, — писал он в дневнике. — Печальная картина, масса трупов раскидана по склону, а у Нижнего Сарыкамьша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще не убрано, а тому делу уже несколько недель...» «...Кому-то, за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли свои жертвы. А жизнь течет, совсем не просит их и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию... Шла она и будет идти своим путем. Слишком мало эти

жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею, за святое дело, за ясно осознанную возможность достижения, тогда на крови павших бойцов создаются колонны молодой, новой жизни».

Теперь уже лейтмотив всех дневниковых записей — разочарование, развенчание всех тех иллюзий, с которыми ехал на фронт.

«Ехали сюда, словно окрыленные...ждали простора истомленной душе, ждали полного утоления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь...»

Особенно раздражает «поездной» быт... «Мы бог знает что делаем целые дни: играем на гитаре, мандолине, поем, шутим, — и все это взамен лучших наших ожиданий, взамен мечты о героических подвигах. А там, на далекой родине, мы еще не развенчаны. Там не сняли с нас того ореола, который мы еще и не надевали до сих пор... Письма дышат любовью, заботой и преклонением...»

А так называемое фронтовое офицерство... Штабники, мечтающие только о карьере, о повышении в чине, о крестах... «Не дай бог никому, особенно свежему человеку, очутиться в офицерской среде, во всяком случае, в кругу праздных, скучающих офицеров...»

Как далеки эти парадные офицерики с пошлыми мыслями своими и чувствами от всего, что волнует Фурманова!

Как глубоки противоречия между официальными, парадными версиями о войне и тем, что происходит на самом деле!

О растущем недовольстве народа пишет Митяю и брат Аркадий из Иванова, с далекой родины. Обязательно надо взять отпуск, хоть на неделю, поехать на родину, повидать мать, окончательно объясниться с Наташей.

Дмитрий часто беседует с ранеными солдатами. Как далеки чувства и переживания их от чувств и мыслей этих штабных офицеров! Это настоящие думы народные, народная мудрость, народная боль. Об этом надо обязательно написать. Но куда? Дневниковые страницы становятся узкими для Митяя. Их никто не прочтет, кроме Наи... В газету? Никакая газета не напечатает сейчас корреспонденции, которая отражает настоящую правду войны.

Все же он делает набросок очерка «Георгиевские кавалеры».

«Перенеся всю тягу зимних голодовок, суровых морозов и непостижимых горных переходов, они словно захирели с первыми весенними лучами... В Навтлуге мы сдавали тяжелобольных и набирали на их место новых, чтобы везти дальше в Баку. Доктор попался такой

мерзавец, что все время горела рука на пощечину. Подошел он к георгиевцам.

— Э, да у тебя крест висит!.. За что ты, откуда взял? Да што вас тут! И у тебя тоже... Где вы их таскаете?.. — Увидел и третьего: — Што, — говорит, — воруете вы их, што ли?

— Никак нет, — говорит солдат...

А душа ведь так и горит... Разве они зря их получили? Оскорбленье им было самое сердечное...

Откормленный, здоровый поросенок, надменная, нахально-самоуверенная морда — все так и тянуло выбросить его из вагона, невзирая на последствия. Я после говорил с солдатами: возмущены до глубины души...»

Сколько их, подобных записей, в дневниках Фурманова.

Удовлетворение чувствует он только в тяжелые дни и бессонные ночи всепоглощающей работы. Помощь раненым. Перевязки. Это его поля боя. Здесь он вплотную соприкасается с человеческим страданием и по мере сил облегчает его.

Может быть, именно в эти минуты возникают у Фурманова мысли о будущем. Какую профессию избрать окончательно после войны... Медицина или литература? Как лучше помогать людям? Любовь к литературе никогда не оставляет его. Но «...на этот путь, столь благородный, любимый и обоготворяемый мною, нет силы вступить, нет веры в себя, нет данных, что буду я на нем не лишним».

Это основное. Не быть лишним. Никогда не быть лишним. Делать то, что может помочь людям и на что ты по-настоящему способен. Быть всегда цельным, быть всегда самим собой. Недаром и в эти суровые дни войны он перечитывал «Детство» Горького и размышлял над судьбой Алешки.

«Я понял... одно: в душе его от природы или там от самых первых впечатлений младенческих лет заложено было столько чистого и надежно-непоколебимого, что он выдержит любую борьбу, не задохнется и не испортится в любой атмосфере. Даже, может быть, чем хуже, тем лучше — тяжелая обстановка только закалит его:

*Лишь в пылающем горниле
Закаляется металл...»*

Но мог ли он думать тогда, молодой брат милосердия Дмитрий Фурманов, что Горький станет истинным учителем его, что Горькому он

пошлет свои книги «Чапаев» и «Мятеж», что Горький напишет ему большое критическое и доброе письмо, что Горький высоко оценит место его в молодой пролетарской литературе?..

И мог ли предвидеть тогда Митяй Фурманов, что он станет любимым автором того замечательного писателя-коммуниста, который уже через годы после смерти Фурманова напишет, как бы переключаясь с этими его дневниковыми записями, замечательную книгу «Как закалялась сталь»?

Многое испытал в эти весенние дни 1915 года Дмитрий Фурманов. Изъездил все Закавказье, болел, лежал в лазарете, менял место службы (разные санитарные поезда, разные сан-летучки).

В августе 1915 года Фурманов принимает решение перевестись на западный фронт. Хочется сменить приевшуюся обстановку, быть ближе к настоящей большой войне. Да потом была в этом решении и личная немаловажная причина. На западный фронт была переброшена Анна Никитична. А Фурманов не представлял уже себе, как будет жить без Наи.

В сентябре Фурманов едет в Москву, получает новое назначение в санитарную летучку Светловой на юго-западный фронт.

11

На новом фронте Дмитрий Фурманов часто бывает в окопах, в непосредственной близости от поля боя.

«Это новое чувство, новое ощущение близости боя захватило меня всецело. Сердце колотится, словно ждет чего-то. Сюда стягиваются наши силы, предполагается подвести корпус не сегодня-завтра и начать наступление, пока австрийские силы не пополнены германскими».

А где-то по ту сторону фронта, в австро-венгерской армии, в эти же дни воюет молодой офицер Мате Залка. И он тоже не ведает еще судьбы своей. Не знает, что будет взят в плен. И в плену перейдет на сторону революционных рабочих и станет большевиком и красноармейцем. И Фурманов еще не может знать, что они встретятся с Мате и станут закадычными друзьями. И сколько раз оба писателя-краснознаменца (мне посчастливилось бывать при их встречах и дружить с ними обоими), сколько раз будут они вспоминать о тяжелых фронтовых днях пятнадцатого года и о том, как спадала «романтическая» пелена с их глаз, и о том, как каждый своим путем пришел к большевизму.

Но все это еще в будущем, а в эти суровые осенние дни Фурманов очень скоро увидел, что обстановка на юго-западном фронте мало чем

отличается от закавказской. Тот же хаос, бессмыслица. Те же резкие контрасты между солдатским и офицерским бытом. Тот же карьеризм и бесконечные интриги в штабах. И льется кровь, льется бесконечно и бесцельно.

При малейшей возможности Фурманов старается бывать в боевых порядках пехоты, на артиллерийских позициях («...падают неприятельские снаряды. Два из них разорвались всего в 80—100 шагах от меня. Сразу охватила какая-то жуть...»). Впервые садится он на коня и скоро становится неплохим кавалеристом. (Как помогло это ему позже в Чапаевской дивизии. А ведь где-то здесь воюет и унтер-офицер Василий Чапаев, и, может быть, даже они и прошли где-то друг мимо друга на перепутьях фронтовых дорог.)

Будущий писатель подмечает все то, что связано с изнанкой войны, с тяжелыми, прозаическими, боевыми буднями.

А потом опять тяжелые кровопролитные бои на реке Стыри под Сарнами. Сплошные потоки раненых. И тяжелая непрерывная, круглосуточная работа, бесконечные перевязки, когда не успеваешь отмыть с рук чужую кровь. Но именно в этой работе удовлетворение. Она оттесняет тяжелые, беспросветные мысли, которые одолевают молодого «доктора» (так называют его порой раненые).

Наши потери все растут. Неумелое командование. Отступление, иногда напоминающее бегство. «Наши ряды настолько сильно поредели, что 77-я дивизия насчитывает в своем составе всего 3½ тысячи человек, а за год войны через нее прошли 72 тысячи...»

И... все те же бодрые, парадные лживые корреспонденции, «скорбная, смешная и позорная картина сногсшибания». Начинается наступление. Но оно так же хаотично и беспорядочно. Дмитрий пишет матери:

«Должна же, наконец, совершиться когда-нибудь эта последняя, страшная и решительная схватка. А жутко. Враг могуч и умен — живым в руки не дастся, дешево жизнь не отдаст. И думается, что на эту последнюю схватку уйдут многие миллионы людей, потребуется страшная, дорогая жертва... Ничего-то я не знаю, ничего-то не понимаю я в этой драме... Да и кто что знает?.. Вас питают газеты, поющие, словно поломанная шарманка, все одну и ту же фальшивую песню о нашем благополучии... Эта песня, как усыпляющая, коварная песня сирены, завела нас в Карпаты, откуда миллионы страдальцев выбрались только потому, что они русские и привыкли ко всякому горю. Будь на нашем месте другой народ — погиб бы целиком. Изумляюсь я терпению русского солдата...»

С какой любовью к русскому человеку, к русскому солдату, с какой

верой в него делает он портретные зарисовки в своем дневнике! Это целая галерея простых мужественных людей, нисколько не похожих на плакатных козмакрючковых. Это те солдаты, в среде которых вырос Чапаев.

Фурманов не лакирует действительности. Наряду с примерами истинной отваги и мужества, беззаветной удали и стойкости он показывает в дневниковых своих записях и примеры трусости, лжи, притворства, нахального лицемерия.

Гневно пишет он о «пальчиках», самострелах, бросающих товарищей в беде. Он обнажает кулисы войны, бичует штабистов, генералов-карьеристов.

«Их больше тревожит личная слава и забота, как бы один не приписал себе победу другого. Согласованности никакой. Зависть, злоба, всяческие подвохи...»

Солдаты больше не хотят воевать. Цели этой братоубийственной войны непонятны и чужды им. Армия начинает разлагаться. «Говорят, — пишет Фурманов, — уже зарегистрированных беглецов в нашей армии считалось до миллиона...»

Зреют гроздь гнева.

«Солдаты возмущаются глубоким, молчаливым возмущением.

Недалеко то время, когда прорвется молчание и начнется большое дело, дело «О безответственности российских Скалозубов...»

(Именно в эти дни писал поэт Маяковский, стихов которого еще не знал Фурманов: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год...» Но встретиться и подружиться с Маяковским Фурманову довелось только через семь лет.)

А что же они, русские интеллигенты, оставившие свои студенческие занятия, во имя помощи своим ближним, во имя своего долга надевшие военную форму, пошедшие на фронт в качестве братьев и сестер милосердия?..

Фурманов пишет в очерке «Сестры и братья»:

«Пыл охладел, даже у самых горячих за первые же месяцы. Крылья как бы сразу были подшиблены... Мы были настроены романтично, а жизнь, конечно, посмеялась над романтизмом и послала ему в лицо заслуженный плевок — заслуженный и необходимый в такое серьезное, не улыбающееся время...»

«Я только больше и глубже с каждым разом, с каждой новой жертвой возмущаюсь этой непостижимой бессмыслицей...»

Лучшая из всех военных зарисовок Фурманова — очерк «Братское

кладбище на Стыри». Это единственный очерк, увидевший свет на страницах московской газеты «Русское слово», да и то в значительно урезанном виде.

Скорбя о погибших русских солдатах, рассказывает Фурманов, как росли ряды могил. Как водружались на этих могилах белые деревянные кресты с бесхитростными надписями: «Мир праху твоему, дорогой товарищ! Вечная память герою!»

«Пал героим, дорогой товарищ! Спишь ты, дорогой товарищ, на брацкой могиле вместе с товарищами своими. Задачу священную ты решил, и жизнь твою ты отдал, память героя навечно заслужил. Спи, дорогой товарищ. Мир праху твоему!»

«Долго сидел солдатик перед этим крестом, слюнявя чернильный карандаш свой и буква за буквой выводя товарищескую эпитафию...»

Он видел и безвестную могилу «вражеских», венгерских солдат.

«Там (на могиле русских солдат. — А. И.) написано: такой-то погиб за родину, царя и отечество. А почему на этой могиле написано только количество убитых неизвестных солдат венгерцев? Они ведь тоже погибли «за родину, царя и отечество». Тех хоть близкие когда-нибудь отыщут. Разве у этих нет матерей, жен и детей, которые захотят взглянуть на дорогую могилку? Почему они зарыты, как собаки?.. Ненависть к врагу! Да разве они враги? Кто же, кто их сделал врагами?» (цитирую по последнему варианту очерка. — А. И.).

Мучительные вопросы о причинах войны волнуют Фурманова. Он видит истинный солдатский героизм и предательскую политику царского правительства и его чиновников. В своих дневниковых записях он резко противопоставляет штабников, фронтовых аристократов, «окопных туристов» истинным «пролетариям битв», как назвал впоследствии Анри Барбюс солдат, своих товарищей по взводу.

В то время как десятки писателей в России, в Германии, во Франции пытаются разжечь воинственный дух, закрывают глаза на противоречия войны и ее истинный смысл —

*(Барабаны, гремите, а трубы, ревите, а знамена
везде взнесены.*

*Со времен Македонца такой не бывало грозовой
и чудесной войны, —*

Писал Николай Гумилев), — Фурманов в своих дневниковых

высказываниях наиболее близок к выступившим против войны Маяковскому и Барбюсу.

«Офицерье, — пишет Фурманов, — отсиживается по штабам, их там больше, чем в окопах. Каждый бережет свою драгоценную шкуру, а какой-нибудь прапорщик из студентов, да «серая скотинка» несет всю тяжесть бессмысленной бойни».

Кончать войну... Таков лейтмотив, вытекающий из многих бесед Фурманова с солдатами. Таковы и мысли самого Дмитрия. И опять вспыхивает у него желание писать, выразить в художественных образах все то, что увидел и переживал.

Между тем здоровье Фурманова значительно ухудшилось. Он стал плохо видеть. Глаза требовали серьезного лечения. Врачебная комиссия отправляет его в московскую лечебницу известного окулиста профессора Авербаха.

Предстоящая операция беспокоит его. Но свидание с Москвой радует. Да и на родине удастся побывать, у родных, съездить и в село Новинское, где работала Наташа, для последнего разговора. Хотя вопрос этот, по существу, уже только вопрос долга. Ная давно вытеснила Наташу из его сердца. И разлука с Наей сейчас его удручает.

Как-то там течет столичная литературная жизнь? Совсем он оторвался от нее. По рассказам, в большой моде Игорь Северянин. Если это так — измельчали вкусы. Он как-то записал в дневник: «Любя треск и бесцельную болтовню, они создали Игоря Северянина, не в силах превозмочь ни единой главы Достоевского. Скоро движение. На Игоря плюнут, а может, не удостоят и плевка...»

В селе Новинском Фурманов Наташу не нашел. Она уехала к будущему своему мужу. Значит, все кончено. Всякие проблемы долга, верности отпали. Это все было, конечно, обидно. Но, признаться, не так уж огорчило Митяя.

Весь январь и первую половину февраля Фурманов проводит в Алексеевской глазной больнице. Ждет операции, волнуется. Но времени даром не теряет. Подолгу беседует с товарищами по палате, интересуется их жизнью, мыслями, переживаниями. Все они такие разные. От монастырского попа до ломового извозчика.

И у каждого имеется своя особенная. И каждому посвящает Фурманов пространственные записи в дневнике своем, который продолжает вести и здесь, в палате, в ожидании операции.

Далекий от политики, не имеющий никакой связи с большевиками, не

читающий их изданий, Фурманов уже инстинктивно ощущает приближение народного взрыва, народной революции.

Еще находясь в больнице, в феврале, он пишет одно из лучших своих стихотворений — «Пробуждение великана», к работе над которым не раз возвращается и в более поздние месяцы.

Конечно, художественный уровень и этого аллегорического стихотворения не очень высок. Это хорошо понимал впоследствии автор «Чапаева». Но для представления об идейной эволюции Фурманова стихи эти имеют большое значение.

Впервые поэт говорит во весь голос о богатырской силе народа, который разорвет сковывающие его цепи, о занимающейся заре революции.

Стихотворение это противостоит и бесчисленному количеству воинствующих, «шапкозакидательских» стихов тех военных лет, и меланхолическим, декадентским стихам, проповедующим уныние и безверие, и той замкнутой, герметической, камерной поэзии, которой наносил уже сокрушительные удары Владимир Маяковский («Сегодня надо кастетом роиться миру в черепе»).

По всему своему строю стихотворение это близко уже к поэтике Демьяна Бедного и его соратников.

Приведем стихотворение «Пробуждение великана» с некоторыми новыми, более действенными вариантами, которые закончил Фурманов уже в декабре 1916 года:

*Тише... Огромное чудо свершается:
В темном лесу Великан пробуждается,
В темном дремучем лесу...
Он еще дремлет под шапкой мохнатою;
Он еще сердцем и мыслью крылатою
Солнца не знает красу.
Видите, в небе заря занимается —
Светлое солнце из мглы подымается,
Хочет его осветить.*

(Вариант:

*Полымем алым заря занимается,
Солнечный шаг из-за гор подымается.
Богатыря осветить.)*

*В заросли хмурые, в дебри безродные
Врезать лучи золотые, свободные,
Светом от сна пробудить.
Слышите, по лесу словно шептание
Это его, Великана, дыхание
Шутит, играет листвой.
Слышите звон и биенье неровные
Это колотится сердце огромное,
Чует восход золотой.
Тише... Проникнитесь думой глубокою:
С ярим светильником, с мощью широкою
Новая сила идет.*

(Вариант:

*Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми
Новая сила идет.)
Встаньте торжественно, в полном молчании.
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...*

18 февраля в газете «Русское слово» был опубликован очерк Фурманова «Братское кладбище на Стыри».

Очерк был помещен без подписи. Значительно сокращен и сглажен.

И все-таки Фурманов в этот день был счастлив. Первое произведение его увидело свет на страницах московской большой газеты.

«На душе огромная радость, удовлетворение и много-много надежд. Теперь только и думы, как бы утвердиться на этом посту. От этой первой напечатанной вещи почувствовал я в себе уверенность, твердость и смелость. Начало есть...»

...Но начало печатанья в «Русском слове» оказалось и концом.

Следующий очерк для газеты «Фельдшера и фельдшерицы» Фурманов писал долго, обдумывая каждое слово. «Прежде так никогда не писал».

Но очерк не приняли. Редакцию не устроила явная публицистическая направленность очерка.

Это, конечно, огорчило Фурманова.

«Живо ошпарили, на втором шагу обжегся. Впрочем, усадка нет — на душе какая-то неловкость...»

Надо возвращаться на фронт. В конце марта Фурманов зачислен в 28-й Сибирский санитарный транспорт, во главе которого стоял сибирский писатель Г. Д. Гребенщиков. Транспорт отправляется на западный фронт, в район Двинска.

И снова долгие фронтовые дни. И снова тяжелые картины отступления, развала, самодурства.

Он пишет матери о народном горе и муках, о беженцах прифронтовой полосы:

«Бредут на авось, наугад, кочуя от деревни к деревне, от города к городу, направляясь в беспредельную глубь матушки России. Тяжелые, печальные картины...»

Исчезают многие иллюзии, спадают «сентиментальные очарования». Закаляется характер. Фурманов становится более жестким, более суровым, все более требовательным к себе.

Целеустремленный и действенный по натуре своей, он никогда не давал волю пессимистическим настроениям. Он никогда не замыкался в свое собственное поэтическое «я». Он всегда искал ответов на сложные вопросы, возникавшие перед ним. Осудив что-либо не только в окружающей среде, но и в самом себе, он сразу говорил об этом прямо и часто беспощадно.

Он делает многочисленные наброски, зарисовки окружающей его солдатской, народной жизни. Герои его зарисовок, набросков, очерков — простые русские люди, беззаветно любящие свой) родину, отдающие ей свои жизни, но гибнущие часто бессмысленно, бесцельно в условиях того страшного, казенного, гнетущего мира, который бездушно подавляет все чистое, светлое, искреннее.

Он собирает все новые и новые материалы, записывает, запоминает. Происходит долгое, иногда мучительное, становление будущего автора «Чапаева» и «Мятежа».

«Все для чего-то, для неизвестного будущего труда. Без плана, без определенной цели — беру все, что дергает за душу... Сырые материалы... Суждено ли воплотиться вам в форму, дорогие сердцу, долго бранные сырые материалы? Али умрете безвестно в шкафу вместе со старыми книгами?...»

И сколько в этой огромной россыпи «сырых материалов» тонких психологических наблюдений, художественных деталей!

Повествование о сестре милосердия, раненной и взятой в плен

немцами. Ее проникновенные рассказы о судьбах солдатских, ее мысли о родине. «Так как я много выстрадала за эти шесть месяцев, то теперь прямо скажу, что русскому человеку невозможно не любить Россию. Пусть он думает о ней, как хочет, пусть не верит в это чувство. Но придется ему пройти через такое вот испытание, как мне, — почувствует, как он любит Россию».

Вдохновенный рассказ об истинном выстраданном патриотизме вопреки квасному, шовинистическому, парадному.

Или рассказ фельдфебеля о сложной и опасной разведке, рассказ, так непохожий на олеографические фронтовые зарисовки тех лет, рассказ, где глубоко раскрывается перед нами солдатская душа.

Или очерк «Серые герои», об истинных героях кровопролитных боев, очерк суровый в эпической своей простоте.

Давая многогранные характеристики своим персонажам, Фурманов убедительно пишет о сущности истинного подвига, о тех «серых героях», которые честны до конца и в своем терпении поднимаются до величия. «Главная их заслуга в том, что они вполне искренне не замечают своего героизма — настоящего и цельного героизма, не опозоренного хвастовством и жадной славой...» «А ведь он (герой рассказа солдат Зуев, крестьянин Тверской губернии. — А. И.), другой, третий и тысячи таких сереньких на своих плечах выдержали жестокий натиск...»

Фурманов настойчиво разбивает все мниморомантические штампы героизма и подвига. «Наш брат, пережив подобный ужас, носился бы целую жизнь со своим мученическим ореолом, разукрашивая его во все цвета, набиваясь ко всякому с рассказами и дополнениями, публикуя во всех газетах свое великое прошлое, словом, смаковал бы самоуслаждение всевозможными способами, извлек бы возможную и невозможную выгоду из этого прошлого и считал бы себя венценосным героем... А он, Зуев, посмотрите: об этом прошлом он рассказывает тем же языком, что и про деревню, про жену и ребятишек. У него нет ни восклицаний, ни знаков изумления или восторга, ни страшного выражения лица, ни трепета в голосе».

Таков и очерк «Смерть летчика», в котором дана одна из первых картин воздушного боя и один из первых портретов аса молодой русской авиации. (Впоследствии этот очерк был положен в основу рассказа «Летчик Тихон Жаров» (1923).)

Мы видим солдат в бою, и в госпитале, и на отдыхе. Мы слышим бесхитростные их рассказы, в которых много наблюдательности, мудрой народной философии, рассказы, окрашенные и глубоким трагизмом и

тонким юмором. А главное — все время мы ощущаем (ненавязчиво, неподчеркнуто) отношение самого автора к своим героям. И сам автор — молодой студент, брат милосердия Дмитрий Фурманов, патриот и гуманист — вырастает перед нами от очерка к очерку и становится одним из главных персонажей своей ненаписанной эпопеи.

Прочитав все эти разрозненные зарисовки, как бы фрагменты будущей книги, можно сказать о характере творческой направленности их автора, который близок реалистическим традициям русской классики, который, несомненно, не раз перечитал «Севастопольские рассказы» Льва Николаевича Толстого.

По дневникам Дмитрия Фурманова, по стихам его, очеркам и зарисовкам можно проследить, как окончательно развеивается шовинистический угар четырнадцатого года, как все глубже начинает постигать он истинный характер войны, все решительнее негодовать против «несуразности и дикости этой ненужной, свирепой резни».

Но только негодовать, только по-пацифистски отрицать войну было не в характере Дмитрия Фурманова.

Надо было поставить перед собой новую цель, найти новые идеалы, новое кредо.

«Руль повернут. Наметились иные желания, родились иные цели, пришла большая охота сбросить тяжелую и фальшивую хламиду прошлого — от выпренной мечты, от паренья проникнуться тягостью настоящего».

По привычке к литературным ассоциациям и аналогиям он и здесь отталкивается от литературного образа.

«Непротивление мне как-то не к лицу. Когда я долго держал перед собой образ Алеши Карамазова и пытался в каждый свой поступок призвать его, выходило какое-то юродство во имя смирения и прощения. Есть много положений, где смирение преступно, где оно граничит с безразличием или — больше того — согласием. На каждый вопрос должен быть свой ответ, как на каждый удар струны рождается свой, и особенный, звук. Смирненность была во мне всегда неестественна, потому она и казалась смешной, потому долго не жила... В минуты горя или злобы, наоборот, приходило желание бороться, отстоять себя, объявить себя, испробовать скрытую силу. *Была жажда борьбы — самая ценная струя жизни.*» (разрядка моя. — А. И.).

Пребывание в армии, в гнетущей обстановке санитарного транспорта со всеми его интригами и закулисными сплетнями становится невыносимым для Фурманова.

Он чувствует, что настоящая жизнь не здесь. Часто вспоминает он об

Иваново-Вознесенске, о родном городе ткачей. Встретиться бы опять с ними, поговорить по душам, помочь в их справедливой борьбе.

Он получает письма с родины. Из Иваново-Вознесенска, из Кинешмы, где живет старшая сестра Соня. Там создаются новые рабочие организации. Он может помочь там своими знаниями. Может и должен. Там его ждут. Там назревают настоящие, большие события. Но он поедет туда не один. С ним будет его друг, его невеста, его будущая жена Ная.

Свою совместную жизнь Дмитрий Андреевич и Анна Никитична не скрепляли официальным венчанием. Но в архиве Фурманова сохранился любопытный, наивный, несколько сентиментальный и трогательный документ — конституция их супружеского союза:

«Мы сходимся свободно, полные взаимной любви и уважения. Сходимся потому, что в жизни порознь не нашли полного счастья. Сходимся для того, чтобы это счастье найти в совместной жизни — на общих принципах во имя общих идеалов. Мы сходимся для того, чтобы полнее осуществить свою любовь при наличии полной свободы, сходимся для упорной активной работы на общественном поприще во имя блага трудового люда... Мы не обременяем себя условностями мещанских правил и приличия бракосочетания. У нас нет сговора, нет венчаний, кроме этой добровольно устанавливаемой для себя конституции... Ная, Митяй... 1915 год...»

И в эти же дни Фурманов записывает в дневник:

«...Я горжусь твоей душой — отзывчивой и доброй. Она богата возможностями, и я постараюсь заполнить ее самым драгоценным материалом... Если будем трудиться — мы... многого добьемся вместе... Не уставай и не падай духом...»

...Наконец приказ о демобилизации добровольца брата милосердия Фурманова подписан.

26 октября Дмитрий делает последнюю «фронтовую» запись в дневнике:

«Я накануне отъезда. Завтра ночью... еду на родину заниматься с рабочими... В душе и гордость и восторг... Там с рабочими — я у литературы. Не пошел бы я к ней от горячки, но от такого застоя бегу с радостью...»

Может быть, одну бурю сменит другая, и я сам умчусь в этом новом вихре, в водовороте, еще более неудержимом и страстном...»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СНОВА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК.

ОКтябрьская РЕВОЛЮЦИЯ

12

Иваново-Вознесенск, казалось, совсем почернел от фабричной копоти и гари. Всюду встречались суровые, измученные лица рабочих, особенно женщин, у которых мужья и сыновья находились на войне. В рабочих поселках: Рылихе, Голоданхе, на Ямах, нищета выпирала из всех щелей. У мусорных ям в поисках пищи копошились дети. Однако не только эту беспросветную нищету разглядел Фурманов в родном городе. Всюду слышался глухой ропот, всюду совсем уже открыто проклинали войну, осуждали царя-батюшку и его министров. Казалось, достаточно одной спички, чтобы вспыхнул очистительный пожар.

Конечно, в этих условиях нечего было и думать о продолжении учебы в Московском университете. Он нужен был здесь, в родном городе ткачей. Он чувствовал, что скоро, очень скоро произойдет взрыв, наступит какая-то решительная перемена, способная обновить все на свете. Хотя в те дни он еще совсем смутно представлял себе, какой характер будет носить это обновление.

Он записал в дневник 8 ноября:

«Я окреп, я воскрес духом... Вера в себя не должна умирать ни на единый миг... Громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий солнечный путь. Там радость, там праздник, там гордость от осознанной и объявленной силы. Слава тебе, живая вера в живой источник живой души...»

Ненависть к прогнившему царскому режиму повсюду растет с каждым днем. Сотни тысяч «кормильцев» гибнут на фронтах кровопролитной бойни.

Села без мужчин. В городах — ни топлива, ни хлеба. Огромные очереди. Полный развал транспорта, чудовищное взяточничество, полицейские бесчинства. Самые неприкрытые измены и предательства в

высших сферах. Растет народное возмущение.

Правящие круги мечутся в предчувствии назревающего взрыва. Гроза приближается.

11 ноября 1916 года председателем совета министров назначается реакционер и вешатель А. Ф. Трепов. Это вызывает всеобщее недовольство. Валы возмущения докатываются от Петрограда до Иваново-Вознесенска. Живо реагирующий на все события Фурманов пишет:

«Предсмертная агония. Это агония, разве вы не видите, это отчаянная и последняя попытка — назначение Трепова. Разве не знаменательно, что Милюков с думской трибуны так открыто говорил о государыне? Глупость или измена — этот роковой вопрос давно взбурлил непокорные массы...»

Бесконечные аресты в Петрограде и Москве. Тюрьмы полны политическими заключенными... Но истинные революционеры — большевики не падают духом. Вера в грядущую, уже близкую, совсем близкую революцию воодушевляет их.

Сотни весточек перелетают через линию фронтов, доходят до швейцарского города Цюриха, до маленькой, скромной квартиры, где живет вождь революции Владимир Ильич Ленин.

С каким волнением читает он каждое письмо с родины!

«Дорогой друг! — пишет он Инессе Арманд. — Получили мы на днях отрадное письмо из Москвы... Пишут, что настроение масс хорошее, что шовинизм явно идет на убыль и что наверное будет на нашей улице праздник...»^[3]

Фурманову еще незнакомы ленинские труды. Он еще очень одинок перед лицом надвигающейся бури. И все же всем горячим сердцем своим, всем разумом он принимает революцию, он верит в свой народ, в солдат, которые повернут оружие против самодержавия, в своих земляков-ткачей Иваново-Вознесенска, которые достойно сумеют взять власть в свои руки.

С трепетом душевным пишет он в дневнике своем:

«Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем — и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы.

Новыми наборами хотят ослабить Русь, чтобы некому было поднять революцию, чтобы было кем ее придушить. Но велика наша матушка Русь и много осталось в ней честного люда!

...Молодая сила уже заявила свое могучее: пора!..»

«...Время подымать революцию... надо готовиться, быть настороже каждую минуту...»

В такие грозные дни тяжело чувствовать свое одиночество! Ная

уехала к родным, на Кубань. Связи с революционным подпольем не налажены. Давно созрело огромное чувство протеста против войны, против реакции, против ивановских купцов, против продажных чиновников. А положительной программы нет. Все бесформенно, смутно.

«Что-то будем делать мы — беспрограммные, беспартийные, но всей душой преданные свободе и братству? Зажигать не диво, а что мы будем строить на пепелище...»

Как всегда, он предельно искренен и беспощаден к самому себе.

«Когда подумаю об этой практической стороне — чувствую и вижу, что бессилён и жалок. Пусть другие, те, которым ясны пути и цели, — пусть строят они это желанное, долгожданное здание. А мы, люди чувства и надземных желаний, — мы будем помогать только сочувствием да жарким, расплавленным словом. И довольно. Большого не можем... Без программы, без партии, без плана — по вдохновению, по яркому, по случайному порыву — будем мы строить и крепить это неведомое, зацелованное и слезами и кровью омытое здание близкой новой жизни.

Пробуждайся, крепись, молодая сила! Черные тучи все ниже, все гуще охватывают тебя, но воспрянь, рванись — победа всегда за тобой!..»

Огромное поле деятельности требовало приложения его сил! Он не мог больше замыкаться, оставаться наедине с собой. Он не мог больше в стихах или в прозе только «декламировать» о своей воле к борьбе и свободе. Он не мог только «зарываться» в книги.

Ведь слово у него никогда не расходилось с делом.

«Так скорей же, скорей!.. Эта бесконечная «предварительность» может надломить. Но скоро придет главное — тогда отдам все силы...»

Фурманов начинает работать на Иваново-Вознесенских рабочих курсах. Он бросается в самую гущу борьбы. Ивановские ткачи приняли его в свою трудовую семью и крепко полюбили.

Рабочие курсы были организованы под вывеской Московского общества грамотности. Основной состав преподавателей — московские студенты-ивановцы, вернувшиеся в родной город.

Курсы находились в двухэтажном деревянном доме на горе, по Шереметьевской улице. Занималось здесь человек пятьдесят по программе, копирующей общеобразовательные школы вплоть до закона божьего. Но дух, обстановка, разговоры и сам метод преподавания (как отмечает

ивановский летописец Г. И. Горбунов) были необычными. Студенты позволяли себе «вольности» в изложении истории, литературы и других предметов. Почти все слушатели курсов были настроены демократически, революционно. Каждый день приходили новички. Курсы, и так находившиеся на полуполюгальном положении, вскоре стали объектом полицейского наблюдения.

Тяга рабочих к знаниям была неиссякаемой, и, если бы в городе объявили о приеме на курсы всех желающих, записались бы сотни.

Дмитрий Андреевич преподавал литературу.

Ему казалось, что теперь нашел он настоящее свое призвание. Он помогал людям впервые прикоснуться к великому искусству, испытать счастье первого открытия Толстого, Достоевского, Горького.

В большинстве своем слушатели курсов были молодые рабочие, связанные еще с революционным подпольем, с нелегальными кружками. Все, о чем говорилось на лекциях, было для них откровением, будило свежие мысли, воспитывало критическое отношение к действительности. Правда, приходили сюда и большевики-подпольщики: Василий Степанов, Мария Икрянистова (по партийной кличке — Труба). Они охотно посещали курсы, в особенности лекции молодого, горячего Фурманова.

Мария Труба (впоследствии неперемнная участница всех наших фурмановских вечеров) вспоминает:

«Впервые я встретила с Дмитрием Андреевичем Фурмановым в 1916 году в городе Иваново-Вознесенске, где я работала ткачихой на текстильной фабрике... Фурманов стал моим первым учителем. Это он научил меня держать в руках карандаш, писать, считать столбиком. Он хорошо понимал, как важно для рабочих просвещение... он пользовался большим уважением в рабочей среде...»

Именно в эти предреволюционные дни Фурманов возвращается к своему стихотворению «Пробуждение великана», делает его более действенным, более призывным, зовущим на борьбу.

Он читает переработанное стихотворение на студенческой вечеринке, знакомит с ним и некоторых более близких ему слушателей курсов, в частности и Василия Степанова и Марию Трубу.

Старая ткачиха рассказывала нам, как звенел голос Дмитрия, когда он вдохновенно декламировал:

*Тише... Рядами сомкнитесь готовыми...
С ярким светильником, с думами новыми
Новая сила идет.*

*Встаньте торжественно, в полном молчании,
Дайте дорогу при светлом сиянии
И пропустите вперед...*

«В тот вечер я сказала Василию Степанову: «Слушай, Василь! Он еще не член партии, этот студент. Но душой он уже с нами. Он еще много добра сделает для народа...» И я не ошиблась...»

А Фурманов всем сердцем, всеми помыслами своими тянулся к революции. Он уже окончательно решил, что призвание его — литература. Но больше всего страшился оказаться лишним на этом избранном литературном пути.

«Литературный путь, вообще путь творческий, вынес на себе и Горького и Шаляпина... Вход никому не закрыт... Путь ослепительный. И на нем особенно тяжело, почти невыносимо признать себя случайным гостем...»

1 марта (по старому стилю) пришли в Иваново-Вознесенск первые вести о Февральской революции.

«Ходят слухи, как волны в море, — в тот же день записал Фурманов, — будоражат, волнуют могучую зыбь. Где-то там, в далеком, чужом Петербурге, совершается родное — там революция. Поднялся народ, а с ним — четыре полка. Это особенно сильное обстоятельство, оно ходит из уст в уста, передается с жаром, многозначительным тоном — войско идет с народом!

...Все ждут. Напряжение величайшее. «Перейдет в Москву, подымет белокаменная, а там и мы пойдем», — говорят обеспокоенные.

...Пока тихо. Но уже так накалилось кругом, так стало душно, что гроза неминуема. Теперь уж никто не сомневается в том, что она будет. Спрашивают другое: когда? Так спрашивали прежде, а теперь еще выразительней: в какой день. Ждут, когда пламя перебросится и зажжет горючие материалы... Беги, стремись, волна. Я знаю, что ты и меня увлечешь с собою...»

А на другой день... свершилось. Рабочие Иванова с утра остановили все фабрики. Торговцы и лабазники заперли магазины. Черносотенцы в страхе попятились.

Улицы и площади заполнены народом. Повсюду красные флаги. Песни.

В первых рядах манифестантов Дмитрий Фурманов со своими

друзьями.

Вместе с другом Михаилом Черновым Фурманов бежит на курсы. Какие уж там сегодня занятия!.. Высокие слова о революции претворяются в дело. Фурманов и Чернов вывешивают объявление:

«По случаю великих событий, происходящих в России, занятия прекращаются до воскресенья».

«Настроение таково, что дух захватывает. В Петербурге арестовано правительство. В Москве начальник военного округа Мрозовский заперся с частью полиции в Кремле, но принужден был сдать. Отовсюду мчатся беспокойные боевые вести. Люди ходят с восторженными, вдохновенными лицами. Готовятся к великому празднику России. Полицейских нет — все попрятались. Все заволновалось, заходило, словно в морской качке. Рушится старое зло, рождается молодая свободная Россия...»

14

Революционные события в Иваново-Вознесенске развиваются. Местный полк целиком перешел на сторону народа Фурманов становится летописцем революции.

Со свойственной ему пунктуальностью каждый вечер он записывает в свой дневник впечатления свои о всем происшедшем за день.

«Жандармы и полиция обезоружены. Совершилось небывалое в летописях событие: 15 человек полицейских во главе с полицеймейстером, осененные пятью красными флагами, подошли к думе с громкой, возбужденной «Марсельезой». У них на груди красные бантики, на устах — слова равенства, братства, а главное, свободы. Но, конечно, им никто не верит... На лицах у всех светлый праздник, и не простой праздник — а именно светлое воскресенье, когда уж греют солнечные лучи, когда говорит без умолку пробужденная природа...»

Общий революционный поток захватывает Фурманова. Он неприменимый участник всех манифестаций и собраний.

Общество грамотности. Слет учащихся среднеучебных заведений. Митинг интеллигенции. Революционный комитет общественной безопасности. Речи. Речи. Речи...

«Уже ясно, — замечает Фурманов, — что дело освобождения встало на твердый грунт единения народа и войска. Момент по сочетанию обстоятельств — единственный в своем роде, повторяющийся один раз в тысячи лет».

Однако скоро приходит «похмелье».

Фурманов убеждается в том, что многие ораторы без конца повторяют друг друга, не идут дальше общих, трафаретных излияний. Враг всякой болтовни и фразерства, он не видит в речах ораторов практической, цельной программы действия.

«Много в них чувств и наружу прорвавшейся жажды борьбы, но еще больше беспомощности и неумения все поставить на свое место: и слово и дело. Поэтому слушать ораторов тошно. У них общие, надоевшие места».

Недоволен Фурманов и своей первой лекцией. Она состоялась 11 марта. Продолжалась два с половиной часа. Он сумел унять волнение свое и возбужденность.

Говорил о революции, о великих ее задачах, о народе.

Слушали его хорошо, и он сам был увлечен своей речью. Однако в тот же вечер, придя домой и предаваясь обычному критическому самоанализу, с огорчением писал «Затронул много вопросов, с которыми сам знаком лишь поверхностно, с такой уверенностью их трактовал, что можно было подумать, будто их разбирает осведомленный, компетентный человек. Иногда, моментами, в голове была совершенная пустота, и я не знал, о чем говорить. Но здесь спасала начитанность. Находились красивые слова: они сами собой срывались с языка, и мне сдается даже, что эти именно места и оставляли наибольшее впечатление, как наименее трудные, как наиболее лирические...»

С горькой иронией отметил он:

«По окончании речи подошли ко мне две барышни и просили списать заключительные слова лирического тона...»

Нет, не эти барышни нужны были ему. Он искал путей к массам, к народу. Но не было у него еще ясной положительной программы. И не было рулевого, который определил бы его верный путь.

«Мы, интеллигенция, — признался он самому себе после лекции, — оказались совершенно неготовыми. В социальных вопросах приходится разбирать все с азбуки...»

А между тем в Иваново-Вознесенске такой рулевой уже был. Только Фурманов не мог еще найти к нему дороги.

События в городе развивались настолько быстро, что он не успевал опомниться и дать им должную оценку. На политическую арену во главе рабочих масс открыто вышли большевики, о которых Фурманов прежде почти ничего не знал. Не имел он ясного представления и об эсерах, анархистах и других партиях и группировках, старавшихся объявить себя защитниками народа, перекричать друг друга на многочисленных

митингах.

Слушая разноголосую пропаганду политических лозунгов, он не знал, кому верить, кому отдать свое сердце, давно жаждавшее открытых действий, горячих дел.

Впоследствии (в 1921 году), рассказывая о своем сложном пути к большевизму, Фурманов резко и самокритично писал: «Истпарт выпустил свою первую книгу «Из эпохи «Звезды» и «Правды». Читаю я вчера и думаю: «...вот в 1911–1914 годах был революционный подъем. Издавались и набатом били эти две славные газеты, волновались рабочие — переживали великие дни... Я тогда был студентом. И ничего не знал — совершенно ничего: ни про газеты, ни про волнения, ни про партии. Студент, взрослый человек — а я и понятия не имел не только о каких-нибудь там ликвидаторах, отзовистах и т. д., но и о социал-демократах, слышал всего 2–3 раза — так только слово услышу, а значения не понимал. И даже не интересовался этим нисколько... Какой же я был олух, какой олух!.. Просто ужас вспомнить: кругом кипело море, вздымались волны, готовилась буря, а я ничего-ничего не видел... А как бы это совпало с моим потенциально-революционным состоянием! Я чувствовал в себе всю жизнь, с детских годов внутренний протест, недовольство гнетом, устремление к свободе, любовь к бедноте — были все задатки революционера. А вот на деле жил мещанином и обывателем. Как это горько! Пелена с глаз у меня спала только в дни революции, а до этого я был совершенным младенцем...»

Эту запись в дневнике Фурманов беспощадно озаглавил: «Из моего позорного прошлого...»

Суровая самокритика только подчеркивает требовательное отношение Фурманова к самому себе. И предельную искренность. Ни с другими, ни с самим собой он никогда не фальшивил.

«Пелена» с глаз Фурманова не спала окончательно и в первый революционный год. День за днем прощался он со многими иллюзиями.

Собранные в один том страницы дневника Фурманова 1917–1918 годов вышли в свет уже после смерти писателя. (При жизни он и не думал издавать их, они были, может быть, только предварительными заготовками к будущей большой автобиографической книге.) Думаю, что «Путь к большевизму» — одна из лучших книг Фурманова. Книга эта, трудноопределимая по жанру, имеет большое познавательное значение при изучении сложных психологических путей интеллигенции в те бурные первые годы революции.

Справедливо писал в предисловии к книге друг Фурманова Юрий

Либединский (мы не раз беседовали с ним на эту тему), что том «Путь к большевизму» как бы предваряет все более поздние книги Фурманова, является как бы частью многотомного его дневника, из которого выросли и «Чапаев» и «Мятеж». Путь от первых записей, от дневников к высокому художественному обобщению — таков весь творческий путь Фурманова.

«Отбрасывалось случайное, несущественное, выделялось основное. Художественное сырье фактов превращалось в явление искусства, в обобщение на основе определяющей тенденции развития действительности».

Но обо всем этом речь будет еще впереди.

Вернемся в Иваново-Вознесенск, в март 1917 года.

В середине марта ивановские ткачи, имеющие уже немалый революционный опыт, создают Совет рабочих и солдатских депутатов. Солдаты 199-го полка заявили, что они не посягнут на революцию. Председателем Совета избирается опытный большевик, бывалый и прекрасный агитатор Василий Петрович Кузнецов, только что вернувшийся из ссылки. Товарищем председателя становится Василий Яковлевич Степанов, вчерашний ученик Фурманова по рабочим курсам. К работе Совета Степанов решил привлечь и Дмитрия Андреевича. Молодой Советской власти очень нужна была помощь интеллигенции. Борьба за диктатуру пролетариата приобретала новые, острые формы. Прошла пора митингов и красивых слов. Наступила пора решительного действия.

На городских митингах выступают представители многих партий. Эсеры. Эсдеки. Максималисты. Анархисты. Каждая партия по-своему освещает происходящие в стране события, предлагает свою программу действий. Фурманов внимательно прислушивается к речам, ищет в них те зерна истины, которые помогут ему сделать свой выбор. Какой путь наиболее верный, какой партии отдать сердце свое и силы...

Представитель эсеров — златоуст И. А. Салов. Одна тема: «Смысл совершающихся событий».

Мнимая эрудиция. Фейерверк имен и понятий. Ницше. Шопенгауэр. Каутский. Фразы, фразы и фразы. «Много было пустейшей болтовни праздных людей, а вопросы текущего момента остались позади...»

Позеры... Болтуны. «Видно было, что люди болтали только для красного словца, ничего, в сущности, не понимая, ничего не защищая, ни в чем по-настоящему не убежденные... Подобных людей занимает почетная роль главаря, председателя, организатора только. От этих болтунов, кроме вреда, ничего получиться не может...»

Нет, не так надо разговаривать с массами. Надо найти свой язык,

близкий и понятный. Надо говорить о чем-то близком и очень конкретном, а не щеголять никому не нужной, да притом и весьма сомнительной эрудицией.

«Сидит мужичок, слушает и думает про себя: «Ну, дурак же я, дурак, ничего-то я не понимаю...», а разъяренный оратор хлещет его Энгельсом, Марксом, Лассалем, Каутским, Бебелем и проч, и проч.

Кончится речь. Мужичок обтирает холодный пот и растерянно смотрит по сторонам, ища объяснения, помощи, прибежища. Но видит со всех сторон такие же растерянные скорбные взоры, — видит и скорбит еще больше...»

Присутствует Фурманов и на первом легальном собрании городской организации большевиков. Здесь он встречается и многих учеников своих с рабочих курсов.

Это собрание пришлось ему больше по душе. Здесь шел конкретный разговор о программе партии, о возрождении профсоюзов, о политической работе среди масс, о практических делах Совета депутатов.

И все же Фурманов еще не решается примкнуть ни к какой партии. Не встретил он еще того человека, который стал бы его истинным партийным «крестным». Товарищ Арсений, Михаил Васильевич Фрунзе, еще не вернулся в Иваново-Вознесенск.

Сам Фурманов проводит в эти дни немало бесед о текущих событиях в самом городе и в пригородах Воробьево и Глинищево.

На квартире одного из слушателей курсов происходит обсуждение эсеровской и большевистской программ. Наиболее значительно выступление бывшего ученика его, убежденного большевика, товарища председателя Совета В. Я. Степанова.

И все же:

«Я формально не причисляю себя ни к одной партии, но перевес симпатий, кажется, на стороне эсдеков (то есть социал-демократов большевиков. — А. И.)...Всех деталей программы партии я еще, правда, не уяснил и потому нигде себя не фиксирую...»

С головой уходит Фурманов в практическую работу Совета, куда привлекли его друзья — рабочие-курсанты. Он входит в состав культурно-просветительной комиссии. Тут огромное поле работы. И курсы, и библиотеки, и общество грамотности, и народные университеты, и рабочие клубы, и кружок пропагандистов.

Особенно по сердцу ему пропагандистская работа.

«Пришло то самое, чего напрасно ждал так долго я в смрадном болоте сомнений и колебаний.

Пришла бодрость и неутомимая жажда работы. В этой новой школе вырабатываются принципы, закаляется воля, создается план, система действий... Теперь и то бесконечно дорогое, то единое и светлое в жизни — литературное творчество, — теперь и оно как-то стало ближе, стало понятнее, осуществимее, достижимее... Я, наконец, поверил в себя... Эта великая революция и во мне создала психологический перелом...»

В середине марта 1917 года в доме бывшего торговца Кулакова, на Песках, открылся клуб под названием «Рабочий».

В правление клуба были избраны большевик-подпольщик Исидор Любимов, совсем молодая коммунистка Лариса Самарина, учительница Анна Фролова и Дмитрий Фурманов, особенно любивший художественную самодеятельность рабочих. Иногда он появлялся в клубе приодетый, в темной вельветовой блузе, с широким фуляровым галстуком. Рабочая молодежь всегда толпилась вокруг него, зная, что у Фурманова можно поучиться и декламации, и пению, и драматической игре на сцене.

Сам он охотно декламировал стихи из «Шильонского узника». В эти дни он увлекался Байроном. Фурманов активно включился в организацию рабочей самодеятельности.

Изредка читал на вечерах и свои собственные стихи.

Как он был счастлив в день Первого мая, первый свободный праздник рабочего класса! Как он гордился тем, что отмечал его в рабочих колоннах, среди друзей и соратников!

А между тем далеко не все было празднично и лучезарно как в самом городе Иваново-Вознесенске, так и в ивановской деревне.

Шел уже третий месяц революции, а война все продолжалась. Гибли тысячи солдат. Не был никак решен вопрос о земле. Мало в чем изменилось тяжелое положение рабочего класса.

На каждом собрании, где выступал Фурманов, выдвигались новые жгучие вопросы. И не на все он находил должный ответ, сам многого не зная, во многом не разбираясь, не имея должных связей с той партией, которая представляла интересы рабочего класса, партией большевиков.

В мае закончились занятия на вечерних рабочих курсах. Фурманов решил отправиться в поездку по деревням, рассказать крестьянам о революции, побеседовать о текущем моменте, а заодно посмотреть своими глазами, что творится на селе, глубже узнать думы народные и своими

мыслями поделиться.

Раздобыв где-то коня и подводу, он взял удостоверение в обществе грамотности и совсем было отправился в путь. Но тут о предстоящей поездке его узнали местные эсеры, руководимые опытным политиком и «ловцом душ» Иваном Саловым, у которого Фурманов, прекрасный оратор и пропагандист, давно был на примете.

— Напрасно ты едешь с удостоверением от общества грамотности. Это не солидно. Возьми мандат от нашей партии: она самая мужицкая, тогда и доверия в деревне тебе будет больше.

Фурманов согласился. Не примкнув формально к партии эсеров, но, несомненно, уже связав себя с ней этим решением, Фурманов берет эсеровский мандат для поездки по деревням.

Он объехал десятки селений.

Прочитал сотни лекций, провел десятки бесед.

Надеясь на свои ораторские способности, он думал, что крестьяне встретят его с распростертыми объятиями, станут провожать овациями... И споткнулся на первых же выступлениях. Оказалось, что он совсем не знал крестьянства. Все в деревне бурлило и клокотало. Классовые противоречия становились острыми и обнаженными. Сельским кулакам по душе был эсеровский лозунг о войне до победного конца, а основная крестьянская масса требовала немедленного мира и земли.

С каждым днем Фурманов убеждался, что не с тем мандатом поехал в деревню, что эсеровская программа чужда народу. Да он и сам, побывавший на фронте, испытавший всю тяжесть братоубийственной бойни, не может ни в коей мере защищать милитаристские лозунги.

18 июня премьер-министр эсер Александр Федорович Керенский подписал приказ о наступлении. Это предвещало новую кровь, новые бессмысленные жертвы.

Во всей стране прошли массовые демонстрации протеста. По инициативе большевиков Иваново-Вознесенский Совет (в его составе были уже такие видные деятели партии, как А. С. Бубнов, Ф. Н. Самойлов, А. С. Киселев, Н. А. Жиделев) организовал манифестацию под лозунгами: «Долой войну!», «Долой 10 министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!»

Фурманов чувствовал всю правду этих лозунгов. Он не мог больше быть эсеровским пропагандистом. Как всегда откровенный с самим собой и беспощадный к своим ошибкам, он записывал в свой дневник:

«Лишь теперь, почти через 5 месяцев постоянной напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций, — лишь теперь

многие стали примечать свои первоначальные ошибки, стали сознаваться, хотя бы перед самим собою, в политической своей безграмотности и отречься от того, что по неведению исповедовали 3–4 месяца назад.

И нечего стыдиться, друзья! Смело заявляйте о происшедшем в вас переломе, это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине, вашу искренность...

Я смотрю на себя и поражаюсь той перемене, что совершилась во мне, главным образом за этот последний месяц. Как нарастал, как собирался этот перелом, — я все еще не уясню себе окончательно».

Он ничего не пытается приукрасить, Дмитрий Фурманов. Он несколько не пытается оправдать себя. Но... перелом совершился. И он уже не будет больше обманывать ни себя, ни своих слушателей. Он пытается для самого себя (ведь не мог же он тогда думать, что дневник его будет когда-нибудь издан) проследить причины своего перелома, эволюцию собственных взглядов, а соответственно и поступков.

«Два месяца назад я уехал по деревням. Взял мандат йот местного оборонческого комитета социалистов-революционеров. В этой плоскости я и вел свои беседы в течение первого месяца...»

Но вот началось наступление 18 июня. В этот день Фурманов был в деревне Лежнево.

Перед митингом к нему подбежал солдат и крикнул:

— Товарищ, сегодня пришла весть — у нас громадная победа! По этому случаю устраиваем благодарственный молебен. Скажите, пожалуйста, речь после молебна, чтобы поднять дух...

— Нет, — решительно заявил Фурманов, — не могу. Радоваться тут нечему: мы ли победили, нас ли победили — горе одинаковое, страдания одинаковые, — для меня тут нет никакой радости...

Сказал это Фурманов и понял, что пути назад нет, что не может больше разъяснять народу эсеровскую, чуждую ему по самому своему существу программу.

«До сих пор, надо сознаться, я мало размышлял об отношении к войне революционных интернационалистов, но в эти дни я почувствовал, нутром почувствовал, что правда именно на их стороне. Я стал приглядываться к взаимоотношениям крестьян и пленных и увидел, что они совсем не враги, что кто-то жестоко нас обманул и умышленно натравил друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. В соответствии с происшедшим во мне переломом изменилась и сущность моих бесед...»

О тех же днях Мате Залка писал впоследствии в своем дневнике: «Из молодого солдата стал сперва пацифистом, задумавшимся над вопросами

человечества, потом антимилитаристом, ярим и страстным... Я весь отдался служению народу... В конце 1917 года я большевик, красноармеец и интернационалист...»

Как любопытно скрещиваются пути Залки и Фурманова...

6 июля Фурманов провел 80-ю беседу с крестьянами в Торфяниках (в районе деревни Реброво). Эта беседа была особенно теплой и душевной. Ночью, остановившись на ночлег в бедной крестьянской избе, при свете оплывающего огарка (привыкнув уже к подобным ночевкам, он всегда имел свечу в походной своей сумке), он записывал:

«Чувствую радость, удовлетворение, спокойствие духа. Много раскидано семян за эти два месяца, много родилось споров, недоразумений — словом, так или иначе пробуждалась к жизни крестьянская мысль. В наши беседы вплелись все нужды убогой и темной крестьянской жизни: кооператив, школы, библиотеки, выписка газет, аренда земель, самовольные захваты, опись наличного хлеба, увод скота, отношение к дезертирам... Беседа обычно от общих тем политического характера, утомительных для непривыкшего крестьянского ума, переходила на обсуждение вопросов повседневности, вопросов знакомых, простых и понятных...»

«В тактике, в вопросе по отношению к земле, — пишет Фурманов, — по отношению к фабрике я стал близок к большевикам».

Но никаких связей с партией большевиков у него еще нет.

Вернувшись из поездки по деревням в Иваново-Вознесенск, Фурманов явился в местный эсеровский комитет и высказал резко отрицательное мнение о войне. Тут-то и пришлось ему выдержать первую стычку с руководителем эсеров Саловым.

— Ты большевистский агент! — выпалил Салов. — Ты хочешь взорвать нашу партию изнутри!

— Думайте обо мне как угодно, — твердо заявил Фурманов, — но в Керенского я больше не верю и за войну агитировать не стану.

16 июля Фурманов записал в дневник: «Местный оборонческий комитет просил меня выйти из состава партии как несогласного с его основными положениями. Я ушел».

По меткому замечанию земляка Фурманова, поэта Авенира Ноздрина, он и пробыл-то в партии эсеров (оборонцев) «не более часа».

Нуда идти, в ряды какой партии вступить, Фурманов еще не решил. Многое еще непонятно и смутно. «Теперь встает задача организовать на месте комитет с.-р. интернационалистов».

Никак не оформив создание новой левой партийной организации —

максималистов, имея еще весьма смутные представления и о составе ее, и о программе, и о тактике, Фурманов продолжает свою поездку по деревням. Одно ясно ему. С Садовыми порвано окончательно. Да и мог ли он считать себя когда-нибудь всерьез связанным с ними?.. Метания... Случайные связи. Связи, которых он, впрочем, никогда не простит себе.

В конце июля Фурманов выдерживает одно из самых сложных испытаний за все это бурное, полное стольких неожиданностей лето.

Он приезжает в богатое торговое село Васильевское. Судя по многим добротным избам, крытым шифером и железом, здесь немало кулаков и богатеев.

Послушать «студента» собирается все село. В первых рядах дородные бородачи, очень смахивающие на иваново-вознесенских купцов.

Тема доклада — о войне и о мире.

Не дав еще докладчику как следует разойтись, но уже почувствовав в нем врага, кулаки и лавочники начинают осыпать его оскорблениями. Атмосфера все накаляется. Злобные выкрики против большевиков и Ленина.

Еще числясь формально в партии эсеров, Фурманов в корне расходился с ними в оценке деятельности Ленина. Не то чтобы он глубоко разбирался уже в ленинской программе. Но все, что слышал он о Ленине, все, что с такой любовью рассказывали ему друзья и ученики по курсам — и Степанов и Труба, и многие другие, да и речи Ленина, которые он уже прочел в большевистской «Правде», и его Апрельские тезисы — все это вызывало у Фурманова не только сочувственный интерес к этому, видимо, замечательному человеку, но и резко противопоставляло его, подлинного народного руководителя всем этим болтунам и краснобаям от столичного Керенского до ивановского Салова.

В ответ на всякие оскорбительные выкрики Фурманов «взял под защиту» Ленина, сказал о той поистине благородной и революционной роли, которую он играет сейчас в стране, о народной программе, которую он выдвигает и за которую борется. Кажется, никогда он не говорил еще так страстно и горячо (Спрашивали его о Ленине и ранее, в других деревнях, и рассказы встречали весьма одобрительно).

Оказалось что Васильевские кулаки и торговцы другого и не ждали от приезжего оратора. Видно, слух о его крамольных выступлениях уже докатился до этого села, и «достойная встреча» была подготовлена черносотенцами и провокаторами.

Потрясая дубинками, кольями и чугунными гирями они бросились к бревну, с которого выступал Фурманов. Жизнь Дмитрия была на волоске.

Небольшая группа крестьян во главе с приехавшим на побывку питерским слесарем берет оратора в кольцо и выводит его из под удара. Испытание выдержано. Фурманов на практике познал, что такое классовое расслоение в деревне.

Фурманов возвращается в Иваново-Вознесенск, переполненный впечатлениями, новыми мыслями, обуреваемый желанием немедленно включиться в большую практическую работу.

Его кооптируют в Совет рабочих и солдатских депутатов. Работе в Совете он отдает все свои силы.

26 августа реакционная военщина начала прямое наступление на революцию. Вспыхнул мятеж генерала Корнилова.

28 августа, когда сведения о контрреволюционном мятеже докатились до Иваново-Вознесенска, на экстренном заседании исполкома Иваново-Вознесенского Совета для защиты истинной демократии был образован Штаб революционных организаций из 10 человек.

Фурманов избирается членом и секретарем штаба.

Тут находят себе применение огромные его организаторские способности.

Через два дня именно он, Фурманов, делает доклад о текущем моменте на общем собрании Иваново-Вознесенского Совета с участием представителей от партий и революционных организаций.

В докладе, подробно рассказав о контрреволюционном заговоре, он призывает сплотить все революционно демократические силы и дать должный отпор реакции.

По докладу Фурманова была принята резолюция, предложенная большевиками.

«Опасность спаяла всех, — записывал Фурманов, — тишина была абсолютная. Одна за другой бежали телеграммы — призывы к спокойствию, к необходимости быть готовыми выступить на защиту погибающей свободы. На бледных истомленных лицах была решимость. Глаза горели огнем отваги. Это была величественная картина мобилизации разбросанных чувств и мыслей, мобилизация в едином моменте... Разошлись глубокой ночью. Исполнительный комитет остался на посту. Мы ночевали в Совете на столах, все время тревожимые телефонными звонками».

После разгрома корниловского мятежа Фурманов становится одним из основных руководителей Ивановского Совета.

При очередных пере выборах его включают в члены исполкома, а на

заседании исполкома председателем избирают большевика Федора Самойлова, заместителями председателя — большевика В. Наумова и Д. Фурманова. Ему поручается все руководство культурно-просветительной работой.

Личной жизни в эти дни у него не было совсем. Только Совет. И дневник. И редкие письма любимой Нае, на Кубань. Письма, которые, очевидно, в тех сложных условиях не доходили и ответов на которые он не получал.

Работа в Совете поглощает Фурманова («Надо приучить всех к Совету, заставить полюбить Совет, почувствовать свою кровную связь с ним»). Участие в организации максималистов, конечно, весьма и весьма условное. Чувствуется, что он душой уже целиком с большевиками. Да, собственно, у них, у максималистов, резко порвавших с эсерами-оборонцами, и своей-то скольконибудь развернутой и принципиальной программы нет.

Много путаницы, сумбура. Тяга к анархистам. Увлечение анархистской литературой. Лучшие из них давно тянутся к большевикам.

И нет еще сил принять окончательное решение. Еще бродят в мозгу старые иллюзии о революционности максимализма, о крайней левизне анархизма. Да опасение, как бы не посчитали ренегатом, приспособленцем. Это его-то приспособленцем, его, все силы свои отдающего массам.

Кроме организационной работы, Фурманов ежедневно выступает с докладами и лекциями. На всех фабриках. У железнодорожников. У солдат. Выезжает в Кохму, Тейково, Вичугу, Кинешму. Темы лекций самые разнообразные: «О текущем моменте», «О Парижской коммуне», «О буржуазной прессе», «О предательстве меньшевиков и эсеров», «О социализме», «О продовольственном вопросе». Он не боится самых острых тем. И всегда покоряет аудиторию искренностью своей, решительностью, прямотой, глубокими знаниями, уверенностью в правоте своего дела.

Он присутствует на выборах земской управы в большом селе Елюнино, близ Иваново-Вознесенска. Из 26 гласных — 18 большевиков и только 8 эсеров. «Как ни странно, это с первого взгляда, — размышляет Фурманов, — а на деле очень понятно и вполне естественно. Я видел мужиков, годов под 50, в лаптях, в изодранных тулупах и нахлобученных шапках, и когда спрашивал: «Вы, товарищ, какой партии?» — крестьянин, чистокровный земледелец, отвечал: «Большевик»...

Работа в Совете становится все более сложной и трудной. Фабриканты задерживают заработную плату. Богатеи лабазники прячут хлеб. Спекулянты продают его по баснословным ценам. Рабочие голодают.

Никаких запасов муки в распоряжении Совета нет.

4 октября — один из самых трудных, самых трагических дней, особенно взволновавших Фурманова.

С утра заседает Совет совместно с городской, продовольственной и мануфактурной управой, с фабричными комитетами и социалистическими партиями. В повестке дня: «Продовольственный вопрос». На улицах собираются взбудораженные, взволнованные всякими провокаторами толпы.

Возникает стихийный митинг. Руководят митингом черносотенцы. Выступают с нападками против Совета купцы Латышев, Куражов и их прихвостни. Напряжение все растет. Кое-где мелькает уже всякое самодельное оружие.

Нужно успокоить это взбушевавшееся море. Нужно прогнать провокаторов, взять руководство в свои руки, рассказать об истинном положении вещей, о предательской политике Временного правительства, о мерах, которые принимает Совет.

Нужно найти доступ к сердцам человеческим, не обманывая, не фальшивя, ничего не приукрашивая.

(«Это была как бы репетиция к тому, что произошло потом, через несколько лет в Семиречье и что описал я в своей книге «Мятеж», — рассказывал мне впоследствии Фурманов. — Это были сложные ступени на моем психологическом и творческом пути, на моем пути к большевизму...»)

Черносотенцев и провокаторов прогнали. Председателем митинга стал старый большевик Жиделев. Его заместителями Василий Петрович Кузнецов и Дмитрий Андреевич Фурманов.

Выступавшие ораторы подняли поколебленный было авторитет Совета, рассказали о практических мероприятиях по ликвидации продовольственных затруднений, о планах закупки хлеба.

Взволнованное море успокоилось.

«Спокойны, строги, серьезны стоят без движения ткачи, — писал впоследствии, вспоминая об этих днях, Фурманов. — Проходят минуты острого негодования, жалоб, безумных протестов и угроз... Море утихает, снова можно сказать; говоришь, и слушают тебя, и верят тебе, и знают, что помощь придет все равно откуда-то из Совета, от этих вот стоящих на бочках людей, которых выбрали они же, ткачи, которым вверили свою жизнь и которых можно крепко побранить, излить на них всю невыносимую боль страданий от голода, от болезней, лишений на каждом шагу и каждый миг: свои, не обидятся...»

И Совет выполнил свое обещание. Сделал все возможное и даже невозможное. Маршрутный поезд, состоящий из сорока вагонов хлеба, прибыл в Иваново-Вознесенск.

А вскоре началась всеобщая политическая забастовка на предприятиях Иваново-Кинешемского района. Она охватила 300 тысяч рабочих-текстильщиков. Фабриканты в панике бежали в Москву. Фабрики перешли под полный контроль рабочих. 23 октября исполнительный комитет Иваново-Вознесенского Совета под председательством Дмитрия Фурманова выносит решение о содействии стачечному комитету в руководстве всеобщей стачкой.

Борьба с фабрикантами и их защитниками разгорается. Сочувственно принимается резолюция Московского Совета (от 19 октября) о захвате власти.

Всю эту ночь Фурманов не спал. Он понимал, что назревают новые грозные события. И он был готов встретить их, как подобает истинному революционеру, встретить и принять в них участие. «Надвинулись грозные события. Два месяца назад мы переживали такую же горячку в корниловские дни. Теперь, по-видимому, дни Керенского». К событиям этим Фурманов и его друзья готовят и рабочих и солдат. «Все ближе подходят сроки... Мы нервно ждем сигнала, ждем окончательных вестей — и они пришли».

25 октября (7 ноября) в шесть часов вечера заседание Совета возобновилось. Обсуждались текущие неотложные дела о стачке, о хлебе, о топливе.

Но все члены Совета были необычайно напряжены. Ждали вестей из Москвы, из Петрограда.

В восьмом часу Фурманов оставил свое место за столом президиума. Еще с утра он безуспешно пытался соединиться с Москвой, с редакцией «Известий». («Может быть, и теперь вот в эти самые минуты гремят там орудия, дробят пулеметы, колоннами идут рабочие, и льется, льется, льется братская кровь... Эх, скорей бы узнать! Уж разом бы узнать — все станет легче».) Он прошел в кабинет, где находился телефон.

Нервно снял трубку. На телефонной станции уже хорошо знали его голос.

На этот раз ему повезло. На проводе Москва. «Известия». Говорите!..

Он взволнованно застыл с трубкой в руках. Он был потрясен тем, что услышал. Впрочем, лучше передадим слово самому Фурманову.

Об этих исторических минутах он рассказал через несколько лет в очерке «Незабываемые дни».

«Временное правительство свергнуто!» Чуть помню себя: ворвался в зал, оборвал говоривших — встала мертвая тишина — и, четко скандируя слова, бросил в толпу делегатов:

— Товарищи, Временное правительство свергнуто!..

Через мгновение зал стонал... Жали руки, вскакивали на лавки, а иные зачем-то аплодировали, топали ногами, били палками о скамьи и стены, зычно ревели: «Товарищи!.. Товарищи!.. Товарищи!..»

...Уханье, выкрики, зачатки песен — все сгрудилось в густой, бессвязный гул... Кто-то выкликнул: «Интернационал»!

И из хаоса вдруг родились, окрепли и помчались звуки священного гимна...

Певали свой гимн мы до этого, певали и после этого многие сотни раз, но не помню другого дня, когда бы его пели бы, как теперь: с такою раскрывшейся внутренней силой, с таким горячим, захлебывающимся порывом, с такой целомудренной глубокой верой в каждое слово:

*Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...*

Мы не только пели — мы видели перед собой, наяву, как поднялись, идут, колышутся рабочие рати на этот смертный последний бой; нам уже слышны грозные воинственные клики, нам слышится суровая команда — чеканная, короткая, строгая, мы слышим, как лязгает, звенит оружие... Да это поднялись рабочие рати:

*И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей...*

Эти вести из Москвы — вот он и грянул, великий гром! Рабочие победили. Рабочие взяли власть... Враг разбит — повержена «свора псов и палачей...».

А солнце сияет, сжигает огнем своих лучей...

Пришли наши дни — их мы ждали. Здравствуй, новая жизнь!..»

А в дневник свой он записал в эту ночь:

«...свергли «социалиста» Керенского, Александра IV, как говорят солдаты, — и радость у всех настолько яркая, искренняя и огромная, будто свергли вампира, злейшего из всех царей. Пришла снова к нам уже знакомая горячка тревожных дней».

В этот же день, 25 октября (7 ноября), был создан Временный революционный штаб Иваново-Вознесенска. В состав штаба вошли большевики: Ф. А. Самойлов, Д. И. Шорохов, А. И. Жугин, Н. А. Федоров.

Председателем штаба был утвержден Дмитрий Андреевич Фурманов.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДУХОВНАЯ ДРАМА.

ПУТЬ К БОЛЬШЕВИЗМУ

16

Деятельность в штабе целиком поглощает Фурманова.

Второй Всероссийский съезд Советов принял написанные Лениным декреты о земле и о мире.

Образовано первое рабоче-крестьянское правительство во главе с Лениным.

Все это надо довести до сведения каждого ивановца. Привести в должный порядок все разрушенное губернское хозяйство. Обеспечить продовольствие. Возобновить работу на фабриках.

27 октября Фурманов председательствует на заседании представителей общественных организаций, которое принимает резолюцию большевиков о всемерной поддержке Советской власти.

Но всемерно поддерживать — это мало. Надо эту власть организовать в губернии. Надо бороться со всеми, кто этой власти противодействует.

Нормальную жизнь штаба и Совета тормозят контрреволюционеры и саботажники. Надо суметь преодолеть их сопротивление.

Объявляют стачку почтово-телеграфные служащие Иваново Вознесенска. Отказавшись подчиниться рабочему контролю и контролю Совета, они парализуют всю связь.

Ликвидацию саботажа поручают Фурманову.

На первых порах все уговоры безрезультатны. Фурманов приказывает арестовать саботажников.

Ночью он приходит в тюрьму и производит «классовое расслоение», на «высших и низших». Дезорганизует арестованных. Находит путь к многим сердцам.

Под утро почтовики большинством голосов принимают резолюцию приступить к работе, согласиться на рабочий контроль, если к нему присоединят контроль их собственный, работа возобновилась.

Старый ивановский большевик А. С. Киселев (впоследствии секретарь ВЦИК), лично докладывая Ленину о положении дел в Иваново-Вознесенске, рассказал ему и об эпизоде с почтовиками и о том, как действовал представитель штаба Дмитрий Фурманов.

Ленин улыбнулся и сказал: отлично сделали, с саботажниками можно бороться только решительными действиями...^[4]

Вместе с Киселевым Фурманов провел большую работу и среди железнодорожников станции Иваново. Ивановские железнодорожники осудили позицию Викжеля, призывавшего к забастовке в знак протеста против новой власти, поддержали большевиков, стали верными помощниками Совета.

Действуя мирными методами, опытный психолог-пропагандист Фурманов в те бурные Октябрьские дни сумел склонить многих и многих колеблющихся на сторону Советской власти, на сторону большевиков. Но к врагам-контрреволюционерам он был беспощаден. 1 ноября Фурманов председательствовал на заседании Иваново-Вознесенского Совета. Он сделал доклад о текущем моменте. По докладу была принята резолюция о полной и всемерной поддержке революционного рабоче-крестьянского правительства и беспощадной борьбе против контрреволюционных попыток Временного правительства вернуть себе власть.

Формально сам Фурманов еще не был большевиком, числился в группе максималистов. И в то же время, характеризуя в дневниковых записях местных и столичных «деятелей» эсеровщины или анархизма, он именует их «позерами», «крикунами», «горланами», «каламбуристами», «паяцами», «лицемерами», «подлецами», «бьющими революционной фразой», а на деле глумящимися над совестью человека. От таких «деятелей» становилось «тошно» и «противно».

Увлекаясь позднее идеями анархизма о «всеобщем братстве и полном безвластье», Фурманов среди анархистов также не находит цельных, положительных людей, ибо у них нет «никакой линии поведения, никакого чутья живой Действительности, — горькое, смешное желание сохранить во что бы то ни стало какую-то «самостийность», следуя той логике, что «неправильно все то, что сказано и сделано большевиками». Ни одному житейскому акту не дается истинного толкования, все вверх тормашками, все «по-своему».

Совсем иначе Фурманов характеризует большевиков, подчеркивая их принципиальность, организованность и последовательность в борьбе. С чувством большой симпатии называет он В. П. Кузнецова, В. Я. Степанова, П. М. Шарапова, А. С. Киселева, Ф. И. Самойлова, М. А. Колесанова и

многих других иваново-вознесенских большевиков, прошедших суровую школу революционного подполья, стойких ленинцев.

И все же... окончательно порвать с максималистами ему было трудно.

Большую роль в подобном поведении его играл еще ложно понимаемый долг. Ему все казалось, что этот «разрыв» смогут принять за «предательство, ренегатство», за какие-то личные карьеристские побуждения.

Душою и всеми помыслами своими он уже давно был с большевиками. Да и не только помыслами, а и всеми делами, работой в Совете. А вот ведь окончательного шага по пути к большевизму не мог сделать еще долгие недели. И это приносило самому ему немалую душевную боль, это «раздвоение» часто травмировало его. И только дневник был свидетелем духовной его драмы.

Дневник и... Ная. В начале ноября она приехала в Иваново-Вознесенск. На работе в Совете Фурманов был занят буквально дни и ночи. И все же он находил время для своей любимой. Как она, оказывается, была нужна ему! Они не только любили друг друга. Они были соратниками.

Уже в эти ноябрьские дни, первые дни после победы Октябрьской революции, Фурманов предвидит гражданскую войну, жестокую борьбу с врагами Советской власти. «Если вам дорога народная победа, не бойтесь гражданской войны, она неизбежна, без гражданской войны мы никогда не слошим упорного внутреннего врага...»

Никаких компромиссов с буржуазией и со всеми поддерживающими ее партиями, и в первую голову с эсерами и меньшевиками.

«Приветствуя победу большевиков, мы приветствуем не отдельную партию, а трудовой народ, который, не разбираясь в тонкостях программы, идет за теми, кто смел и решителен, у которых имеется одна определенная цель — достижения максимума завоеваний в данный революционный момент...»

...В большевистских рядах сомкнулась самая бедная, нуждающаяся часть трудового народа...

Борьбу теперь следует направить по пути устранения всяких возможностей возврата к старому, хотя бы и подновленному в европейском стиле...

...У нас имеется открытый враг, стоящий на другом берегу, — буржуазия. И имеются у этого врага свои приспешники, помощники и защитники с печатью народных друзей на челе...

...Я говорю о «кротких» социалистах, о тех, что вместо солнца стали молиться на луну — тусклую, бледную луну...

...С ними у нас не может быть ни единых целей, ни общего дела. Социализм прикрывает их, как икона...

...Они, революционеры на словах, смертельно перепугались, когда пришлось быть революционерами в живом деле. Испугались гражданской войны, репрессий, перепугались террора.

Гражданская война не братоубийственная бойня, ибо сходятся на бой здесь не братья, а вековечные непримиримые враги...

Наша революция — социальная революция, и, как всякому глубокому перевороту, этой революции присущи все методы и формы достижения ближайших, конкретных целей...»

Сколь огромный путь проделан всего за считанные месяцы! Путь от пацифистских мечтаний брата милосердия Дмитрия Фурманова до боевой, решительной программы революционера, у которого слово не расходится с делом.

А враг не дремлет. Бдительность необходима.

В начале ноября в газете «Рабочий народ» публикуется резолюция:

«...Штаб революционных организаций считает провокационным актом распространение телеграмм, где указывается о поражении большевиков, о необходимости поддержки комитета спасения и пр. Все эти сведения ложны. Трудовой народ всюду одерживает победу, и недалеко время, когда победа будет закреплена окончательно..»

Подписал — товарищ председателя штаба Дмитрий Фурманов.

А через неделю в той же газете «Рабочий народ» печатается «Легенда об унглах». В короткие часы отдыха Дмитрий Андреевич возвращается к любимому делу, к литературе, к творчеству. Стихи и проза. Все чаще проза. В «Легенде об унглах» он в аллегорической форме воспевает революцию.

«Далеко-далеко, за высокими горами, за темными морями, по глубоким пещерам и тихим долинам жило племя великанов унглов.

Владыкою племени был карлик Крафт, который питался кровью великанов.

У него, у Крафта, была целая свита таких же карликов, читавшихся кровью унглов. Карлики жили среди великанов, следили за их жизнью и обо всем доносили Крафту.

А он, жестокий и злой, беспощадно мучил покорных великанов.

Многие годы, целые века страдали, терпели и молчали унглы, пока не явился к ним добрый дух, по имени Глюк, и не взялся пособить безысходному горю...»

Не сразу поверили великаны Глюку. Проходили долгие годы. Невыносимыми становились страдания. Все более кровавыми Крафт и

его прихвостни.

В легенде описывалось восстание великанов против карликов и трудный, страдальный путь их к свободе, к «сказочному царству счастья и радости».

Никогда не умирающая романтика Фурманова нашла свое отражение в этой легенде.

13 ноября на бурном заседании Иваново-Вознесенского Совета Дмитрий Фурманов в докладе о текущем моменте сообщил, что пособники буржуазии эсеры и меньшевики во главе с вождями своими Гоцом, Черновым, Даном готовятся к открытой вооруженной борьбе с Советской властью, ведут контрреволюционную агитацию в войсках.

Фурманов призвал к бдительности, к отпору. Нужно уделить особое внимание формированию и усилению отрядов Красной гвардии. Непосредственное участие в этом первоочередном деле принял и сам Фурманов.

Всегда находясь на «линии огня», он хорошо понимает, сколь важная роль выпала на его долю.

«Мы все почти безграмотные, — сказал ему как-то один из членов исполкома. — Из двадцати пяти членов исполнительного комитета у нас только один интеллигентный работник, недоучившийся студент, товарищ Фурманов...»

Рабочие-депутаты высоко ценили и любили Фурманова. Но Дмитрию Андреевичу казалось, что он не пользуется среди рабочих столь же безграничным доверием, как Василий Кузнецов, Алексей Киселев и другие большевики.

«Личный» вопрос начинает все больше мучить Фурманова. Вопрос о разрыве с максималистами, с которыми у него уже нет ничего общего. Это не вопрос выбора. Выбор уже давно сделан. Но как неожиданно трудно во весь голос заявить о своем разрыве.

Он вдруг чувствует себя очень одиноким. Ная опять уехала на родину в Екатеринодар. И нет у него близкого, совсем близкого друга.

«А сколько дела, сколько дела!.. Горько, что подлецы интеллигенты... не идут помогать нам, измотавшимся в лоск...»

6 декабря на областном съезде Советов Иваново-Кинешемского района (Фурманов — член президиума и председатель одного из пленарных заседаний) он, наконец, знакомится с человеком, легенды о котором слышал еще в юности, на Галке, с человеком, который сыграет решающую роль в его судьбе и приведет его в партию большевиков.

Этот человек — товарищ Арсений. Миша. Михаил Васильевич

Впоследствии Фурманов собирался написать о Фрунзе большую книгу. Он не успел осуществить свой замысел. Но отдельные записи, заготовки, фрагменты, очерки сохранились.

Один из таких очерков и посвящен этой столь важной для Фурманова первой встрече.

«Я первый раз увидел его на заседании и запечатлел в памяти своей добрые серые глаза, чистое бледное лицо, большие темно-русые волосы, откинутые назад густую волнистую шевелюрой. Движения Фрунзе были удивительно легки, просты, естественны — у него и жестикуляция, и взгляд, и положение тела как-то органически соответствовали тому, что он говорил в эту минуту: говорит спокойно — и движения ровны, плавны, и взгляд покоен, все существо успокаивает слушателей; в раж войдет, разволнуется — и вспыхнут огнями серые глаза, выскочит на лбу поперечная строгая морщинка, сжимаются нервно тугие короткие пальцы, весь корпус быстро перемещается на стуле, голос напрягается в страстных высоких, нотах, и видно, как держит себя Фрунзе на узде, как не дает сорваться норову, как обуздывает кипучий порыв. Прошли минуты, спало волнение — и вошли в берега передражавшие страсти снова кротки и ласковы серые глаза, снова ровны, покойны движения, только редко-редко вздрагивает в голосе струнка недавнего бурного прилива. Я запечатлел образ Фрунзе с того памятного заседания в семнадцатом году, и сколько потом ни встречался с ним в работе, на фронтах ли, я видел всегда его таким, как тогда, в первый раз: простым, органически цельным человеком.

От общения с ним, видимо, у каждого оставался аромат какой-то особой участливости, внимания к тебе, заботы о тебе — о небольших даже делах твоих, о повседневных нуждах.

Недаром и теперь, когда встал он на высочайшем посту народного комиссара, — и теперь ходили к нему на прием вовсе запросто и блузники-ткачи и крестьяне-лапотники, шли к своему старому подпольному другу, к Мише, которого еще по давним-давним дням знали и помнили, как ласкового, доброго, сероглазого юношу».

В другом наброске, который должен был по первоначальному замыслу Фурманова войти в книгу «Чапаев», но потом был отложен для книги о Фрунзе, Фурманов дает характеристику людей «высоких человеческих

качеств». Таким человеком, несомненно, был Миша (командарм, а потом нарком М. В. Фрунзе).

Старые друзья-ивановцы разговаривают о нем, вспоминают, как он вел себя когда-то в тюрьме.

«Его к смертной казни приговорили, а он себе английский язык разучивает по самоучителю. Это не каждый сумеет так-то. Силу надо иметь для этого особенную...

— Так и выучил? — наивно изумился Бочкин.

— Выучил ли — не знаю, а учил... И когда в централье, где он сидел, заваруха какая начиналась, скандалы затевали или просто перенервничают люди и помощи ждут со стороны, — к кому тогда-то идти: опять к Мише, опять к нему; словно склад тут какой, словно запасы в нем сохраняются. И весел постоянно, бодрый ходит такой, все торопится куда-то, все учится, занимается сам, помогает кому-нибудь; нет, братцы, это чудесный человек, чудесный... Мы еще не знаем его... Вот уж действительно никакая мелочь к нему не приставала.

— Не лишку ли нахвалил? — быстро и насмешливо взглянул Андреев на Лопаря.

— Так и не хвалю вовсе, — изумился тот вопросу, — чего же хвалить, это не выдумали, а рассказывают те, что вместе с ним тюрьму отбывали... Тут, наоборот, хулу можно было бы не принять, можно ей и не поверить; а уж, брат, коли хорошие дела рассказывают, значит так и было. Хорошее не выдумывают...

— Немного таких-то, — грустно улыбнулся Терентий. — Он, зная, вперед себя ушел — знаете, бывает, человек вперед себя уходит. То есть он как будто и не отличается от кого, похож на всех, а нет — ни на кого не похож на деле-то, и на себя даже не похож, как это видишь его, а другой он человек, вперед тронулся... Надо быть и он из таких...»

Таким вот и был Михаил Васильевич Фрунзе, с которым Фурманов впервые встретился 6 декабря 1917 года и которого полюбил навсегда.

Да и Михаилу Васильевичу Фрунзе с первой встречи полюбился этот подтянутый, энергичный человек.

Он внимательно вслушивался в его речи на съезде. Он беседовал с ним в кулуарах. О работе, о борьбе с врагами, о поэзии. Да, о поэзии. «Железный» командарм, как называли впоследствии Фрунзе, не только любил литературу и внимательно следил за ней, но и сам писал стихи.

Он узнал от земляков-ивановцев все, что можно было узнать о Фурманове. О беззаветной преданности Советам, о неиссякаемой энергии, о любви к труду. И о колебаниях. О метаниях его по партиям. Узнал и —

удивился. Удивился, но не был обескуражен.

Фрунзе понял, что эти сомнения и колебания Фурманова временны, не органичны для него. Что нет у него еще того рулевого, который чутко, но твердой рукой направил бы его на путь истинный. Что, преодолев все свои иллюзии, Фурманов придет в партию большевиков и уже не изменит ей никогда. Такие люди — прямые, ищущие, талантливые — нужны партии. А Фрунзе не ошибался в людях.

И он предложил Фурманову свою дружбу.

Большими шагами идет Фурманов вперед по пути к большевизму. Однако и сейчас этот путь еще не легок.

Ему, не коммунисту, оказано огромное доверие.

После областного съезда он работает председателем Иваново-Кинешемского райсовета и председателем Иваново-Вознесенского губисполкома.

В короткие часы досуга... продолжает писать стихи.

«Я увидел и почувствовал всем моим существом, что здесь, в Революции, — целый океан поэзии, что здесь и безмерная отвага, и чистота бескорыстия, и нечеловеческое дерзание, что здесь воплощается в самой жизни... огромная красота...»

В декабре председатель губисполкома публикует в газете стихотворение «Клич».

Романтические стихи эти не мешают Фурманову заниматься в Совете будничной, прозаической, «черной» работой. Он начинает решительную борьбу со спекулянтами, взяточниками, карьеристами. А сколько их присосалось к советским организациям!

«Мы делаем невероятные усилия, чтобы очистить наши организации от грязного налета, и все-таки не можем очистить разом всю грязь...»

«Жажда мещанского покоя побеждает. Идеиные соображения умирают, и вчерашний избранник делается вором...»

Объявив войну мещанам, стяжателям, накопителям, Фурманов находит постоянную помощь и опору в рабочем классе.

По-прежнему он частый гость на фабриках. Читает лекции, делает доклады. Он никогда не фальшивит с рабочими, не скрывает от них трудностей, рассказывает о ближайших задачах и планах, советуется.

Вот выступает он перед рабочими фабрики Скорынина в селе Горки-Павловы. Присутствуют полторы тысячи человек. Говорит он полтора часа. Слушают не шелохнувшись. «Товарищ Фурманов — лучший оратор среди рабочих», — заявляет председатель фабзавкома. «Я хотел одернуть, но было уже поздно. Разумеется, все это и льстило в должную меру, но больше

было стыдно, чем лестно и приятно.

Рабочие слушали удивительно внимательно, я поразился и сам. За истекший месяц они получили всего 4 фунта ржаной, а сахару получили только в ноябре по 1 фунту. И молчат. Это ведь просто поразительное явление. Как же не поклоняться нашему рабочему?..»

Классовая борьба все обостряется. Фурманов участвует в реквизиции знаменитой Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры. Это первая национализированная в Иваново-Вознесенске фабрика.

Он читает в городском театре большую лекцию: «Трудовая республика».

Фурманов делает на пленуме губисполкома доклад об организации дела просвещения в губернии.

В ту же ночь он заносит в дневник:

«Председателем собрания избрали Фрунзе. Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманы: решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды... Когда Фрунзе за председательским столом — значит что-нибудь будет сделано большое и хорошее...»

Однако большого, настоящего разговора между Фрунзе и Фурмановым еще не произошло. Фрунзе снова уезжает в Шую и только в конце марта возвращается в Иваново-Вознесенск.

Между тем в конце февраля по всей стране разгораются тревожные события, которые не могут не найти отклика и в Иваново-Вознесенске.

Начинается новое наступление германских войск на Советскую Россию. 21 февраля Советское правительство обратилось ко всему народу с воззванием: «Социалистическое Отечество в опасности!»

В Москве вспыхивают провокационные заговоры.

Под председательством Фурманова происходит заседание пленума Иваново-Вознесенского губисполкома. Ивановские большевики твердо стоят на ленинских позициях. Принято решение предложить всем волостным, уездным и районным Советам, не медля ни одного дня, направить в Москву в распоряжение главнокомандующего все наличные боевые силы.

«Третий раз, — записывает Фурманов, — переживаю я это состояние военной горячки, тревоги, нервного подъема. Первый раз в конце августа, в

корниловщину, во второй раз — в Октябрьский переворот, в дни керенщины, и третий раз — теперь.

...Завтра выйдет составленное мною воззвание, где выясняется сущность переживаемого момента... Ждем грозу, готовые к бою. Духом бодрь, сильны и тверды. Опасность сплотила нас еще сильнее...»

Созывается экстренное заседание Совета с обсуждением вопроса о войне и о мире. По настойчивому предложению Фурманова из Совета изгоняются эсеры, «галдящие» за Учредительное собрание и Керенского, мешающие Совету работать.

Собрание принимает решение.

«Весь Совет без исключения, в том числе и исполнительный комитет, становится под ружье и с завтрашнего дня начинает военное обучение...»

А на другой день Фурманов выступает перед рабочими с докладом о текущем моменте и о создании Красной Армии.

Ненужными и мертворожденными кажутся самому Фурманову в эти дни продолжающиеся по инерции «теоретические» собрания максималистской группы, занимающейся изучением политической экономии...

С каждым днем близятся неизбежный разрыв Фурманова с максималистами и ликвидация всей группы.

Но еще бродят в мозгу какие-то фантастические мысли, навеянные Бакуниным и Кропоткиным, о ликвидации всякой государственной власти, о всеобщей вольной коммуне. Кажется, что это самое последнее, самое революционное слово.

Дышащая уже на ладан группка максималистов превращается в группу анархистов.

В разящем противоречии находится все это с той напряженной практической работой, которую ведет Фурманов в Совете. (Только что он назначен губернским комиссаром просвещения.) Отстаивая необходимость этой работы, Фурманов расходится во взглядах со всеми другими лидерами группы.

27 марта он заносит в дневник:

«В Совете работать необходимо... Советы — органы, во-первых, жизненно необходимые, во-вторых, исключительно трудовые, не парламентские... Критиковать со стороны и умыть руки, когда Советы в смертельной опасности, разумеется, легче, нежели оставаться в них и работать...»

30 марта в Иваново-Вознесенск окончательно приезжает Фрунзе и вступает в должность председателя губисполкома.

Связь Фурманова с анархистами была очень короткой и безрадостной. Вначале ему казалось, что анархисты более революционны, чем большевики, что идея «безвластия», народных коммун совпадает с мечтами его о полной, безграничной свободе. Очень скоро он убеждается в том, что в борьбе своей с большевиками анархисты стоят фактически на стороне контрреволюции, что ему с ними не по пути, что надо найти в себе силы преодолеть и эти иллюзии, последние и, может быть (как горько сознался он себе впоследствии), самые позорные.

Да и в те свои недолгие «анархистские» дни он уже чувствовал, насколько чужды ему люди, затесавшиеся в эту мнимореволюционную группу:

«В группе именуются ура-анархисты: беги, хватай, забирай, отнимай... Просто любители острых ощущений... Налицо глухой ропот, недоверие, назревающий конфликт...»

Дальнейшее пребывание в группе органически противоречит той огромной практической работе, которую ведет Фурманов и о которой он сам с удовлетворением пишет:

«Вся текущая работа губернского исполнительного комитета... Пряжа, ткань, суровье, уголь, финансы, конфликты, кражи, дела бракоразводные, школьные, церковные — все это разрешается у этого вот дубового стола, где сидит т. Фурманов. И люди уходят успокоенные, удовлетворенные. А сам я, вероятно чаще их, не удовлетворен своими решениями».

Нет. Он не может идти на поводу у этих взбесившихся мещан. Особенно ясно это становится ему после поездки в Москву, где он знакомится с анархистами московскими.

«В Москве под черное знамя пробралось море всякой нечисти — воров, громил, хулиганов и прочей гадости...

...Они, в купе взятые, произвели на меня отвратительное впечатление...»

Все мниморомантические идеалы анархизма предстают перед ним в истинном их свете.

Органы ВЧК разоружают московских анархистов. Ф. Э. Дзержинский заявляет, что «идейные элементы анархических организаций не только не в состоянии очистить организации от преступных элементов, но сами находятся в плену у последних».

Анархизм как идейное направление фактически перестал существовать, превратился в орудие контрреволюции.

Это тяжело сознавать Фурманову. Он делает в Иванове два доклада о московских событиях. Он резко осуждает все действия анархистов, и все

же... он не может еще окончательно признать полный крах не связанных с этими преступными действиями идей Бакунина и Кропоткина. Ему кажется, что не правы большевики, не только осуждающие анархизм, но и ликвидирующие его как идейное течение.

Об этом говорит он и на заседаниях губернского съезда Советов, об этом спорит и с друзьями-большевиками и даже (чувствуя в душе неправоту свою) с самим Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Очень трудно окончательно сорвать с себя «плащ предрассудков»!..

Как нужен ему в эти дни, в эти часы, в эти минуты горьких раздумий друг, который стоял бы рядом, который помог бы, дал бы сердечный совет! Как нужна ему Ная! Но она опять на Кубани. Он знает, как там беспокойно, и тревожится за судьбу Анны Никитичны.

«Ная! Любимая!.. Что же ты молчишь долгие месяцы?.. Что с тобою?.. Приезжай, я жду...»

Кто же найдет путь к его сердцу? Кто поддержит в эту трудную минуту?..

И надо было обладать высокой чуткостью М. В. Фрунзе, чтобы не оттолкнуть Фурманова, чтобы понять всю-ценность его для революции, чтобы помочь ему в преодолении иллюзий и колебаний на пути к большевизму.

Сколько раз Фрунзе беседовал с Дмитрием Андреевичем по поводу его политических колебаний — неизвестно. Эти беседы не записывались, не стенографировались. Они дошли до нас со слов самого Фурманова или со слов людей, оказавшихся свидетелями таких бесед.

Фрунзе любил Фурманова, поручал ему самую важную и ответственную работу в исполкоме. Но ошибок ему не прощал. Не ограничиваясь личными беседами, он раскритиковал ошибки Фурманова на III губернном съезде Советов (21 апреля 1918 года). Михаил Васильевич публично высказал крайнее удивление поведением Фурманова, который все еще носился с анархическими теориями безвластия. Это был для Фурманова суровый урок. Надо было со всей серьезностью пересмотреть свое поведение, принять окончательное решение. Этого требовали и новые тревожные события.

В конце июня в Иваново-Вознесенск стали поступать известия из Ярославля о подготовке контрреволюционного мятежа. Носились слухи о том, что белогвардейско-эсеровские банды собирают силы, чтобы совершить насильственный переворот также в Костроме, Рыбинске и других городах северного Поволжья. Город ткачей насторожился, готовый в случае беды оказать помощь Советской власти в соседних губерниях.

В те дни Фурманов особенно остро переживал свою затянувшуюся духовную драму. Надо сделать окончательный выбор. Окончательный и бесповоротный.

«...Контрреволюция точит меч о брус мирового империализма. Мы должны раскрошить этот брус, а не поливать его водицей, чтобы легче было оттачивать. Гибель Советов — гибель революции. Чтобы спасти ее — надо быть с Советами...»

К большевикам! Да, только к ним! Только они спасут революцию, поведут народ умелой рукой в борьбе за счастливое будущее. Иного пути, кроме большевизма, нет.

Беседы с Шараповым, Царевым и другими большевиками убеждали Фурманова, что он слишком далеко зашел в своих интеллигентских «шараханьях» из стороны в сторону и если не одуматься, не сломить свое самолюбие, особенно теперь, когда на Советскую Россию идут враги со всех сторон, значит, действительно оказаться «в мусорной яме», как говорит рабочий Павел Царев.

«Что-то скажет мне Фрунзе?» — мучительно думал Фурманов, принимая решение стать большевиком.

Василий Петрович Кузнецов, работавший первым председателем Иваново-Вознесенского городского Совета и близко стоявший к М. В. Фрунзе в 1918 году, рассказывал впоследствии ивановскому литератору Г. И. Горбунову о беседе, которая произошла между Михаилом Васильевичем и Фурмановым в его присутствии в начале июля 1918 года.

— Дмитрий Андреевич, — спросил Фрунзе, — вы все еще думаете проповедовать анархизм?

— Я выступаю за борьбу идеологий, — не очень уверенно ответил Фурманов, — хотя с каждым днем чувствую, что костюм анархиста сидит на мне, как Тришкин кафтан.

— Что правда, то правда, — сказал Фрунзе, — настоящий Тришкин кафтан! И ладно бы его носил какой-нибудь налетчик, который участвовал в бесчинствах на советские учреждения в Москве, а вам-то совсем не к лицу. Пора бы понять, куда гнут анархисты и прочие буржуазные адвокаты. Неужели вам мало контрреволюционного разбоя анархистов в Москве? Вы сказали, что ратуете за борьбу идеологий? Хорошо! А что же вы думаете о марксистах? Уж не выходит ли по-вашему, что они проповедуют примирение идеологий? Нет, голубчик Дмитрий Андреевич, мы-то как раз никогда не примиримся с идеологией анархистов «хватай что хочешь», «делай, что кому вздумается». Теперь остается решить только один вопрос, долго ли вы будете щеголять в этом, как вы сказали, Тришкином кафтане?»

Нет, ни в чем нельзя было возразить Фрунзе.

И вот беспокойная июльская ночь... Одна из решающих ночей в жизни Фурманова.

И опять склоняется он над дневником своим.

Давая оценку всей минувшей жизни своей, он твердо убежден в одном.

«Кем бы я ни назывался — всю революцию я работал в теснейшем контакте с большевиками, вел с ними общую линию и чувствовал тяжесть от того, что, говоря одно, делая одно дело, числился, жил где-то в другом месте...»

Это, видимо, чувствовали и большевики, оказывая ему дружескую помощь и доверие.

Как сурово и как дружески разговаривал с ним человек, воплотивший в себе высокие качества революционера, о которых мечтал Дмитрий! Как бы он хотел походить на этого человека, прошедшего сквозь страдания в тысячу раз большие, чем его страдания, и сохранившего силу, мужество, ясность духа, доброту отца, волю вожака!

А его партия? «Голодная, измученная рабочая масса... чувствует правду, не бросает партию, которая изумительно борется все время революции... Сочувствие, общее доверие рабочих несомненно с ними, как и мое сочувствие неизменно все время революции было с ними, коммунистами-большевиками».

К большевикам зовет «непоколебимая твердость, непреклонность, настойчивость в проведении намеченных целей...»

Больше медлить нельзя. Решение принято. Разрыв с анархистами завершен. Прямо в лицо им брошены резкие слова осуждения.

И на страницы дневника ложатся твердые, уверенные строчки, выстраданные и закреплённые в сознании и в сердце:

«Я побывал в рядах мечтателей, пожил с ними, поварился в их соку и вырвался оттуда как ошалелый, чертыхаясь и проклиная... Хороший урок получил от этих скитаний по партиям и группам. Интеллигент без классовой базы. Шараханье из стороны в сторону. Теперь прибило к мраморному, могучему берегу-скале. На нем построю я свою твердыню убеждений. Только теперь начинается сознательная моя работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом. До сих пор это было плодом настроений и темперамента, отсекается это будет еще — и главным образом — плодом научно обоснованной смелой теории...»

Друзья-большевики Исидор Любимов и Валерьян Наумов сердечно поздравили Фурманова, узнав об его решении. 5 июля он передал в газету

«Рабочий край» заявление, короткое и решительное. Вез объяснений и комментариев:

«Заявляю о своем выходе из группы анархистов и о вступлении в организацию коммунистов-большевиков.»

Большевики приняли его в свои ряды без всяких подозрений и упреков. Конечно, немалую роль сыграло здесь слово Фрунзе. Фурманов был глубоко признателен ему. Сам он еще чувствовал некоторую растерянность. Он понимал, что в судьбе его произошло «событие колоссальной важности». «Я причастился того учения, которое не осмеливался назвать своим, выполняя его самым усердным образом в течение всей резолюции. Теперь я весь повеселел, сделалось легко, свободно... Я даже не смею еще назвать себя коммунистом-большевиком. Слишком ново, слишком торжественно, празднично, значительно...

Хочется работать, работать, работать. Откуда-то взялись новые силы, свежая бодрость, огромное желание без усталости трудиться.»

Путь к большевизму окончился. Начался путь Дмитрия Фурманова в большевизме.

Сложен и извилист был путь Фурманова к большевизму. Но, вступив в ряды Коммунистической партии, он доказал трудом своим и в тылу, в родном городе, и в боях гражданской войны, и потом на идеологическом, литературном фронте, что верен партии до конца, до последнего дыхания. Он был верным солдатом партии в дни самых тяжелых испытаний.

Авторитет его в партии рос с каждым днем. Хотя вначале не избежал он и косых, подозрительных взглядов.

«Смелее, смелее, — повторял он себе непрестанно, — много еще будет испытаний — терпи. Ты ведь подошел к партии коммунистов не в медовый месяц ее октябрьско-ноябрьских побед... Ты подходишь... к ней как раз в период тягчайших страданий, которые она переживает».

В Москве и Ярославле вспыхнуло пламя эсеровско-белогвардейских мятежей. Иваново-Вознесенская губерния объявлена на военном положении. Убийство немецкого посла Мирбаха провоцировало новое вторжение немецких войск. Зловещие тучи интервенции нависали над молодой Советской республикой, угрожая ей смертельной опасностью, в стране свирепствовали голод, эпидемии тифа, недобитые черносотенцы целились из-за угла в каждого революционера.

Фурманов вместе с иваново-вознесенскими большевиками формирует отряды коммунистов на подавление эсеровского мятежа в Ярославле, мобилизуется сам — сражаться с оружием в руках. («Снова переживаем корниловские, красновские дни. То же волнение, та же горячка...») Почти ежедневно выступает он с лекциями, докладами, беседами среди рабочих фабрик и заводов, то и дело едет по деревням, рабочим поселкам и фабричным городам текстильного края, всюду выступая как горячий пропагандист идей Коммунистической партии. Теперь он уже имеет право говорить. «Мы, коммунисты».

К лекциям он готовится основательно. Перечитывает сочинения Маркса, Энгельса, Ленина. Делает многочисленные выписки, составляет конспекты.

Темы лекций его многообразны: «Международное положение Советской России», «Текущий момент», «Аграрный вопрос и социализация земли», «Вопросы создания новой школы».

Он проводит съезды местных Советов в Юрьевце, Кинешме, — в родном селе Середа (ныне город Фурманов), выступает в Кохме, Шуе, Тейкове.

Даже дневник сейчас отложен в сторону. Хотя пишет он почти каждый день. Пишет острые публицистические статьи в «Рабочий край» — о дисциплине, о партийном строительстве, о роли интеллигенции в революции.

Бывает и так: начнет статью, а тут срочный выезд, срочное поручение. Статья оборвана на полуслове. А потом, по возвращении, она насыщается новым материалом о только что увиденном, сегодняшнем, злободневном.

4 августа неожиданный праздник. Приезжает Анна Никитична.

Фурманов оформляет свои отношения с Наей. Теперь они официально объявлены мужем и женой. Семья... Первый поздравитель — Михаил Васильевич Фрунзе. Где-то раздобыл он даже букет красных гвоздик...

Все понимающий и чуткий Фрунзе дает ему отпуск.

«Молодые» уезжают в деревню Ваньтино (близ Тейкова). В свой «медовый месяц» Фурманов организует в деревне комитет бедноты и проводит очередную беседу о текущем моменте.

Но сейчас остается время и для прогулок по лесам и широким деревенским полям и для долгих душевных разговоров.

«Я начинаю затягиваться в семейную жизнь, — иронически заносит он в дневник, — начинаю входить в положение «мужа».

О чем только не вели они разговоров в эти короткие недели и как непохожи были эти беседы на те, которые в юности вел он с Наташей

Соловьевой! Каждое его слово находило сейчас отклик в родной душе.

Но «медовый месяц» оборвался неожиданно быстро. В Екатеринодаре заболела мать Анны Никитичны, и, не прожив с мужем двадцати дней, она срочно выехала на Кубань.

Опечаленный Фурманов вернулся в Иваново-Вознесенск.

И опять суровые будни, насыщенные трудом и борьбой.

Фрунзе избран председателем окружкома (потом губкома) партии. Он же военный комиссар Ярославского округа, куда входит и Иваново-Вознесенск. К работе в военном комиссариате Фрунзе привлекает и Фурманова. Ему он поручает руководить всей агитацией и пропагандой среди военных частей округа. Тан становится политическим комиссаром будущей комиссар Чапаевской дивизии.

Обстановка в округе, как и во всей стране, грозная.

Суровая осень 1918 года. Один заговор сменяется другим. На заводе Михельсона эсерка Каплан стреляет в Ильича. Чрезвычайное сообщение ВЦИК за подписью Я. Свердлова гласит:

«...Всем, всем, всем... Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина... На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции. Товарищи! Помните, что охрана ваших вождей в ваших собственных руках... Теснее ряды!»^[5]

2 сентября ВЦИК постановил объявить всю страну военным лагерем и учредить Революционный военный совет республики.

«Все силы и средства Социалистической Республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников...

Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и Крестьянская Красная Армия раздавит и отбросит империалистических хищников, попирающих почву Советской Республики».

«Сгрудились черные события, — записывает Фурманов, — убийство Урицкого, покушение на Ильича...заговор Локкарта... Чертова бездна всяких дел. Все необходимо срочно осветить широким массам. И мы немедленно взялись за работу... Настроение всюду достаточно хорошее, несмотря на то, что положение рабочих невыносимое. Голодают отчаянно. И все-таки терпят. Просто диву даешься — откуда только у них такое терпение».

Покушение на Ленина особенно волнует Фурманова. Он еще не видел вождя революции (это еще впереди), но полюбил его давно душой и на

сотнях митингов рассказывает о нем рабочим, солдатам, крестьянам как о самом близком и дорогом. Он читает воззвание Центрального Исполнительного Комитета и призывает к бдительности, к боевому отпору врагам.

В эти грозные дни ему, Фурманову, партия оказывает огромное доверие. По предложению Фрунзе его, столь недавнего еще члена партии, избирают секретарем Иваново-Вознесенского окружкома РКП(б).

Он становится правой рукой Фрунзе.

И взволнованно записывает в дневник: «То, что Ленин значит для всей Руси, Фрунзе означает для нашего округа: человек неутомимой энергии, большого ума, больших и разносторонних дарований. Человек, с которым легко, свободно работать, на которого во всем можно положиться, который, делая, — делает все хорошо».

Фурманов снова работает день и ночь, выступает на партийных съездах по всей области (Шуя, Кинешма, Тейково), особое внимание уделяет красноармейским частям. Далеко позади остались все колебания и сомнения. («Несколько недель уже состою секретарем окружного комитета партии. Веду широкую работу и чувствую себя так, словно занимаюсь ею долгие годы».)

И все же полного удовлетворения нет. Одна новая мысль овладевает его сознанием.

Молодую Советскую республику со всех сторон окружают враги. Нужно защищать ее с оружием в руках. Недостаточно агитировать красноармейцев и носить военную форму. Надо самому вступить в ряды Красной Армии, надо самому отправиться на фронт, на линию огня.

«Теперь пришел к разрешению вопрос большой важности. Вопрос, над которым я долго раздумывал, который все время точил мои мысли. Вопрос с Красной Армией. Долго я носил в душе мечту о поступлении в ряды Рабочей Армии, теперь эта мечта должна осуществиться. Нечего оттягивать дни — вопрос должен быть разрешен завтра же. Мало теперь только одной любви к рабочим, мало одного сознания, что у тебя все самое святое и дорогое в защите угнетенных, обездоленных людей... Надо на деле показать, что ты во всякую минуту с ними и всегда готов бороться за их дело, на служение которому теперь ушло все, что есть честного и благородного. Наступил момент — пора покончить дело с мещанством и будничностью — надо твердо заявить: я боец в нашей армии, я борец за наши идеалы...»

Он вчера подробно говорил об этом с Фрунзе.

Михаил Васильевич посмотрел на него испытующим взглядом, точно

хотел убедиться, насколько правдив Дмитрий, нет ли разрыва между словом и делом. Ох как ненавидел этот человек пустые и громкие фразы! Он поверил Фурманову. Но не дал ему разрешения оставить ивановские важные и неотложные, хотя и будничные, партийные дела.

— Все еще впереди, — сказал Фрунзе, — мы с тобой еще повоюем, Дмитрий Андреевич («Мы с тобой» — сказал Фрунзе). Я рад, что ты готов к боевым дням. Но повремени, повремени, комиссар (он так и назвал его комиссаром). Жди сигнала.

И все же невыносимо трудно становится ждать...

«В такую бурную годину неужели я могу спокойно учиться, читать, сидеть дома и чувствовать, что там без тебя совершается великое дело, где работники трудятся не покладая рук, где борцы сражаются, не жалея жизни... Вчера вдохновенный Фрунзе своими огненными словами укрепил во мне правдивость моих взглядов и стремлений, и теперь я, бодрый, полный сил, буду ждать дня, когда с винтовкой в руках я встану в ряды борцов за великое освобождение трудящихся.

Нам смерть не страшна: красивей этой смерти — смерти нет...»

На другой день Фурманов выехал в село Лежнево и прочел там лекцию: «Как борются рабочие и крестьяне за социализм». Зал бывшего барского дома был переполнен. На улице за бортом осталось человек сто пятьдесят. Лекция продолжалась два с половиной часа. После лекции учитель («лет сорока, в очках, по виду педант и брюква») пожал руку Фурманова и сказал:

— Кабы почаще такие беседы — мы все бы сделали большевиками.

Через день — Тейково. Через два дня — Кохма. Через три дня — Вичуга. И Середа... И Родники... В дождь, в грязь, по ухабистым дорогам, по осеннему распутию. На конях, на тряских подводах, в товарных теплушках... Пешком. Днем и ночью. И постоянно надо быть начеку. По губернии еще бродят бандиты.

Запись в дневнике 5 октября 1918 года. После проведения уездного партийного съезда в родном селе Середа.

«Было уже 10 часов, когда, получив добытые откуда-то фунта три хлеба, мы с Валерьяном, председателем и членами коллегии местного чрезвычайного комитета отправились в чрезвычайку. Тьма отчаянная. Огней нигде нет... Было нечто таинственное в этом коротком путешествии... Спускались мы в какую-то бездну по крутому откосу, переходили какие-то бревна над ручьем, как серны скакали по светлым плешинам камней...»

...И выступления в качестве обвинителя в Революционном трибунале.

И статьи в «Рабочем крае», целая серия статей о партийной работе: «Рекомендация коммуниста», «Дисциплина коммунистов», «Партийный аппарат», «Организация новых ячеек...»

С редактором «Рабочего края» старым большевиком Александром Константиновичем Воронским Фурманов никак не мог найти общего языка. Печатая статьи Фурманова по вопросам партийной работы, Воронский скептически относился к его литературным произведениям.

Даже большую статью Фурманова, посвященную проблемам культуры, роли интеллигенции в революции, статью на три-четыре подвала, Воронский отказался печатать. Очи не знали еще тогда, Воронский и Фурманов, что пройдут-немногие годы и им придется встретиться в острых литературных схватках в Москве. И Воронский не сумеет по-настоящему оценить даже такие книги Фурманова, как «Чапаев» и «Мятеж».

Короткие часы досуга Дмитрий Андреевич проводит дома, в семье. Он нежно любит мать, сестер, братьев, старается помочь им и советом и добрым словом и выделить большую часть скудного заработка своего.

От всяких льгот и добавок к общему пайку Фурманов категорически отказался.

В этих вопросах щепетильность его доходила до крайности. Сурово отчитал он однажды, доведя до слез, младшую сестру Лизу, которая «преподнесла» ему к чаю две лепешки, полученные сверх пайка на службе.

«Коммунист должен быть примером во всем, — говорил он братьям и сестрам. — Не только в политике, но и в быту».

Задумевными были редкие беседы их вокруг старого семейного самовара! Душой всей семьи был Дмитрий Андреевич. По нему равнялись и старшие — Софья и Аркадий и младшие — Лиза, Сережа, Настя.

«Соня и Сережа захотели во что бы то ни стало вступить в ряды нашей партии. Я их убедил, я им рассказал все в простых, понятных словах, и это все им стало совершенно ясно, влекло к себе неудержимо... И старший брат... (Аркадий. — А. И.) и он проникнут всяким участием и симпатией к нашей борьбе... Мать и крошечная сестричка, несомненно, проникнуты к нам глубочайшим сочувствием... Словом, можно сказать определенно, что вся семья стала большевистской...»

Сережа надумал идти в Красную Армию, вдохновленный недавно речью М. В. Фрунзе... Я обещал ему во всем помочь...» (В конце года мать и младшие сестры Лиза и Настя уехали в Крым, и семейные «советы» прекратились.)

...Речь М. В. Фрунзе, о которой писал Фурманов, была посвящена

замечательным победам Красной Армии на Волге.

Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов от имени Коммунистической партии и Советского правительства призвал войска Б-й армии ускорить освобождение Казани. Он писал, что известие о взятии Казани поможет исцелению В. И. Ленина. Еще не поднявшись с постели, нетвердой еще рукой Ильич пишет 7 сентября ответ на поздравление в штаб 5-й армии:

«Благодарю. Выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков-кровопийцев будет образцово-беспощадное. Лучшие приветы Ленин»^[6].

Горячие слова Ильича отозвались в душе каждого красноармейца.

9 сентября сухопутные войска и моряки воинской флотилии под командованием легендарного Николая Маркина штурмовали Казань. 10 сентября город был очищен от врага.

12 сентября 24-я дивизия под командованием Гая Гая взяла город Симбирск и отбросила белогвардейцев за Волгу.

В тот же день Ленину была отправлена телеграмма:

«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!»

Владимир Ильич был глубоко взволнован телеграммой с фронта. Он тут же продиктовал ответ:

«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы»^[7].

За Симбирском последовал штурм Сызрани и Самары.

12 октября был созван торжественный митинг трудящихся Иваново-Вознесенска по случаю побед Красной Армии, увенчавшихся взятием Казани, Сызрани, Симбирска и Самары, приведших к полному очищению Волги от белогвардейцев. На этом митинге с речами выступили М. Ф. Фрунзе и Д. А. Фурманов.

И не один Сережа Фурманов, а многие молодые ивановцы решили в тот вечер вступить в ряды Красной Армии.

Все крепло желание уйти на фронт у самого Дмитрия Андреевича. Но партийная дисциплина не позволяла ему пока покинуть родной город.

25 октября партия доверяет ему открыть первую губернскую партийную конференцию и поручает сделать отчет окружкома (на конференции окружком переименован в губком) и доклад «Задачи партии в

текущий момент».

Председателем нового губкома партии избран М. В. Фрунзе. Ответственным секретарем — Д. А. Фурманов. Он же секретарь Иваново-Вознесенского горкома.

Приближается первая годовщина Октябрьской революции. Митинги на фабриках, в деревнях. Лекции и доклады Фурманова «Год диктатуры пролетариата».

Только год... И какой огромный год! «Эти дни, несомненно, величайшие дни. И не только потому, что мы празднуем годину своей победы. Нет, эти дни знаменательны тем, что одна сила теперь, как никогда, стремится обогнать другую: сила реакции — силу революции, и наоборот. Союзники отовсюду скачут карьером на Советскую Россию... Есть слухи о беспорядках в Питере... Да беспокойно и во многих других местах... Пугают восстанием и здесь...

С другой стороны — освобождены Либкнехт и Адлер, расстрелян ненавистный Тисса, Венгрия провозгласила себя социалистической республикой... Это уже много значит, это значит, что западные братья пробудились...»

Год... Только год... А ему кажется, что прошло целое столетие. Огромный путь прошла вся страна! И какой путь завершил он сам! Знаменательно, что день рождения Советской власти совпадает с его собственным днем рождения.

...Торжественное собрание, посвященное первой годовщине Октября, открывается вступительной речью Дмитрия Фурманова.

А потом опять переполненные до краев, насыщенные рабочие будни.

«Такая уйма дела, что начинаю заматываться. Работаю до глубокой ночи, так что некогда и почитать... Горько, трудно, но вместе и радостно...» Помимо всей текущей огромной работы, он делает доклад на городском митинге: «Революция в Германии». Он открывает первое собрание нового состава Ивановского Совета рабочих и солдатских депутатов.

И опять приходят мысли о Нае.

«...Я жду и жду Наю. А ее все нет, она все не едет... В душе живет неколебимая вера, я сам питаю, поддерживаю ее: Ная приедет, и приедет скоро!..»

Он уже совсем решил, несмотря ни на что, просить у Фрунзе разрешения поехать на Кубань искать жену Но... Фрунзе подготовил для него другую командировку, опасную и трудную. Беспокойно в Ярославле. Не везде выкорчеваны корни недавнего восстания. Опасность нового

мятежа. Кого послать? Кто сумеет наладить политическую работу в частях? Фурманов. Имеются возражения? Нет, никаких, Михаил Васильевич...

«Командировка жуткая, захватывающая, интересная. И к тому же — страшно ответственная. Мне поручают большое дело, трудную задачу. Выполню или нет? И радостно и жутко кинуться в эту бушующую черную пучину бунтующих людей... Спасибо, братцы, за доверие! Постараюсь оправдать ваши надежды...»

Двухнедельная эта командировка была как бы преддверием будущей работы Фурманова в Чапаевской дивизии, будущего усмирения мятежа в Семиречье. Преддверием испытания сил и возможностей.

Уже здесь проявился настоящий талант Фурманова-политработника — умение и сурово выкорчевать негодное, и найти ростки нового, светлого, истинно коммунистического, помочь людям, воспитать их, дисциплинировать массу, находящуюся еще порой во власти всяких анархистских инстинктов.

19 декабря Фурманов с группой коммунистов прибыл в Ярославль.

С этого дня до 1 января 1919 года он, как всегда предельно организованный и точный, составил график работы в войсках и среди населения, рассчитанный не только по дням, но и по часам.

Ярославль. Ростов. Рыбинск. Пошехонье. Расстановка сил. Изучение обстановки. Доклады. Лекции. Массовые митинги и индивидуальные беседы. Трезво оценивать обстановку. Не впадать в панику и не миндальничать. Отбросить в сторону и черные и розовые очки.

«Едешь иной раз с тяжелым чувством. А столкнувшись, видишь, что все обстоит иначе, что нет налицо тех ужасов и трудностей, которые рисовались в твоей фантазии. Все проще, легче, безопаснее. Хотя бы и эта последняя моя работа среди артиллерийских частей Ростовского уезда. Мы их так всколыхнули, так подняли, что провожают с аплодисментами, принимают наши резолюции, приглашают еще раз прийти и побеседовать».

Выступая с политическими речами на многочисленных собраниях, проводя большую черновую организационную работу, Фурманов ежедневно информирует М. В. Фрунзе о состоянии красноармейских частей, о выполнении партийного задания.

С присущей ему аккуратностью оставляет у себя конин. В эти две недели донесения как бы заменяют дневниковые записи. Кто знает, может

быть, и они потом легли бы в основу новой повести. Во всяком случае, к будущей работе над романом «Мятеж», к характеристике психологии масс они имели самое непосредственное отношение.

Боевые донесения эти, короткие и точные, прекрасно характеризуют Фурманова и как тонкого психолога и как волевого политработника. Уже можно узнать стиль работы будущего комиссара Чапаевской дивизии.

Хочется привести выдержки из некоторых фурмановских документов (донесений, отчетов, докладов, протоколов собраний), дающих представление о принципах его политработы.

Осуждение людей, оторвавшихся от масс:

«Относительно полкового комиссара т. Никитина губернский и городской комитеты партии дают отзыв отрицательный: тов. комиссар совершенно не посещает ни полковых, ни ротных собраний; в полку бывает всего 3–4 часа и совершенно не проявляет активности». Следует вывод: отстранение Никитина. То же в городе Ростове: «комиссары не соответствуют своему назначению, подлежат немедленному отстранению...»

Внимание к нуждам красноармейцев:

«Положение политического комиссара неизбежно вынуждает его чутко, внимательно относиться к самым разнообразным вопросам красноармейцев, обслуживать свою часть с чисто хозяйственной стороны, удовлетворять и ходатайствовать по различным, чисто хозяйственным нуждам (одежда, обувь, постель, фураж и т. д.). Отказы от подобных запросов неизбежно влекут за собою понижение престижа политического комиссара».

«Ужасного» настроения нет нигде. Причины неудовлетворенности кроются, во-первых, в различных нехватках (хлеб, мыло, табак, спички, гнилая вобла и т. д.); во-вторых, в зловредной агитации отдельных элементов, выходцев из кулацких семейств. Основной доклад, всю речь слушают внимательно, с видимым интересом и сочувствием, часто даже покрывают дружными аплодисментами. Дальше, по окончании речи, начинается длительная беседа, принимающая порою довольно обостренный характер... Последнее же, заключительное слово, а равно и ответы на массы вопросов — беру на себя».

Ни один вопрос, каким бы он ни был острым, какой бы характер (даже провокационный) он ни носил, Фурманов не оставлял без ответа.

Он был мягок с искренне заблуждающимися и суров де только к врагам, но и к болтунам, бездельникам, склочникам и интриганам! (Таким оставался он всю жизнь, на любом фронте — военном и литературном.)

Усиление роли партии:

«В тех воинских частях, где еще до сих пор не организованы партийные ячейки, немедленно общими силами приступить к организации таких путем агитации среди солдат...

Вменяется в обязанность каждому члену партийных ячеек вести усиленную агитацию среди товарищей красноармейцев за объединение и сплочение последних вокруг ячеек, объяснять... программу РКП (большевиков) и влияние нашей великой русской революции на другие страны... Вести беседы между собой, обсуждая текущий момент и положение Советской республики, выносить определенные резолюции и опубликовывать в местной газете... Устраивать систематические беседы среди красноармейцев, объяснять им про тактику и взгляды на жизнь РКП (большевиков)...

Членам ячейки необходимо воздерживаться от обещаний и говорить только то, что твердо и уверенно знаешь...»

26 декабря Фурманов рапортует Фрунзе о работе, проделанной за шесть дней:

«Теперь почти всюду уже организованы партийные ячейки или ячейки сочувствующих... Главная наша заслуга, если можно так выразиться, заключается главным образом в том, что мы всех тут взбудоражили, восторгошили, поставили на ноги, заставили работать... Мы в одних разбудили задремавшую революционную совесть, других устыдили, третьих убедили и, может быть, увлекли своим примером и призывами...»

Делая свои выводы, докладывая о них Фрунзе, Фурманов, как всегда, исходит и из основных задач и из конкретной обстановки, ненавидя общие слова и какое бы то ни было «парение в облаках».

Он говорит о своей задаче — принять во внимание и необходимость единения партийных сил, и издерганность работников-коммунистов, и наплыв в партию молодых, неопытных товарищей.

Листки (тезисы) из записной книжки Фурманова дают представление о важности и многообразии тем, которых касался в своих беседах и сам комиссар и которые рекомендовал освещать своим помощникам:

«Разница между войнами: империалистической и классовой. Необходимость организации и укрепления Красной Армии.

Борьба с буржуазией в городе и деревне.

Международное движение рабочего класса (революция в Австрии,

Германии).

Партия коммунистов — партия бедняков (земля — крестьянам, фабрики — трудящимся, банки — государству и т. д.).

Победа партии коммунистов и значение Октябрьской революции.

Влияние коммунизма на мировое движение.

Необходимость гражданской войны (Украина, Дон, Сибирь, Кавказ, Финляндия)».

С особой силой подчеркивает Фурманов *опасность подмены воспитания голым администрированием.*

«Замечается, что делегаты центра, приехав на места, всю свою энергию растрачивают на отрицательную работу (исключение, отстранение, отпуск, заключение в тюрьму и т. д.), оставляя в стороне работу положительную: массовые учащенные собеседования, пропаганду, советы растерявшимся товарищам, налаживание работы, создание контакта и т. д. Я убедился, что на местах товарищей скорее следует сковывать, чем разъединять, что различные обвинения всего чаще ничтожны и невероятно раздуты нечестными недоброжелателями... Я видел добросовестную напряженную работу коммунистов, работающих на самом деле «и в ночь и за полночь». Дефекты и упущения объясняю не ленью, а исключительно неподготовленностью, часто малоразвитостью, узостью горизонта и т. д.

...Посылая делегатов, необходимо давать им побольше обязанностей и возможно точнее и полнее их инструктировать, по возможности обрезая полномочия, которые на местах чаще выливаются в форму разгульного «комиссарничанья», вконец расстраивая ту работу, что и без этого велась с большим трудом...»

И в то же время беспощадная борьба с врагами:

«[На] всех живоглоотов-кулаков, которые сеют в массу солдат разные провокационные слухи, партийная ячейка должна... обратить свое внимание, чтобы предотвратить это немедленно. Всех кулаков взять на учет, а также вменяется в обязанность членам ячеек следить за командным составом, который зачастую ведет антисоветскую агитацию...»

Окончательный вывод Фурманова в последнем («новогоднем») донесении Фрунзе четок, спокоен и суров:

«В настроении воинских частей «ужасного» ничего не встретил; требования красноармейцев обычно разумны и законны, лишь в отдельных частях мутит кулачье, которое непременно следует оставлять на месте в тыловом ополчении, частью сажать в тюрьму, а самых опасных и крикливых — расстреливать...»

Боевые донесения и отчеты Фурманова — это целый свод

политической работы в сложных условиях ожесточенной классовой борьбы.

...26 декабря (еще в дни пребывания Фурманова в Ярославле) М. В. Фрунзе приказом Реввоенсовета республики назначен командующим 4-й армией Восточного фронта.

Бюро Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) постановило:

«Организовать отряд особого назначения из рабочих Иваново-Вознесенского текстильного района и отослать его в район действия IV армии...»

1 января 1919 года, написав заключительный отчет о работе среди воинских частей Ярославской губернии, Фурманов возвращается в Иваново-Вознесенск.

2 января на собрании актива иваново-вознесенской партийной организации Дмитрий Андреевич Фурманов делает заявление о своем желании поехать на фронт с отрядом иваново-вознесенских ткачей.

Решение было окончательным и бесповоротным. Бюро губкома приняло постановление о дополнительной посылке ответственных работников в армию. Создать отряд особого назначения для отправки на Восточный фронт в район действий 4-й армии. Возглавить отряд — Дмитрию Фурманову.

«...Я уезжаю на фронт... Мы едем туда на большое, ответственное, опасное дело. Фрунзе назначен командующим 4-й армией. Меня пригласил ехать вместе с ним. Партийный комитет скрепя сердце отпустил и благословил. Теперь все кончено. Через несколько дней уезжаем...»

Дневниковая запись от 9 января звучит как лирическая новелла. Сколько чувств и переживаний вложено в эту короткую запись! Фурманов прощается с родным городом. Новая, неизведанная, полная опасностей жизнь открывается перед ним.

«Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы! Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим и на фронте твое славное имя, твое геройское прошлое. Мы оправдаем название борцов за рабочее дело и все свои силы положим и там, как клали, отдавали их здесь, у тебя. Неизмеримую радостью ширится душа. Тихой грустью разлуки томится, печалится она. Прощай же, прошлое — боевое, красивое прошлое! Здравствуй, грядущее, здравствуй, новое, неизведанное — еще более славное, еще более прекрасное!»

Все мысли Фурманова уже там, на фронте.

Но здесь, в Иванове, еще целый месяц напряженной, будничной, но важной работы. Жизнь в Иванове становилась тяжелее с каждым днем. Стояли многие фабрики. Колчак перерезал дорогу к Туркестану. Не было сырья, хлопка.

«Уж все мысли, все думы мои сосредоточились на фронте, на фронтовой работе. Жду там богатых испытаний, большого, красивого, интересного труда».

«Фрунзе меня не хочет отпускать от себя, приглашает все время работать вместе. Я, разумеется, согласен, ибо люблю его нежно, как девушку...»

А вот и не пришлось ему выехать на фронт вместе с любимым командармом. Фрунзе уехал на фронт еще до губернской конференции. Ему нужно было принимать армию.

Коммунисты тепло проводили своего жоака. Прощальную речь произнес Дмитрий Фурманов. «До свиданья, командарм! До свидания, друг! До скорого свидания!»

Уже после отъезда Фрунзе пришли тревожные вести с Восточного фронта, из 4-й армии. Будто бы в одной из дивизий вспыхнул кулацко-эсеровский мятеж. Убит член Реввоенсовета и политический комиссар армии Гавриил Линдов.

Что же! Он ведь знал, Фурманов, на какую сложную и опасную работу едет... «Дух захватывает, когда подумаешь, за что и на что идешь». Значит, надо скорее выезжать.

30 января в Советском театре состоялось собрание, посвященное проводам отряда иваново-вознесенских ткачей. Собрание шло под лозунгом: «Все для Фронта! Все на Колчака!»

В отряд записались тысяча шестьсот добровольцев, в том числе двадцать шесть женщин. Горячей речью открыл собрание Дмитрий Фурманов.

— Все мое сердце всколыхнули вы, Дмитрий Андреевич, — сказала ему молодая ткачиха-комсомолка Маруся Рябинина. — Мы все, комсомольцы, едем с вами. Мы хотим умереть за революцию.

— Зачем же умереть, Маруся? — взволнованно возразил Дмитрий Андреевич. — Постараемся победить и жить за революцию... Ну, если понадобится наша жизнь... Тогда, конечно, ее отдадим...

В ночь с 31 января на 1 февраля отряд иваново-вознесенских ткачей во главе с Фурмановым покинул родной город.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ФРОНТ.

ЧАПАЕВСКАЯ ДИВИЗИЯ

20

О том, как это произошло, как отправлялся в ту морозную ночь на фронт первый отряд ивановских ткачей, впоследствии рассказал сам Фурманов.

Именно этой поистине эпической картиной открывается написанная через четыре года книга «Чапаев».

«На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые надели солдатскую шинель: сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот в «рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в таком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могучая черная толпа...»

В этом первом отряде — лучшие из лучших. Пролетарский костяк. Гвардия рабочего класса. Это о них, об ивановских пролетариях, о новом пополнении, посылаемом на фронт, скажет через несколько месяцев Владимир Ильич Ленин в своей речи перед слушателями университета

имени Свердлова.

«...я видел товарищей иваново-вознесенских рабочих, которые сняли до половины всего числа ответственных партийных работников для отправки на фронт. Мне рассказывал сегодня один из них, с каким энтузиазмом их провожали десятки тысяч беспартийных рабочих и как подошел к ним один старик, беспартийный, и сказал: «Не беспокойтесь, уезжайте, ваше место там, а мы здесь за вас справимся». Вот когда среди беспартийных рабочих возникает такое настроение, когда беспартийные массы, не разбирающиеся еще полностью в политических вопросах, видят, что мы лучших представителей пролетариата и крестьянства отправляем на фронт, где они берут на себя самые трудные, самые ответственные и тяжелые обязанности, и где им придется в первых рядах понести больше всего жертв и погибнуть в отчаянных боях, — число наших сторонников среди неразвитых беспартийных рабочих и крестьян вырастает вдесятеро, и с войсками, колебавшимися, ослабевшими, усталыми, происходят настоящие чудеса...»^[8]

Секретарь губкома Дмитрий Фурманов, выступая в ту ночь с ящика, водруженного на вокзальной площади, при тусклом свете газовых рожков, с прощальной речью от имени отряда, конечно же, не мог знать об этих словах Ильича, произнесенных значительно позже. Но *писатель* Дмитрий Фурманов через несколько лет, работая над «Чапаевым» и делаясь со мной творческими своими планами, говорил, что эта речь Ленина как бы осветила для него все его замыслы, дала творческий толчок, всю идейную направленность книге, посвященной, конечно же, не только Василию Ивановичу Чапаеву, но и тем ивановским ткачам, которые составили костяк Чапаевской дивизии.

А теперь вот в эту студеную ночь Фурманов, речи которого напряженно ждала толпа, вглядывался в окружающие его родные лица и слышал стук собственного сердца и волновался, как никогда.

Для этих людей (сколько их вернется сюда в родной город, сколько сложит головы на боевых полях!) нужно было найти какие-то особые слова, задушевные и суровые.

И он еще не знал, найдутся ли у него эти слова, слова, которые выразят не только то, что думает он, Дмитрий Фурманов, но и то, что могли бы сказать товарищи его по отряду, его соратники и теперь однополчане.

Иван Ильич Андреев — коренной пролетарий, питерский слесарь, участник подавления эсеровского мятежа в Ярославле (отважный комиссар, он погибнет на поле боя, но этого еще не может знать Фурманов); звонкоголосая красавица ткачиха, комсомолка с фабрики Гарелина Мария

Рябинина (и она погибнет, Митяй... В первых боях. И ты же сам будешь говорить горькую речь над ее могилой и напишешь о ней впоследствии яркий очерк-портрет); Павел Батулин, старый большевик, председатель Ивановского совнархоза и будущий (после Фурманова) комиссар дивизии (он погибнет в ту же черную лбищенскую ночь, когда погиб Чапаев); старый подпольщик, рабочий Иван Мякишев (будущий комиссар Пугачевского полка Чапаевской дивизии, изрубленный белогвардейцами); верный друг со школьных лет, будущий командир чапаевской артиллерии, Николай Хлебников (он будет воевать в нескольких войнах и станет генерал-полковником, Героем Советского Союза, и вечно будет хранить память о своем друге и воплощать в жизнь его традиции)...

...Но довольно вглядываться в лица... Все равно не прочтешь будущей судьбы в этих глазах, горящих боевым задором. А за ними тысячи и тысячи дорогих, и близких, и любимых людей.

Надо выступить, надо держать прощальную речь... Говорить без излишней чувствительности. Честно, сурово и прямо. Как солдат с солдатами...

У него не осталось записей этой речи. Не до дневника было в ту ночь.

Но он вспомнил ее, когда писал первую главу «Чапаева» и себя самого изображал под именем Федора Клычкова.

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте. Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите что сможете от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывают! А еще не забывают, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод, — не оставляйте их... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. (Остановился, глубоко вдохнул и выдохнул воздух. Минуту стоял так в облаке морозного пара, точно прислушивался к самому себе, и закончил неожиданно дрогнувшим голосом.) Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да. Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем... — сплошным перекатом ответила толпа.

А потом говорила Маруся Рябинина, и очень старый, незнакомый ему ткач в желтой кацавейке и высоких валенках, и какой-то совсем юный красноармеец из отряда.

Но Фурманов уже не слушал их. Он стоял рядом с заснеженным ящиком-трибуной, смотрел, как прощаются, обнимаются жены с мужьями, матери с сынами. Глаза его заволокло слезами. И неожиданно острая боль пронзила сердце. А где-то его Ная... Разошлись их пути-дороги. И придется ли еще повстречаться...

— По вагонам!..

Третий звонок... Долгий гудок паровоза. Заскрежетали колеса по морозным рельсам.

На фронт!.. К Фрунзе!..

Какова же была обстановка, в которой действовали на Восточном фронте армии, руководимые М. В. Фрунзе?

Победив Германию и Австрию, государства Антанты (Франция, Англия, Америка, Италия) решили бросить крупные военные силы против Советской страны. Интервенты объявили блокаду России. Были перехвачены все пути сообщения с внешним миром. Десятки белогвардейских генералов стремились задушить Советскую республику. Главную надежду возлагала Антанта на адмирала Колчака, своего ставленника в Сибири, в Омске. Он был объявлен «верховным правителем России». Ему подчинялась вся контрреволюция. Восточный фронт снова стал главным фронтом. Против Колчака были брошены лучшие силы большевиков, мобилизованы комсомольцы, рабочие.

Наступление Колчака на Восточном фронте было частью комбинированного похода Антанты на Советскую Россию в 1919 году.

Цель похода была сформулирована в докладе Гучкова Деникину: «Задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров — Москвы и Петербурга». Самый же план похода набросан в письме Деникина Колчаку, перехваченном весной 1919 года. «Главное — не останавливаться на Волге, а бить дальше на сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове...»

Колчак, главным образом на средства Антанты, сумел сколотить

большую армию. На Восточном фронте он сосредоточил около половины своих сил.

В. И. Ленин неоднократно указывал на необходимость всячески усилить Восточный фронт.

11 апреля 1919 года Центральный Комитет партии утвердил тезисы о положении на Восточном фронте, предложенные В. И. Лениным. Подчеркивая, что «победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики»^[9], ЦК поставил перед всеми партийными организациями задачу обеспечения объявленной 11 апреля поголовной мобилизации коммунистов в прифронтовой полосе, усиления агитации среди мобилизуемых и красноармейцев, создания комитетов содействия Красной Армии. Партия мобилизовала и бросила свои силы на Восточный фронт против Колчака. Центральный Комитет говорил о том, что нужно напрячь все силы, развернуть всю революционную энергию, и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть освобождены.

«Все на борьбу с Колчаком!» — под таким лозунгом партия проводила мобилизацию коммунистов, рабочих и трудящихся крестьян Советской России для помощи Восточному фронту.

К весне 1919 года Колчак захватил Уфу, Бугуруслан, предполагал выйти к Волге, а потом добраться до Москвы. В кругах международной реакции создавалось впечатление, что Колчак действительно является самой реальной силой для победы над большевиками.

Надо было разгромить Колчака, и разгромить возможно скорей. Если бы Колчаку удалось соединиться с Деникиным и объединить все действия под единым командованием, борьба стала бы гораздо труднее.

Принятые партией меры быстро сказались на улучшении положения Восточного фронта. Уже в конце апреля южная группа Восточного фронта (командующий — М. В. Фрунзе, член Реввоенсовета — В. В. Куйбышев) переходит в победное контрнаступление.

План разгрома Колчака разрабатывался и осуществлялся под общим руководством Ленина. Фрунзе непосредственно возглавлял армии, предназначенные для контрудара Колчаку.

За Колчаком была огромная территория: Дальневосточный край, Сибирь, Урал — земли, питающие страну хлебом.

Основная идея ленинского плана заключалась в том, чтобы сокрушительным контрударом разбить колчаковские армии, отбросить их за Урал, ликвидировать возможность соединения с деникинцами и дальше, опираясь на Урал с его промышленностью, революционным пролетариатом

и крестьянством, окончательно разгромить белые армии при помощи сибирских партизан.

Михаил Фрунзе, руководивший четырьмя армиями, решил собрать ударную группу в районе Бузулука для основного удара на Уфу. Под Бузулук были направлены наиболее крепкие части, и среди них 25-я дивизия под командованием Василия Чапаева и 24-я под командой Гая Гая. Воодушевленная призывами партии, возглавляемая боевыми командирами, большевиками, ударная группа наносит первые сокрушающие удары колчаковским войскам. В боях с 28 апреля по 4 мая был взят Бугуруслан. В боях с 4 по 17 мая в Белебеевском направлении ликвидируется корпус Каппеля — лучшая часть белых. Красная Армия теснит Колчака к реке. Колчаковские армии намеревались закрепиться на линии реки Белой под Уфой, опираясь на Уральский хребет. Следовало, не прекращая наступления, дальше громить Колчака. Ленин в своей телеграмме от 29 мая предлагал не ослаблять наступления на восток.

В момент разгара наступательных действий Красной Армии на Восточном фронте Троцкий предложил порочный план: остановиться перед Уралом, прекратить преследование колчаковцев и перебросить войска с Восточного фронта на Южный фронт. ЦК партии, хорошо понимая, что нельзя оставлять Урал и Сибирь в руках Колчака, где он может с помощью японцев и англичан оправиться и снова стать на ноги, отклонил этот план и дал директиву продолжать наступление.

Наступление Красной Армии против Колчака стало разворачиваться с новой силой. Красная Армия нанесла Колчаку ряд новых поражений и освободила от белых Урал и Сибирь, где Красную Армию поддержало мощное партизанское движение, возникшее в тылу у белых.

Окончательный разгром Колчака полностью подтвердил правильность ленинских планов Центрального Комитета.

В этих-то боях с Колчаком и приняли непосредственное участие ивановские ткачи, составлявшие костяк Чапаевской дивизии, в этих сражениях принял боевое крещение Дмитрий Фурманов. До первой встречи Фурманова с Чапаевым оставались уже считанные дни.

Дорога из Иваново-Вознесенска в Самару, а потом в Уральск, где находился штаб Фрунзе, тянулась долго. В условиях общей расхлябанности на станциях особое впечатление производила образцовая дисциплина

отряда.

На всем пути проводились лекции, беседы, теоретические занятия. Устраивались вечера досуга и песен. На остановках, там, где поезд задерживался на несколько часов (а это случалось часто), проводились митинги. Фурманов и его помощники делали доклады о текущем моменте, о положении на фронте, о задачах Советской власти, о том, как сформирован рабочий отряд, куда он едет, за что будет биться с белыми.

Эшелон прибыл в Самару 8 февраля. Через два дня по вызову Михаила Васильевича Фрунзе Фурманов и ближайшие его соратники И. П. Волков, П. И. Шарапов, И. И. Андреев выехали на машинах в Уральск. Ехали по тому же пути, которым недавно проехал сам командарм. Всюду еще живо было огромное впечатление от речей его и бесед.

Ехали пять дней по степи. В дороге близ города Пугачева их захватил буран. Кое-как добрались до станции. Там погрузились в вагон. Спутники Фурманова спали уже беспробудным сном. А он по привычке вынул заветную свою книжку и делал при свете огарка очередные дневниковые записи.

Он писал и о чувствах своих, и о волнении в ожидании новых необычных дней, и о красоте степи, и о мрачной своеобразной красоте бурана. (Творческое восприятие окружающего мира никогда не умирало в нем.)

А буран с новой силой возобновился на следующий день. Обильные снегопады преградили путь. Едва-едва не произошло крушения. Все спали. А Фурманов... читал Блока и делал свои записи. Железнодорожники закричали: «Тормоз!..», «Остановливай!..» Поднялась суматоха. Все забегали, кинулись к выходу. Фурманов соскочил на ходу. Он бежал к паровозу, без шапки, с развевающимися волосами, держа в одной руке томик Блока, в другой карандаш... Ему удалось навести порядок. Взялись за лопаты. Расчистили снежные заносы. Поезд двинулся дальше.

16 февраля прибыли в Уральск. Там шла подготовка к боям, к наступлению. Фрунзе порицать сразу не удалось. Он уехал на передовые. Бои уже начались. Фронт находился в 25 километрах от Уральска.

Фронтным был весь облик города. Всюду серые шинели, всадники, военные обозы. Столь непривычные для глаза ивановцев караваны верблюдов. Обстановка в городе была тревожная. Анархистские элементы вносили разлад. Слышалась беспорядочная стрельба. В этот же день был организован большой митинг для красноармейцев и крестьян (рабочих в городе было мало). Ввиду отсутствия в городе Фрунзе на митинге выступил Дмитрий Фурманов.

В тот же вечер Фрунзе вернулся с передовых позиций. Командарм был хмур и суров. В бою за станицу понесены были большие потери. Но, увидев земляков, вошедших в кабинет его, увидев Фурманова, Фрунзе поднялся с кресла, пошел к ним навстречу, обнял и расцеловал.

Потом попросил присесть, обождать и продолжал слушать командиров частей, рапортовавших о событиях истекшего дня.

Фурманов приглядывался к нему с особым интересом. Это был все тот же старый друг и учитель, любимец ивановских ткачей, товарищ Арсений.

И это был суровый командарм, отвечающий за судьбы, за жизнь и смерть тысяч и тысяч воинов.

А потом, получив задания, ушли командиры. И Фрунзе остался со «своими». Он расспрашивал про родное Иваново, про фабрики и заводы, как живут рабочие, как ехали с отрядом, какое настроение в степи, как сами устроились в Уральске. Рассказывал про сегодняшний не очень-то удачный бой, про замышляемую операцию, прикидывал, кого куда послать.

— Как хорошо, что вы приехали, — от души сказал Фрунзе. — Если бы вы знали, как нужны мне здесь, в этой сложной обстановке, где так часто гуляет стихия, как нужны мне рабочие люди, ткачи, большевики. Ну да не мне учить тебя, Дмитрий Андреевич. Будешь комиссаром — увидишь сам.

Близилась первая годовщина Красной Армии. Фрунзе на несколько дней оставил Фурманова в Уральске «для особых поручений при командарме». Предложил ему провести праздничное торжество.

Реввоенсовет 4-й армии уполномочил Фурманова организовать в армии митинги, собрания и собеседования.

Иваново-Вознесенский отряд был реорганизован в Иваново-Вознесенский стрелковый полк.

Точно подарок к праздничному дню, получил Фурманов весточку от Наи... Списалась она с Иваново-Вознесенском. Узнала все о нем. И главное, едет, едет сюда, на фронт. Ну, а работа для нее здесь найдется, да еще какая работа!.. Он и Михаилу Васильевичу об этом сказал и комнату на окраине Уральска выбрал с расчетом на Наю. Хотя неизвестно, сколько в этой комнате и жить-то придется.

Накануне праздника помначштаба сообщил, что казаки замышляют «ко дню годовщины» устроить внезапный набег на Уральск. Фрунзе срочно выехал в Самару, чтобы подогнать оттуда все застрявшие там штабы.

«Держится Фрунзе независимо и храбро, — записал Фурманов — Во время недавнего наступления Новицкому (начальник штаба Фрунзе. — А. И.) с трудом удалось удержать его от участия в штыковой атаке...»

Вся ответственность за достойное проведение годовщины и за должный отпор казакам легла на Фурманова. «Работа заходила ходуном. Снова чувствую себя в родной стихии кипучей, срочной работы..»

А в короткое время досуга собирались у Фурманова приехавшие с ним ивановцы и вспоминали о родном городе и спорили о путях к коммунизму.

«Мы снова и снова возобновляли разговор о том, сколь много следует нам, коммунистам, работать над собой, чтобы быть действительными и достойными носителями великого учения, за которое боремся, — учения о коммунизме. В нас вросло, от нас пока неотделимо жадное, своекорыстное чувство частной собственности... Мы никак не можем научиться воплощать в жизнь то, что проповедуем. На лекциях и на митингах наших мы говорим много красивых громких фраз, но лишь только потребуются эти высказанные положения проверить на опыте, приложить к себе, пасуем, черт побери, непременно пасуем...»

(На эту тему впоследствии мы не раз беседовали с Дмитрием Андреевичем. Одной из основных черт его характера была ненависть к двуличию, двурушничеству, двойному счету. Человек, живущий по двойному счету, фальшивящий с окружающими, а подчас и с самим собой, всегда жестоко осуждался Фурмановым. Да и в Чапаеве его особенно привлекла искренность, прямота его характера. Этой честности, прежде всего внутренней, в собственных мыслях и чувствах, он требовал всегда и от нас, своих молодых товарищей по литературной борьбе... Но об этом речь еще впереди.)

Оставаясь один, Фурманов мечтал... Мечтал и беседовал с дневником своим.

«Отсюда, когда закончится... тронуться куда-нибудь вдаль, по странам мира. Поехать в Японию, в Индию, а там — океаном куда-нибудь еще дальше. Затем вернуться в Европу, побыть в западных странах и потом... потом вернуться в родную семью...»

...Набег белых казаков на Уральск не состоялся. Приняты были все необходимые меры обороны.

23 февраля, в честь первой годовщины Красной Армии, Дмитрий Фурманов провел в Уральске городской торжественный митинг на площади Ленина и у могил красных воинов, погибших при освобождении Уральска от белогвардейцев.

Красноармейцы без всякой команды открыли такую отчаянную пальбу, что их еле удержали. Это был салют.

В этот знаменательный день на улицах Уральска была «настоящая масленица». Праздник удался на славу.

В первые же дни после прибытия в Уральск Дмитрий Фурманов услышал про Василия Чапаева.

И все, что узнал о нем, так взволновало будущего комиссара, что он посвятил Чапаеву большую запись в дневнике своем. Это были первые строчки, написанные Фурмановым о Чапаеве.

«Здесь по всему округу можно слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где заслышит она о его приближении, подымается сумятица и паника во вражьем стане. Казаки в ужасе разбегаются, ибо не было, кажется, ни одного случая, когда бы Чапай был побит. Личность совершенно легендарная... Крестьянское население отзывается о нем с благодарностью, особенно там, около Иващенковского завода, где порублено было белой гвардией около двух тысяч рабочих..

Крайняя самостоятельность, нежелание связаться с остальными красными частями в общую цепь повели к тому, что Чапай оказался устранимым. Кем и когда — не знаю. Но недавно у Фрунзе обсуждался вопрос о том, чтоб Чапая пригласить сюда, в нашу армию и поручить ему боевую задачу — продвигаться, мчаться ураганом по Южному Уралу, расчищая себе дорогу огнем и мечом.

Ему поручат командование отдельной частью, может быть, целым полком... Политически он малосознателен. Инстинктивно чувствует, что надо биться за бедноту, но в дальнейшем разбирается туго. Фрунзе хотел свидеться с ним в Самаре и привезти оттуда сюда, в район действия нашей армии.

Через несколько дней Фрунзе должен воротиться. С ним, может быть, приедет и Чапай».

Однако ни с Чапаевым, ни с Анной Никитичной встретиться в Уральске Фурманову не пришлось. Не пришлось дождаться и командарма.

Белогвардейцы готовились нанести удар по городу. Нужно было подготовить войска к решительным боям. Друзья-ивановцы Игнатий Волков и Павел Шарапов получили уже назначение в передовые части. «Люди сжились с опасностью и чувствуют себя спокойно под свистом пуль...»

27 февраля прямо из Самары Фрунзе предписывает Фурманову ехать в

Александров-Гай, наладить политическую работу в находящейся там группе частей.

С особой радостью узнает Фурманов, что начальник группы — Василий Чапаев. Значит, ему предстоит работать бок о бок, плечом к плечу с этим легендарным человеком.

«Он личность незаурядная, — замечает Фурманов, — спать не любит, и думаю, что наша... дивизия скоро пойдет в работу».

В Александрове-Гае размещались штаб и политотдел одной из бригад. Все основные части находились на передовых позициях, на линии огня. Надо было сорвать все замыслы белогвардейцев, прикрыть дорогу к Уральску. Шла подготовка к наступлению, к штурму станицы Сломихинской, находящейся в 80 километрах от Алгая (Александрова-Гая). По пути к Сломихинской уже были схватки в Бай-Тургане и Порт-Артуре. Схватки малоудачные. Необычайно трудно было вести политическую работу в такой обстановке. Тем более что для Фурманова здесь все было в новинку, неизведанное и неиспытанное.

Громкие слова здесь не нужны. Они будут звучать неуместно и фальшиво. Надо принять непосредственное участие в бою. Надо быть к этому бою готовым. Об этом все думы. Это ведь, по существу, будет первый его настоящий бой, самое трудное испытание в жизни.

«Ночью, когда об этом думал, вставали, рисовались мне фантастические картины героизма. Потом мученичество, слава, скорбь дорогих, близких людей...»

Нет... Не об этом надо думать, Митяй... Все это отголоски старой «литературной» романтики. Романтическая бутафория.

«А они, безвестные герои, думают ли они об этой декоративной стороне героизма?»

Надо отбросить все личное, надо думать о сотнях людей, которых ему доверил Фрунзе.

Именно ему, как представителю партии. Конечно, личный пример, участие в бою — это важно, очень важно. Но он ведь должен еще подготовить людей к этому бою.

Он знакомится с людьми, преодолевает первое недоверие к (приехал-де чистенький, необстрелянный интеллигент...), беседует с политкомами артдивизиона, кавдивизиона, Интернационального полка, проводит партийные собрания, организует митинги.

Неожиданная радостная встреча. Командиром артдивизиона назначен старый друг-ивановец Николай Хлебников. Тольк© недавно, кажется, расстались с ним. А его уже трудно узнать. Вояка... Дубленый полушубок,

длинная шашка, маузер в деревянной кобуре. И главное — густая борода и пышные усы.

— Встречался с командармом?

— Ну как же!.. Но, правду сказать, накоротке. Ему сейчас не до нас. Огромными делами ворочает. А на дивизион, сам меня назначил. Помнит. А ты? Слыхать, к нам комиссаром. Хорошо! Повоюем вместе. А Чапая видел?

— Нет, — с огорчением признался Фурманов, — еще не пришлось. Чапаев неуловим. Скачет из одной части в другую.

— Ну, Митяй, желаю успеха! Человек он, говорят, не из легких. А любят его бойцы крепко. Не забывай артиллеристов, Митяй...

...Наступление на Сломихинскую назначено на 10 марта. Это приказ самого Чапаева, утвержденный Фрунзе. Сил много. Алтай остается совсем пустым, Все идут в бой.

Маскировки никакой. На улицах оживление. Шум, крик, лязг оружия, грохот проезжающих пушек, ржание лошадей, вон верблюдов. Их несколько сот в обозе, навьюченных, снаряженных.

Последние дни перед боем. Фурманов долго беседует с командиром бригады и командирами частей. Комбриг — военспец, бывший полковник, хорошо знает свое дело. Надо доверять ему. И все же порой вспыхивает подозрение. А целиком ли он наш? Не изменит ли в опасную минуту?.. Надо быть настороже.

А ночью в избе комиссар опять вынимает свою неизменную записную книжку.

«Что то будет? И как вообще закончится эта операция? Вернемся ли мы и. все ли вернемся?.. Дело предстоит большое и, видимо, жаркое. Казаки дешево себя не продадут. К тому же у них несомненный численный перевес. Мы берем пока что революционной стойкостью, преобладающей инициативой и превосходством. оружия, главным образом пулеметов... Ну, со знаменем вперед! Да будет с нами красная сила! Да будет с нами революционная, бодрость, пролетарское терпение и пролетарское мужество!..»

Бросает перо. Встает; Подходит к окну. Сразу за домом — степь. Долго глядит во тьму, где изредка вспыхивают светлячки неведомых огоньков.

Опять садится к столу. «Жизни жаль. Еще хочется, страстно хочется жить, но за великое дело можно отдать и этот самый лучший: дар — свою жизнь...»

Думает о родных, близких, о матери и младших сестрах, уехавших в Крым и потерявших всякую связь с Митяем. О братьях. Младший, Сережа,

уже несколько месяцев воюет, может быть, где-то совсем неподалеку. Жив ли ты, родной Сережа?.. Опять нет весточек от Наи.

«А обозы все движутся бесконечной вереницей. Пустеет Алгай, уходят последние части. Через день загремят орудия, откроется страшный, решающий бой. Все мысли мчатся туда, вперед, к этому роковому дню».

И последняя мысль:

«А Чапая все нет. Где же он, вездесущий и неуловимый?..»

В вечер перед выступлением командир и политработники собрались у комбрига Андросова. Прощальная вечеринка. Фурманов вернулся в свою избу поздно ночью. Для сна остались считанные часы. Только разделся — вестовой. «Приехал Чапаев.»» Сна как не бывало. Когда? Где? На станции. За ним посланы подводы. Дорога плохая. Доберутся через пару часов.

9 марта в семь часов утра Дмитрий Фурманов впервые увидел Василия Чапаева.

Еще не сознавая целиком важности этой встречи, еще и думать не думая о том, что через недолгие годы будет написана книга «Чапаев», а потом поставят по книге фильм и он обойдет весь мир и заслужит славу поистине неувядаемую (самому автору «Чапаева» так и не доведется этот фильм увидеть), еще ничего не ведая обо всем этом, комиссар Дмитрий Фурманов постарался с предельной точностью в тот же день запечатлеть эту встречу в своем дневнике:

«Передо мной предстал по внешности типичный фельдфебель, с длинными усами, жидкими, прилипшими ко лбу волосами; глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, одет по-комиссарски: френч и синие брюки, на ногах прекрасные оленьи сапоги. Перетолковав обо всем и напившись чаю, отправились в штаб! Там он дал Андросову много ценных указаний и детально разработал план завтрашнего выступления. То ли у него быстрая мысль, то ли навык имеется хороший, но он ориентируется весьма быстро и соображает моментально. Все время водит циркулем по карте, вымеривает, взвешивает, на слово не верит. Говорит уверенно, перебивая, останавливая, всегда договаривая свою мысль до конца Противоречия не терпит. Обращение простое, а с красноармейцами даже грубоватое...

Я подметил в нем охоту побахвалиться. Себя он ценит высоко, знает, что слава о нем гремит тут по всему краю, и эту славу он приемлет как должное. Через час с ним еду на позицию, в Казачью Таловку, где стоит Краснокутский полк. Завтра, в восемь утра, общее наступление...»

Василий Иванович Чапаев, человек резкий и самобытный, не любил никакой опеки над собой. Недружелюбно относился он к штабистам и политработникам. Все казалось, что ему недостаточно доверяют, в чем-то подозревают, приставляют комиссаров следить за ним, ограничивать власть его. Не сразу полюбил он и Фурманова, долго приглядывался к нему, испытывал в боях. Постепенно увидел он в своем комиссаре человека большой культуры, которой так не хватало ему самому, представителя рабочего класса и большевистской партии. Вскоре свойственная Чапаеву настороженность сменилась по отношению к Фурманову открытой доверчивостью и настоящей большой дружбой.

«Меня, — откровенно рассказывал Чапаев Фурманову, — в штабе армии не любят и считают даже врагом советской власти, хотя я в партии коммунистов состою уже более года. А это вот почему. Когда мне приходилось спасать Пугачев и Маратов, там, в Пугачеве, Совет работал плохо. А надо было бороться с белогвардейцами и экстренно мобилизовать крестьян. Вот я и стал все это делать сам, потому что делать было необходимо, а делать некому. Ну, пошли кляузы да поклепы — там, в штабе, и взъерошились. Да и до сих пор не могут изменить мнения, хотя уж и убедились, что я борюсь за Совет. Ничего, рассеется, да и мало меня это беспокоит. С товарищами я лажу, они меня знают и любят, а что дальше — мне наплевать...»

Всякие злонамеренные наветы на Чапаева доходили, конечно, и до ушей Михаила Васильевича Фрунзе. Однако Фрунзе знал и о том, как любили Чапаева бойцы, партизаны, как победоносно воевал он с белогвардейцами, одним именем своим наводя страх на противника.

Фрунзе понимал, что в рассказях об анархизме, недисциплинированности Чапаева есть и своя доля правды, что человек он, несомненно, своевольный и необузданный.

Но не так уж много было среди командиров Красной Армии наряду с бывшими офицерами, военспецами, перешедшими на нашу сторону, вожаков-самородков, вышедших из народных низов и воплотивших в себе и талант и мудрость народную.

Еще не познакомившись лично с Чапаевым, Фрунзе уже испытывал к нему доверие и симпатию. Вот ведь послали его (а зачем послали в самый разгар боевых действий?..) в тыл, в Москву, в академию. Другой бы успокоился вдали от опасностей, от каждодневной угрозы смерти. А он

вырвался оттуда, вернулся на фронт. Именно такие командиры и нужны молодой Красной Армии.

А что необуздан... Так надо дать ему настоящего комиссара-большевика, который сумеет найти путь к его сердцу.

А тут, кстати, такой комиссар и нашелся. Человек, хорошо проверенный самим командармом. Его друг и боевой соратник Дмитрий Фурманов. Надо связать этих двух большевиков, столь непохожих друг на друга.

Вызвать их обоих вместе не представилось возможности. Фрунзе познакомил их друг с другом заочно.

Оба они высоко ценили доверие командарма. Оба с нетерпением ждали первой встречи.

И вот она, эта первая встреча, состоялась.

Они ехали в конном строю из Алгая в Порт-Артур, где начинались исходные позиции для наступления на станицу Сломихинскую.

Чапаев все приглядывался к посадке Фурманова и был удовлетворен ею. Видно, не первый раз комиссар на коня садится.

Ехали голой степью, полные дум. Каждый думал о своем.

Фурманов еще до этой первой встречи решил установить с Чапаевым особую, тонкую систему отношений. Избегать вначале разговоров чисто военных, чтобы не показаться полным профаном, повести с ним беседы политические, вызвать на откровенность, узнать все о жизни его, мыслях и чувствах. Конечно, и о себе рассказать, чтобы добиться интимно-дружеских отношений. Ну и заслужить, конечно, уважение Чапаева поведением своим в бою. В общем показаться таким свойским фронтовым парнем, ни в коем случае, однако, не роняя авторитета своего и достоинства.

«Чапаев — герой, — рассуждал сам с собой Фурманов. — Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... Черт ее знает, куда она может обернуться.

Надо ввести ее в рамки, эту стихию. Надо взять ее под свое идейное влияние. И прежде всего самого Чапая. Конечно, это все не так легко и не так просто..»

Приглядывался к комиссару и Чапаев.

«Из каких он? — думал Василий Иванович. — На этих бумажных штабистов будто бы не похож. Говорят, с рабочими приехал, с ивановцами. Дружок самого Фрунзе. «Будьте неразлучными с комиссаром, — сказал

Фрунзе. Что же, неразлучными так неразлучными. Он человек, конечно, партийный и ученый. Однако командовать ему над собой не позволю. В общем жизнь покажет. Делить нам с ним будто бы нечего...»

Остановились на пути, в Казачьей Таловке.

Улицы были запружены артиллерией, конницей, обозами.

Вокруг костров сидели красноармейцы. Грели чай, смеялись, пели песни.

Точно бой еще предстоял не сегодня, а в далеком будущем.

Передовые отряды вытягивались по направлению к фронту — к Порт-Артуру.

Подсел к одному из костров и Чапаев. Его узнали и радостно приветствовали. Фурманов еще раз почувствовал, как любят его бойцы.

Обождав конца песни, Чапаев затянул сам, свою любимую:

*Ты, моряк, красив собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?*

Потом пели про Стеньку Разина, потом еще одну любимую, протяжную:

*Сижу за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный в неволе орел молодой...*

Этой песне подтянул сильным своим баритоном и Фурманов.

Чапаев метнул на него острый взгляд, усмехнулся. Ему понравилось, что комиссар примкнул к песне и что голос у комиссара тоже, видать, подходящий...

Перед самым рассветом двинулись дальше. Наступали с трех сторон полками. Полк, стоявший в Таловке, шел в центре. Вскоре слышали гул орудий и увидели всполохи шрапнельных разрывов.

Маленькое селение Порт-Артур оказалось разрушенным и сожженным до основания. Здесь уже расположились бригадные тылы.

Чапаев, ничего не сказав комиссару, устремился куда-то вперед.

Фурманов задержался на считанные минуты (натер все же ногу и переобувался). Но нагнать Чапаева уже не мог. Не знал пути и опасался

попасть в руки белогвардейцев.

Навстречу стали попадаться подводы с ранеными.

Санитар-обозник поведал, что красноармейцы уже выбили казаков из ближнего хутора. Погнали дальше. Фронт — верстах в пяти.

Вскоре комиссар нагнал наступающие цепи и спешил. В первой цепи он, наконец, увидел Чапаева. Василий Иванович шел вместе с бойцами. То и дело он отдавал распоряжения, подавал команду. Связные передавали приказы его от фланга к флангу. Глаза его горели. Кубанка была лихо сдвинута на затылок. В правой руке блестел обнаженный клинок. Увидев комиссара, он удовлетворенно качнул головой и озорно подмигнул ему: знай, мол, наших. Цепь безостановочно шла вперед, не встречая сопротивления противника.

Справа показался хутор Овчинников, занятый казаками. Но боя не произошло и здесь.

Огонь нашей батареи усилился. «Хлебников действует, — решил Фурманов. — Дружок Никола... Его орудия». Только у самой станицы Сломихинской обрушился на красноармейцев шквальный артиллерийский огонь.

«Вот оно, первое испытание», — дрогнув, подумал Фурманов, но продолжал идти впереди цепи, держа коня на поводу, подбадривал товарищей, покуривал, пошучивал с ними, даже бравировал молодечеством своим.

Вскоре снаряда стали падать совсем рядом с наступающей цепью. Ближе. Ближе. Еще ближе.

Чапаев, вскочив на коня, объезжал фронт, появлялся в самых опасных местах, устанавливал связь между полками, отдавал приказы.

Цепь замедлила движение. Стали падать пораженные осколками бойцы. Подпустив красноармейцев совсем близко к станице, казаки усилили орудийный огонь, и вдруг сразу с окраины станицы ударили пулеметы.

Цепь залегала, подымалась, передвигалась перебежками. Перебегал и Фурманов. Потом после очередного артиллерийского шквала он вскочил на коня и, оправдываясь перед самим собой тем, что едет искать Чапаева, поскакал к левому флангу, а потом, обогнув его, — в тыл. Соскочил с коня у ближайшего бугра и залег, прикикая к земле.

Подъехал кто-то с левого фланга, сообщил, что показалось несколько сотен казаков, надо их достойно встретить, а на фланге не хватает пулеметов.

Вдали действительно показалась казацкая лавина.

Фурманов вскочил на коня и поехал «доставать пулеметы», попал в обоз, провозился там больше часу. А когда вернулся на прежнее место, никого не застал.

Огорченный, раздосадованный, негодующий на самого себя, он направился к станице Сломихинской, не зная результатов боя. Подъехал к нему еще один отставший товарищ.

На окраине села мальчуган гнал корову.

— Малец, эй, малец, тут что — вошла Красная Армия?

— Вошла, вошла, она у нас.

Фурманов помчался в станицу. Красноармейцы, оказалось, давно уже вступили в нее. Чапаев встретил его, усмехаясь. Но ни о чем не расспрашивал.

«Мне было стыдно, — с горечью записывал в тот вечер Фурманов, — что приехал так поздно, и тем более обидно, что самый разгар боя пережил я в передовой цепи, а как только отъехал — пальба прекратилась... Тут были уже все в сборе — все, только я опоздал. Но и то, что пережил я в этом первом боевом крещении, видимо, останется надолго и глубоко в душе...»

А через несколько лет, уже сидя над рукописью «Чапаева» и опять переживая этот провал свой в первом бою, но ничего не прикрашивая и ничего не прощая себе, Фурманов писал о комиссаре Клычкове:

«Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уже не тот...»

И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней... Но это пришло не сразу — надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное...»

И нужно было иметь большую внутреннюю смелость, чтобы, ничего не скрывая, беспощадно относясь к себе, рассказать и об этой робости в первом бою и о том, как происходило преодоление ее. Без рисовки. Без позы. Без лицемерия. Правдиво и искренне рассказать в дневнике, а потом в романе, в каких сложных условиях закалялась сталь.

Так же беспощадно, правдиво относился Фурманов и ко всему, что его окружало.

Взятие станицы Сломихинской, естественно, было праздником для красноармейцев.

И Чапаев и Фурманов сами принимали участие в общем веселье, в хоровых песнях, в плясках народных.

Проявилось и анархистское, стихийное начало. Не обошлось без грабежей и мародерства.

С первого же дня Фурманов начал решительную борьбу с грабителями.

В этой борьбе поддержал его и Чапаев.

Были проведены митинги по всем полкам, и красноармейцы поклялись прекратить самоуправство, вернуть все награбленное.

Фурманов уже видел Чапаева в бою. Теперь он впервые наблюдал его на трибуне. Наблюдал и восхищался.

Конечно, Чапаев не был «оратором». Речь его была отрывистой, резкой, иногда напоминала команду. Но слушали его прекрасно. В нем красноармейцы-крестьяне видели своего же товарища, вышедшего из их же среды. Видели, что слово у него не расходится с делом. Любили его и слушались беспрекословно.

— Товарищи, я не потерплю того, что происходит, я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый и застрелю. А попадусь я — стреляй меня, не жалей Чапаева. Я ваш командир, но командир только в строю; на воле я ваш товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь, надо — так разбуди, я завсегда с тобой поговорю, скажу, что надо. Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — и чай садись пить. Я к этой жизни привык. Я академиев не проходил и их не закончил, а вот все-таки сформировал четырнадцать полков и во всех в них был командиром...

На митингах он был резок и прям. Находил нужные слова. Но не плыл по течению. Не потакал всяким своевольным настроениям. А если некоторые вопросы и решал наивно и примитивно, то внимательно (при всей его властности, нелюбви к возражениям) выслушивал советы комиссара и (хотя не сразу) вносил поправки в свои решения.

Фурманов на митингах, выступая вслед за Чапаевым, говорил по-иному. Опытный оратор, он пытался широко разъяснить политику партии, Советской власти, рассказывал о Ленине, о Фрунзе, о положении на других фронтах. Конечно, здесь выступить перед этой стихийной массой было

потруднее, чем на ивановских рабочих собраниях. Но он хорошо понимал эту разницу, в речах своих стремился быть находчивым и гибким. Они были очень непохожи, Чапаев и Фурманов. Но каждый по-своему находил доступ к душам солдатским. Комиссар полюбился Чапаеву. Да разве Фрунзе мог бы ему. Чапаеву, прислать плохого комиссара...

А Фурманов каждый день открывал в Чапаеве все новые и новые высокие качества.

«В нем все простонародно и грубо, по и все понятно. Лукавства пет, за лукавство можно по ошибке принять требуемую иногда обстоятельствами осторожность. Словом, парень молодец. Натура самобытная, могучая и красивая».

Конечно, дух крестьянской вольницы очень еще силен в нем.

«Чапаев теперь как орел с завязанными глазами, сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротимая воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит».

И именно ему, Фурманову, как представителю партии, следует принять участие в большевистском «воспитании» Чапаева, раскрыть перед ним всю красоту целей и задач коммунизма.

Да и комиссару можно многому поучиться у Чапаева — силе воли, выдержке, таланту вести в бой массы.

Надо поставить себя так, чтобы Чапаев поверил в него, надо заслужить его дружбу. Не поучать. Не резонерствовать. Не сдаваться в спорах и не обострять их. Влиять незаметно. Тактично и умно использовать для этого влияния все свои знания, всю культуру, весь опыт.

Теперь они с Чапаевым стали совсем неразлучными. Части все время находились в движении. Нужно было быть там, где ты больше всего нужен. С бойцами. И Фурманов вместе с Чапаевым были редкими гостями в штабе. Они были всегда в войсках. Нужно было ободрить, показать пример, разобраться в обстановке, иногда круто поступить с послушниками. Вместе с тем нужно было пользоваться всяким представившимся случаем, чтобы объяснить и красноармейцам и местным крестьянам всю необходимость борьбы.

Фурманов всегда кипел в работе. Ему казалось, что теперь вот оно пришло, то настоящее, о чем мечтал он всю жизнь. Он рано вставал, поздно ложился, пользуясь в походе случайным приютом. Он появлялся в самых опасных местах. Теперь ему уже казалось, что вовсе и не было того досадного страха, который охватил его в сломихинском бою. Он давно привык к опасностям и преодолел всякий страх. Иногда казалось, что нет никаких надежд остаться живым. Но случай спасал ему жизнь.

В долгих походах, когда ехали они стремя в стремя или в одной повозке, Чапаев рассказывал своему другу о всей своей жизни. О том, как батрачил в юности, был кучером, пастухом, плотником, маляром, солдатом. Много раз ранен был еще в ту войну, получил четыре георгиевских креста и четыре медали — полный набор. А потом революция. Начал войну с беляками.

В сложной боевой обстановке Фурманов все же успевал записывать необычайные эти рассказы. Для чего? Сам еще не знал. Но не записывать не мог. И, сидя над дневником, вспоминал каждую деталь рассказа.

«Жалею об одном — мало получил я образования... Ну, как только научился читать, сейчас же принялся за книги... Прочитал я про Ганнибала, про Наполеона, Стеньку Разина, Емельяна Пугачева, знаю и про атамана Чуркина, потом читал насчет Спартака и Гарибальди. Эти все люди очень мне нравятся тем, что не любили подчиняться, а любили свободу...»

Очень смешно рассказывал он про экзамен свой в академии.

«— Знаешь, — спрашивает экзаменатор, старый военспец, — реку Рейн?»

Я ее, конечно, знаю, где она находится, но дай, думаю, скажу, что не знаю — посмотрю, что будет.

— Нет, — говорю, — не знаю, а вы сами знаете реку Солянку? — спрашиваю его.

— Нет, — говорит.

— Ну так вот и спрашивать нечего, а через эту Солянку мне пришлось идти вброд, тут я разбил казаков, ее надо было знать мне хорошо.

Экзамен все-таки выдержал. Теперь стремлюсь образовываться сам: например, арифметику и геометрию разобрал, умею решать задачи. Я, бывало, и в окопах, когда научился писать, лежу и пишу, лежу и пишу. А теперь начал писать большой роман, у меня он дома, и написано уже много...»

Особенно обижался Чапаев, когда его называли анархистом.

Он давно понял вред анархизма и стал коммунистом.

«Я признаю, что надо считаться с центром, и считаюсь с ним, но если мне дают какое-нибудь скверное и неправильное приказание, слепо я его исполнять не буду. Ему там, какому-нибудь генералу, легко разговаривать на бумаге, а когда я сам иду в первой цепи и когда мне первому грозит пуля — на рожон я не пойду, а выберу как раз такое место и время, чтобы врага расколотить, а самому выйти сухому из воды...»

Во время остановок на ночлег или чай (Чапаев спиртного не пил, не курил, ненавидел игру в карты) пели любимые чапаевские песни.

«У всех у них, чапаевцев, — записывал Фурманов, — я не наблюдаю ни жадности, ни алчности — простые и просторные души».

После сломихинского боя Фрунзе вызвал Чапаева и Фурманова к себе, в Самару. Предстоял разговор о новом назначении.

Михаил Васильевич обрадовался встрече со старым другом, но принял Фурманова и Чапаева одинаково сердечно. Рассказал о том, что Колчак предпринял новое наступление по всему фронту. Собирается овладеть всей Средней Волгой, захватил уже Уфу и угрожает Самаре. Есть опасение, что мы можем потерять Самару, потерять все Поволжье.

Сюда рвутся и части генерала Деникина, чтобы, соединившись с Колчаком в Саратове, начать совместное наступление на Москву. В связи с этим меняются наши стратегические планы. Предполагали идти на Туркестан, добывать хлопок. Теперь придется сосредоточиваться в районе Самары.

Восточный фронт объявляется главным фронтом.

Ленинский призыв «Все на Колчака!» мобилизует народные силы.

Он, Фрунзе, назначен командующим южной группой войск Восточного фронта. В качестве одной из ударных частей фронта формируется 25-я дивизия.

Командующего вызвали к прямому проводу, и он не успел окончить свой разговор с Чапаевым и Фурмановым.

Пригласил их вечером на чаепитие.

Адъютант Фрунзе Сиротинский задержал Фурманова, шепнул ему о просьбе Фрунзе прийти на пятнадцать минут раньше назначенного времени. Фурманов понял, что командующий хочет поговорить с ним наедине.

Сославшись на какое-то личное дело, он вышел из дому раньше Чапаева. Тот подозрительно досмотрел ему вслед.

Михаил Васильевич обнял своего «крестника». Однако не было времени для сантиментов. С минуты на минуту мог прийти Чапаев.

Фрунзе сказал, что хочет назначить Чапаева начальником 25-й дивизии, в которую в качестве пролетарского ядра войдет и 220-й Ивановский полк. Каково мнение Фурманова? Годится ли Чапаев на такой ответственный пост?

Фурманов ответил без раздумий. Да, годится. Это настоящий герой, народный самородок, готовый драться за Советскую власть до последней капли крови. «Конечно, — добавил Фурманов, — он человек трудный, своевольный, неотесанный, ему еще надо помочь разобраться во многих сложных вопросах борьбы. Его еще надо воспитывать».

Именно так думал и сам Фрунзе. Он не успел ответить Фурманову. Шумно, поддерживая серебряную свою шашку, вошел Чапаев. Хитро оглядел Фрунзе и Фурманова. Понял все. Но промолчал.

— Так вот, Василий Иванович! — сказал Фрунзе. — Реввоенсовет решил назначить вас начдивом двадцать пятой. А комиссаром к вам, конечно, Фурманова. Вы ведь уже узнали немного друг друга? Возражений нет?

Возражений не было.

Снова долгая, утомительная дорога на лошадях, снова задушевные беседы командира и комиссара. Оба лежат в повозке, на сене, закутавшись в тулупы и бурки, тарахтят по степи колеса, задувает пурга, над головой черное беззвездное небо, не спится. О многом думается в такие ночи. И о предстоящих боях и о прошлом.

Фрунзе разрешил заехать в Вязовку, родное село Чапаева.

В Вязовке был размещен немалый гарнизон. Председатель Совета в честь приезда земляка-героя созвал митинг. Народный дом был переполнен. Чапаев выступил с горячей речью. Обещал разбить Колчака и всех белогвардейцев. А потом попросил комиссара рассказать что-нибудь научное. Фурманову сильно недужилось. Да и не хотелось повторять то, что говорил Чапаев о предстоящих боях. Он собрал все силы и прочел лекцию... о Парижской коммуне.

Сам был удивлен тому, с каким вниманием его слушали. Как это все было необыкновенно. Степь. Буран. Затерянное в! снегах село Вязовка. Красноармейцы, готовые к боям. И... Парижская коммуна. Он связал лекцию с текущим моментом. Колчак и Тьер. Фрунзе и Делеклюз. Домбровский и Чапаев. Все причудливо переплелось в небольшой этой лекции.

Чапаев застыл в старом театральном кресле. Он слушал с таким пристальным вниманием, что казалось, даже не дышал, боясь пропустить слово. Он гордился своим ученым комиссаром.

6 апреля была получена телеграмма от Фрунзе. Чапаев и Фурманов должны немедленно выехать в Бузулук, где будет расположен штаб новой дивизии. Предстояли боевые действия.

Завершив в ту же ночь все дела в Уральске, начдив и комиссар на заре в сопровождении двух ординарцев помчались в Бузулук.

И в этой стремительной поездке, на коротких привалах не прекращались бесконечные их разговоры. Фурманов стал самым близким человеком для Чапаева. Начдив раскрывал перед ним всю свою душу.

— Я убедился, — говорил он, — что, пока мы у богача не отыщем его богатство, пока мы все не передадим беднякам, покою не будет. Вот почему я и коммунистом-то сделался — тут я лучше Ленина все понимаю...

Не задерживаясь в штабе дивизии, не отдохнув даже с дороги, начдив и комиссар поехали в расположение частей.

В селе Сорочинском разместились первая бригада — Пугачевский и Домашкинский полки.

Командовал бригадой соратник Чапаева, совсем еще молодой, двадцатидвухлетний Иван Семенович Кутяков, прошедший уже немало боев, много раз раненный и контуженный.

Иван Семенович немедленно созвал весь командный состав в кинематографе «Олимп».

Узнав о приезде Чапая, валом повалили в кинематограф и красноармейцы. На митинг собралось больше тысячи человек. И опять бок о бок, каждый по-своему, прекрасно дополняя ДРУГ Друга, выступили начдив и комиссар. А когда окончился митинг, на сцене появилась неизменная гармонь. И Чапай «выдал» камаринского. Плясал он без усталости, легко и красиво. Хлопали ему без конца. А потом появились и другие плясуны.

Особенно пришлось по нраву бойцам, что сам начальник дивизии не важничает перед ними и пляшет до упаду.

Фурманов был сначала несколько смущен тем, что Чапаев выступает в роли плясуна. А потом понял, что в красноармейской среде, накануне тяжелых боев, это и уместно и весьма полезно. Это была отдушина. Полки, все время находившиеся в боях и походах, теперь хоть несколько часов отдыхали.

А вместе с бойцами их командиры. И Фурманов даже пожалел, что не может сплясать русскую на пару с Чапаевым.

Он не знал, комиссар, что ждет его большая радость. Что именно в этот день Анна Никитична, Ная, приехавшая с Кубани в Иваново-Вознесенск, сумела связаться с Фрунзе, что Фрунзе разрешил ей приехать в Самару на фронт и уже послана Сиротинским необходимая телеграмма-вызов, что долгожданная встреча их близка.

Он не знал еще и о том, что в ивановской газете «Рабочий край» опубликовано его первое «Письмо с фронта».

После тяжелых боев в районе Бузулука сломленные Красной Армией белогвардейцы начали отступление. Не знаящие, что такое усталость, чапаевцы продолжали наносить им удар за ударом.

Ожесточенные бои развернулись под Бугурусланом, под Белебеем.

На реке Кинель произошло одно из самых кровопролитных сражений.

В этом бою 220-й Ивановский полк (пролетарское ядро дивизии) два раза бросался в атаку и два раза, подойдя к реке, отходил под бешеным огнем противника.

Полк состоял почти из одних коммунистов и комсомольцев. В его рядах было немало женщин — бойцов, медицинских сестер, политруков. Среди них выделялась старая знакомая Фурманова, общая любимица полка восемнадцатилетняя комсомолка Маруся Рябинина.

Во время боя комиссар дивизии Дмитрий Фурманов сам встал во главе одного из батальонов и повел его в третью атаку. Бойцы опять подошли к реке и снова, попав под сплошной огонь, дрогнули. Тогда рядом с Фурмановым оказалась Маруся. Крикнув: «За мной, товарищи!», она бросилась в воду. Бойцы, несмотря на пулеметный огонь врага, рванулись за Марусей и комиссаром, форсировали реку и погнались противника. Маруся Рябинина была убита в этом бою. Вражеская пуля пробила ей голову. Погиб и командир батальона. Фурманов, возглавив батальон, ворвался с ним в окопы врага.

На берегу реки состоялся митинг бойцов.

— Нет больше нашей звонкоголосой Маруси, — сказал Дмитрий Фурманов. — Не остудишь сердце, когда с болью и гордостью вспоминаешь образ этой замечательной ткачихи. Она не посрамила славного прошлого ивановских ткачей и пала за счастье рабочего класса.

Он умел, комиссар, по-настоящему вдохновить людей, мобилизовать их на новые подвиги.

Бойцы Чапаевской дивизии проходили по местам, где недавно свирепствовали карательные отряды Колчака. Население было напугано. Фурманов устраивал митинги, на которых разъяснял политику Советской власти и задачи Красной Армии. В освобожденных селах и деревнях он организует ревкомы.

Особо важное значение в дивизии занимает политработа. Формы ее разнообразны и гибки. Каждое свое посещение батальонов Фурманов использует для бесед с бойцами. Он отмечает лучших, проявивших истинный героизм (он сам видел их в бою). А таких лучших были десятки и сотни. Часто вооруженные лишь винтовками и гранатами, бросались они на бронемашину и поезда и захватывали их. Комиссар беспощадно бичует

трусов, нарушителей дисциплины.

Быть всегда вместе с бойцами. Досконально знать их жизнь. Такие задачи ставит он и перед всеми политработниками. Политотдел дивизии организует в частях партийные ячейки. В них вовлекаются все новые силы. Расширяется сеть культурно-просветительных комиссий, школ, библиотек.

Наряду с боеприпасами на фронт посылаются газеты, брошюры, воззвания и листовки.

Наконец в Бузулук приезжает Ная.

На другой же день комиссар назначает Анну Никитичну Стешенко на работу в культпросветотдел дивизии. Она создает передвижной красноармейский театр, который, двигаясь от полка к полку, ставит спектакли непосредственно на позициях.

Особенно любил бывать комиссар дивизии в родном Ивановском полку. Так хорошо было вспомнить со старыми друзьями о далеком городе ткачей, послать совместную весточку на родину.

Но и в других полках появилось у Фурманова много близких людей, которых он горячо полюбил и которыми гордился.

Таким был Горбачев, комиссар бригады Кутякова. Белогвардейцы стояли по правому берегу реки Боровки, кутяковцы — по левому. Надо было организовать разведку, собрать точные сведения о враге. Комиссар Горбачев сам с группой бойцов переплыл реку и пробрался в расположение противника.

Мокрые и грязные после разведки бойцы вернулись обратно, собрав нужные сведения и оставив на том берегу несколько человек «на случай».

«Вот как работают настоящие комиссары, — записал Фурманов в свой дневник. — Его работа слита неразрывно с работой командира бригады, функции объединяются, сплетаются, перевиваются...»

Именно так работал и сам Фурманов.

Одна из записей в дневнике его называется: «Чапаев и я».

«Как тень я все время следую за Чапаевым. Все дела приходится решать сообща. Ни одного вопроса он без меня не обсуждает, во всем советуется, обо всем спрашивает. И благодаря этому я постоянно в курсе всех начинаний и предположений. У нас установились самые лучшие, самые доверчивые отношения. Нам работать легко: его решительность, настойчивость и быстроту я дополняю осторожностью, спокойствием и способностью устанавливать контактные отношения. Часто сразу он подымается на дыбы, глаза заблестят, он готов сопротивляться, спорить, упорствовать.

Но, неизменно натываясь на спокойствие, предусмотрительность и

убедительность доводов, со всем соглашается и принимает все мои поправки и изменения. Я еще не знаю случая, когда бы он не принял какого-либо моего предложения».

Один из комиссаров бригад прислал Фурманову официальный запрос: каковы задачи комиссара и в чем должна заключаться его работа. Ответ Фурманова был весьма выразителен:

«Комиссару 74(2) бригады (Брауцею).

Товарищ!

Я не буду тебя учить тому, что надо делать: работа сложна и разнообразна, всего не предусмотреть.

Требую лишь следующего:

- 1) Точной исполнительности.
- 2) Напряженности в работе.
- 3) Спокойствия.
- 4) Предусмотрительности.

I. Используй всех подчиненных тебе работников, чтоб у них не было минуты свободной. Вмени в обязанности комиссарам мелких частей не спать по деревням, а проверять и помогать Советам, беседовать с крестьянами и пр...

II. Внуши и укажи им, как сохранить авторитет, ибо некоторые комиссары унижают свое звание несерьезностью и слабостью.

III. Обращение комиссара с бойцами должно быть образцовым: спокойным, деловым, внимательным. Внушай к себе уважение даже обращением. Не позволяй оскорблять красноармейцев, тем более плеткой или кулаком, притягивай негодяев к суду.

IV. Не позволяй грабить, разъясни, как позорно это для Красной Армии рабочих. Нахальных грабителей тяни к суду, а с мародерами расправляйся еще короче, расстреливай на месте.

V. Держись ближе к организациям (судам и комиссиям): помогай им советом и проверяй работу.

VI. Притягивай всемерно красноармейцев к библиотеке: хоть раз в неделю — пусть почитает. Читай, объясняй сам, когда можешь, не смущайся тем, что мало слушателей.

VII. Строго наблюдай за техническими работниками, будь недоверчив, но не показывай своего недоверия, не оскорбляй, тем более не схватывайся ругаться: комиссар не должен ронять себя до ругани.

VIII. Отдельные эпизоды боевой жизни записывай. Раз в неделю присылай мне в двух экземплярах. Пусть будет кратко — зато свежо и интересно для газеты.

Военный комиссар 25-й стрелковой дивизии
Д. Фурманов».

Это была целая программа действий, программа, которой придерживался и сам комиссар дивизии.

Стремительно продвигаясь вперед, чапаевцы громили противника. Один из боев развернулся у села Пилюгина. Здесь особенно отличились артиллеристы Николая Хлебникова. Фурманову было приятно видеть, как отважно действует в бою старый товарищ. Сам комиссар был все время с бойцами. Он не отставал от Чапаева. Настроение бойцов поднималось, когда они рядом с собой видели комиссара, когда он предлагал им закурить из расшитого своего кисета, когда бросал какую-нибудь шутку, ввертывал острое слово и первый шел в бой по команде «Вперед!».

Пилюгино было расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. Противник создал на подступах к селу сплошную завесу орудийного и пулеметного огня. И все же, по данным нашей разведки, он уже готовился к отступлению. Надо было торопиться с атакой. Все ближе подходили к селу чапаевцы.

Перебежка за перебежкой. Перебежка за перебежкой. Когда до Пилюгина осталось полтора километра, все цепи сомкнулись и по приказу Чапаева стали сжимать село полукругом.

Фурманов находился в Интернациональном полку. Он верхом направился к передовой разведке, которая по лощине ушла метров на пятьсот вперед и пыталась проникнуть в овины, разбросанные по краю села. Разведку обстреляли, и она залегла по склону оврага. Надо было форсировать штурм. В эти минуты комиссар увидел знакомые каски с огромными красными звездами. Подходили свои — иванововознесенцы. Ткачи. Знакомые, дорогие лица. Фурманова окликнули сразу несколько человек — узнали, обрадовались. Встреча с родным комиссаром еще более подняла дух ивановцев. До овинов оставалось меньше трехсот метров. Несколько пулеметчиков уже совсем приблизились к крайнему овину. К ним подбежали Фурманов с командиром батальона. Сломив сопротивление противника, ворвались в село.

Красноармейцы рассыпались по деревне. Ни грабежей Ни насилий. Ни оскорблений. Фурманов уже на ходу беседовал с населением. Женщины побежали за водой, чтобы вскипятить чаю, угостить пришедших

товарищей.

Но чаевничать некогда.

Надо скорее двигаться вперед, чтобы захватить отступающие в панике белогвардейские обозы.

«Как изменился Митяй, как возмужал он», — с любовью думала, глядя на него, Анна Никитична. Она вспоминала того юношу, с которым встретилась всего четыре года тому назад в санитарном поезде. Тогда это был мятущийся интеллигент, честный, искренний, но колеблющийся, напряженно ищущий свое место в жизни. Теперь это был воин, коммунист, решительный и волевой комиссар, воспитатель тысяч людей.

И все же это был тот, полюбившийся ей Митяй. Всегда правдивый, ненавидящий фальшь и лицемерие. Так же, как тогда, заразительно весело смеялся он и так же, как тогда, пел любимые свои песни. Она, Ная, старалась не отставать от Митяя. Все время проводила в частях, проверяла работу школ ликбеза, формировала библиотеки-передвижки, сама читала вслух красноармейцам статьи из газет, рассказы, сцены из пьес, стихи Демьяна Бедного.

В трудных фронтовых условиях она создавала кружки художественной самодеятельности, находила певцов, плясунов, музыкантов.

Теперь уже почти каждый митинг кончался концертом. Развернул свою деятельность созданный при помощи комиссара и с одобрения покровителя искусств Чапаева передвижной красноармейский театр. В перерывах между боями шли спектакли. «Артисты» гримировались углем, усы и бороды (у кого не было своих) создавали из пакли, вырванной из пазов в деревенских срубах.

Бывало, в разгар спектакля объявлялась боевая тревога, и бойцы так вот, в гриме, с паклевыми бородами, вскакивали на коней. Всякое бывало.

...Чапаеву с первого взгляда понравилась Анна Никитична. Он оказывал помощь в работе ее, приходил, если было время, на спектакли и по-детски восторженно аплодировал «положительным» героям нехитрых самодельных пьес, борющимся за правду и справедливость.

В дневнике своем, мысленно обращаясь к Нае, Фурманов записывал:

«...Ты ведь всюду со мной. Ты даже в бой со мной ходишь; под ураганным артиллерийским огнем ты стоишь плечом к плечу...»

Вот после одного такого боя Чапаев сказал Фурманову:

— Я был бы горд, если б только у меня была такая смелая жена, радовался бы, когда она пойдет со мной в бой.

И вместе с тем он был недоволен, когда Анна Никитична подвергала себя чрезмерным опасностям, и иногда ругал Фурманова за то, что тот

недостаточно беспокоится о своей жене.

Фурманов был очень щепетилен во всем, что касалось его родственных отношений. Он старался ни в чем не выделять Анну Никитичну среди других политработников.

Очень типично для него письмо, написанное принципиально, без всякой доли ханжества и направленное в Реввоенсовет южной группы.

«Товарищи!

Разрешите мое весьма щекотливое положение. Один из декретов Совнаркома говорит об недопустимости мужу и жене работать в одной организации. Я работаю военным комиссаром 25-й дивизии. Жена, Анна Никитична Фурманова-Стешенко, заведует культпросветом этой же дивизии. Работай она слабо — я не щадил бы ни минуты и отстранил бы от работы. Но ниже обратное: до нее культпросвет почти не подавал признаков жизни, она же сумела организовать все его секции, а театральную наладила настолько, что стала возможной постановка пьес непосредственно на позиции в полках, а не только в штабах дивизии или бригад. Словом, работой я вполне доволен. Отзыв мой беспристрастен. Его могут подтвердить зав-политотделом, помноенкомдив и многие ответственные работники дивизии, знающие ее работу. Кроме того, она работает как организатор, как артистка в труппе, как фельдшерица, когда уезжает во время боев со мной на позиции. Она заменяет мне секретаря. От секретаря, предложенного мне еще 5-й армией (когда 25-я дивизия числилась в 5-й армии), я отказался, ибо постоянного дела ему нет, а попусту деньги платить не стоит. Этого секретаря замещает мне Анна Никитична, получая, разумеется, только одно жалованье, как заведующая культпросветом.

Михаил Васильевич Фрунзе в личной беседе дал мне свое согласие оставить ее при мне секретарем. Теперь я спрашиваю Вас, товарищи:-!) Может ли она вообще работать здесь, в одной дивизии со мной? 2) Может ли совмещать две должности, получая один оклад?

Военный комиссар 25-й дивизии Дм. Фурманов».

Реввоенсовет, конечно, разрешил Анне Никитичне остаться в дивизии.

Дружба Фурманова с Чапаевым все крепла. Это было даже поразительно при резком, несдержанном характере Василия Ивановича. Фурманов восхищался и военным талантом Чапаева и неутомимостью его.

«Все эти дни мы с Чапаевым в походах. Наши стали теснить белых по всему фронту. 25-я дивизия идет авангардом. Весело идти: здесь Чапай, а справа уже давно хлещет Кутяков со своей стальной бригадой. Он разбил уже около трех вражеских полков, захватив пленных, пулеметы, кухни и т.

Д.

...Мы с Чапаем сдружились, привыкли, прониклись взаимной симпатией. Мы неразлучны: дни и ночи все вместе, все вместе. Вырабатываем ли приказ, обсуждаем ли что-нибудь, данное сверху, замысливаем ли что новое — все вместе, все пополам.

Такой дельной и сильной природы я еще не встречал. Мы часто с ним предполагаем: что будет, как тяжело будет одному, когда другого убьют. И когда заговорим — обоим станет тяжело. Замолчим и долго-долго ни о чем не говорим. На него много клеветают, его понимают даже наши «лучшие»... как авантюриста — и только. Ему мало доверяют».

С негодованием пишет Фурманов:

«Из-за дров они не видят лесу. Они, эти будничные люди, не могут простить плотнику Чапаю его грубость, его дерзость и смелость решительно во всем: будь тут командующий и раскомандующий. Они не знают, не видят того, как Чапай не спит ночи напролет, как он мучится за каждую мелочь, как он любит свое дело и горит, горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность — поэтому он дорог мне бесконечно. В защиту от клеветников и узколобых я уже неоднократно писал дорогому Фрунзе про истинного, про настоящего Чапая...»

Какой же партийной чуткостью, каким сердцеведением надо было обладать комиссару Фурманову, чтобы, отметая все внешнее, наносное, ложное, увидеть настоящего Чапая, помочь ему преодолеть «ущербности» свои, стать ему настоящим другом и помощником, а потом, уже много позже, создать его неумирающий образ в своей книге.

А ведь недостатки Чапаева он прекрасно видел.

И не все гладко складывалось у них во взаимоотношениях с Чапаевым. Были случаи, когда Фурманов решительно и резко пресекал своевольные и анархистские поступки начдива. Были случаи, когда они даже после ссоры хватались за наганы. И экспансивный Чапаев даже писал рапорт об отставке. Фурманов всегда остывал первый. И не то чтобы шел на примирение. Но умел вовремя остудить начдива. Когда однажды Чапаев решил даже ехать к Фрунзе со своим рапортом, сумел задержать эту поездку. А потом, когда прошли дни горячих боев, вместе поехали в Самару, к командарму.

Фрунзе был болен, но сразу же принял их у себя на квартире.

Уже понаслышанный об их стычке, Фрунзе ни словом о ней не обмолвился. Сам рассказал о положении на фронте, о великих задачах, которые Ленин и ЦК партии поставили перед Восточным фронтом, а

следовательно, и перед Чапаевской дивизией. Рассказал и про последнюю свою поездку в Москву, и про встречу с Лениным, и про голод в северных районах. Про необходимость удешевить нажим, чтобы окончательно столкнуть Колчака с Волги. И Чапаев и Фурманов слушали командарма с огромным вниманием. Все же Чапаев попытался раза два вставить словцо о цели своего приезда. Но Фрунзе никак на это не реагировал, продолжал рассказ свой.

А когда рассказал все, что хотел, выговорился, что называется, до дна, и видно было, как сильно утомился, вдруг улыбнулся своей доброй, чуть хитровой, так знакомой Фурманову улыбкой и промолвил:

— А вы еще тут скандалить собрались. Да разве время, ну-ка, подумайте... Да вы же оба нужны на своих постах, ну, так ли?

И стало им обоим неловко за пустую ссору, которую подняли в запальчивости в такое время. Фурманов, собственно, на такой разговор с Фрунзе и рассчитывал в глубине души. Когда прощались с командармом, чувствовали себя как наказанные дети. А Фрунзе еще шутил — напутствовал:

— Ладно, ладно... вояки...

Уезжали на фронт опять друзьями.

После митингов, которые проводил комиссар в освобожденных селах и деревнях, многие крестьяне «записывались» в армию.

Почти всегда с уходящими вперед полками увязывались ребята-подростки.

Любимцем одного из полков стал двенадцатилетний Степка. Десятки самых разных работ выполнял он в полку — ив разведку ходил, и проволоку прорезал, и патроны подносил.

На груди его сверкал огромный красный бант, сбоку болталась небольшая шашка, за пояс был заткнут трофейный кинжал.

Встретив его в полку, Фурманов хотел сначала «разоружить» и отправить подростка домой, к родителям.

Но все бойцы так сильно просили за него, а Степка так моляще смотрел своими иссиня-черными глазами, что комиссар уступил.

— А тебе не страшно? — ласково спросил он мальчугана.

— Нет, товарищ комиссар, я уже в разведку ходил, на брюхе подполз к проволоке, ножницами ее перерезал, а ночь-то была темная, да в деревню потом, и разузнал все, что приказал товарищ Петров, — запальчиво и гордо ответил Степка.

Степка остался сыном полка. Вместе со своими отцами он мчался в

конную атаку, и красный бант, украшавший грудь его, развевался на ветру.

«Вот бы мне такого сына», — мечтал Фурманов.

Он очень любил детей и, вступая в новые города и деревни, прежде всего помогал оставшимся без призора детям, выделял для них лучшие помещения, создавал особые продовольственные фонды. Ная была для него в этом деле лучшей помощницей.

Каждая гибель друга наносила ему тяжелую, долго не заживающую рану.

В то же время за этот военный год он сумел вытравить остатки «чувствительности», сентиментальности, которые еще сохранялись в душе его.

После одного боя комиссару пришлось допрашивать взятого в плен белого офицера.

Накануне в занятом селении чапаевцы нашли трупы двух красноармейцев, зверски изуродованных белыми. Красноармейцы негодовали, хотели тут же расправиться с военнопленным. Им не перечил и сам Чапаев. Но Фурманов не допустил самосуда.

Он допросил белого офицера тут же, в присутствии бойцов. Офицер держался надменно.

Еле сдерживая себя, Фурманов довел допрос до конца. Стало ясно участие этого подонка в белогвардейских зверствах. Комиссар приказал расстрелять его.

«Я стал сосредоточенным и строгим. Не шутил, не смеялся, даже разговаривал мало. Я даже чем-то как будто гордился. Чем? О, конечно, своей решительностью. К ночи я уже забыл. Сегодня, наутро, совершенно спокоен...»

Май был месяцем стремительного победоносного наступления Красной Армии.

4 мая был освобожден Бугуруслан. 13 мая штурмом взята Бугульма. 17 мая занят Белебей.

Чапаев и Фурманов часами не слезали с коней.

Основное место в дневниковых записях комиссара по-прежнему занимал Чапаев.

«Неугомонная натура, беспокойная, непоседливая — он все время должен находиться в движении. Если только приходится по необходимости оставаться на месте три-четыре дня — он тоскует, нервничает... Сотоварищи привыкли его видеть часто... Они все, как птенцы, работают под крылом Чапая. Он своей энергией воспламеняет их всех и не дает спать. Он все время их учит, все время подталкивает, бранит, чуть не бьет, а

они любят, боятся и работают отчаянно...»

Фурманов видит и необузданность Чапаева, идущую во вред делу. Он, комиссар, уже умеет «укрощать» начдива, направлять энергию его в нужное русло, предостерегать от ложных поступков и пресекать их.

«Советы и приказания (Чапаева) всегда ценны, только высказываются они обычно крайне возбужденно и властно. Незнакомого, а тем паче бестолкового встречает бурей и громом. Тут и брань, и укор, и угрозы расстрелами. Правда, эти расстрелы редки, в моем присутствии дело ограничивается только угрозами, но стоило мне отлучиться на два дня — как двое под горячую руку были расстреляны... Все вместе: безудержная жестокость и чудная, простая сердечная нежность!..»

«Чем дальше, тем больше привязываюсь я к нему, тем больше привязывается и он ко мне. Сошелся тесно и я со всеми его ребятами. Все молодец к молодцу — отважные, честные бойцы, хорошие люди. Здесь я живу полной жизнью».

Бои предстояли тяжелые. Колчаковцы, хорошо вооруженные и обмундированные, отошли за реку Белую, минировали железнодорожный мост и прочно укрепились на высоком берегу.

29 мая 1919 года Владимир Ильич Ленин телеграфировал Реввоенсовету Восточного фронта:

«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все силы... Следите внимательнее за подкреплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое население; следите за политработой. Еженедельно шифром телеграфируйте мне итоги...»^[10]

30 мая 1919 года Михаил Васильевич Фрунзе отдал приказ войскам: «Противник, разбитый на фронте нашей армии, отходит на Уфу, где, по-видимому, попытается оказать последнее сопротивление на линии реки Белой. Ближайшая задача нашей армии — скорейшее овладение Уфой».

Главная роль в битве за Уфу была поручена Чапаевской дивизии. Иваново-Вознесенский полк должен был первым переправиться на восточный берег реки Белой и с севера ударить по городу. Другим частям дивизии было приказано обойти Уфу с юга, перерезать челябинскую железную дорогу и преградить колчаковцам путь к отступлению.

В самом начале июня двинулись к Уфе чапаевцы.

Фурманов рядом с Чапаевым, верхами.

Нагнали солдата, бредущего с костылем по обочине.

— Товарищ, куда идешь?

— Обратно в часть.

— А что хромаешь?

— Раненый.

— Когда ранили?

— Пять дней назад.

— Что же не лечишься?

— Некогда, товарищ, теперь нам не время лечиться, воевать надо. Вот убьют — лягу в могилу, там делать нечего, там и лечиться буду...

На первом же коротком привале комиссар вынул записную книжку и записал примечательный разговор этот.

«Захватило мне дух от радости за его слова. Посмотрел на него с любовью, с глубоким уважением и поехал дальше... Пятьдесят верст скакали мы без отдыха, скакали всего четыре часа...»

С любовью делал Фурманов эти записи о замечательных своих бойцах-однополчанах. Собирал редкие, потрясающие документы тех дней. О двух совершенно безногих бойцах-красноармейцах, которые работали в боях на пулеметах. О слепом бойце, письмо которого было опубликовано в дивизионной газете. (Это письмо Фурманов бережно хранил годы как дорогой, бесценный документ. Он мне показывал впоследствии, достав из тайников своих, это пожелтевшее, истертое на сгибах послание.) Братья автора письма были расстреляны белыми казаками. Сам он потерял зрение, был заключен в тюрьму, ожидал расстрела. А потом, чудом выбравшись из тюрьмы, он долго шел степью, «голодный и холодный», шел на ощупь по неведомым дорогам, чтобы найти своих, чтобы соединиться с Красной Армией.

Добрые люди помогали ему в пути, и письмо свое в газету он заканчивал словами благодарности.

«Да здравствует Всероссийская Советская Республика, товарищ Ленин, да здравствует непобедимый герой товарищ Чапаев, да здравствует волостной совет, экономический и продовольственный отдел!»

Этот слепой воин стал своеобразным «устным» летописцем дивизии. Он переходил из части в часть, рассказывая о подвигах Чапаева и его бойцов.

Ежедневно в дивизии рождались легенды — в той славной дивизии, о которой сурово и строго, ничего не приукрашивая и ничего не преуменьшая, эпически написал впоследствии писатель Дмитрий

Фурманов.

«По горам, по узким тропам, бродом переходя встречные реки — мосты неприятель взрывал, отступая, — ив дождь и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах, день сытые, два голодные, раздетые и скверно обутые, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно они от селения к селению, неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались героями, умирали, как красные рыцари, попадали в плен и мучениками гибли под пыткой и истязаниями... Будут *новые* моменты и прекрасные и глубокие содержанием, но это будут уже *другие*...»

Восхищаясь подвигами своих красных рыцарей, Фурманов никогда не закрывал глаза на трудности походной боевой жизни. Он ненавидел парадность и показуху. Он писал командующему армией и о нуждах солдатских и о необходимости немедленной помощи.

Письмо Фурманова Фрунзе в РВС 4-й армии:

«Объезжая цепи в течение последних дней, вижу невероятно трудное положение красноармейцев Нет белья, лежат в окопах нагие, сжигаемые солнцем, разъедаемые вшами. Молча идут в бой, умирают как герои, даже некого выделить для наград. Все одинаково честны и беззаветно храбры. Нет обуви, ноги в крови, но молчат. Нет табаку, курят сплошной навоз и траву. Молчат. Но даже молчанию героев может наступить конец. О благороднейших героях мы заботимся не по-геройски. Мы, несомненно, не правы перед ними. Сердце рвется, глядя на их молчаливое терпение. Не допустим же до разложения одну из самых крепких твердынь Революции. Разуйте и разденьте кого хотите. Пришлите материалы, мы сошьем сами, только дайте теперь что-нибудь. Мобилизуйте обувь и белье у населения...»

Перед решительным боем командующий южной группой войск М. В. Фрунзе собрал совещание командиров и комиссаров частей 25-й дивизии в селе Красный Яр, на самом берегу реки Белой, в 18 километрах от Уфы.

«Он, — впоследствии писал Фурманов, — тщательно взвешивает каждую мелочь, высчитывает, сколько часов в короткой июньской ночи, — когда упадет в вечернем сумраке и снова займется заря... как на ладони весь план, как на ладони наши силы... Ну, ребята, разговорам конец, час пришел решительному делу!»

М. В. Фрунзе прочел телеграмму В. И. Ленина, в которой Ильич призывал напрочь все силы на ликвидацию колчаковщины. Командиры и комиссары поклялись разбить Колчака и 9 июня занять Уфу.

Именно здесь, на совещании, было окончательно решено, что первым переправится через Белую 220-й Иваново-Вознесенский полк и ударит в лоб по войскам Колчака.

Чапаев остается на переправе руководить наступающими войсками, а Фурманов направится к железнодорожному мосту, в другие части.

После совещания, когда командиры и комиссары разошлись по своим частям, Фрунзе задержал Чапаева и Фурманова.

— Ну, Василий Иванович, скажи честно, доволен ты своим комиссаром? — в упор спросил командарм.

Чапаев лукаво посмотрел на Фурманова.

— Скажу по совести — доволен, прямо доволен. Избавил он меня от соглядатаев. Бывало, придут да начнут: что да почему? Понимаю — это все надо, но вконец извели. Теперь другое: чуть что, пожалуйста к военкому. Он парень с головой, знает что к чему, ну и крой к нему.

— Ну, а в боях?

— Мы все время вместе в боях.

— Так, значит, сработались?

— Как сказать, Михаил Васильевич? Часто спори., разругались бы, если бы характер у него был мой, а так ничего, сговариваемся. Комиссар мой показал себя в боях. Я бы, пожалуй, не задумываясь, дал ему командовать полком... — Сразу запнулся: не перехватил ли? — Только что это вы, — спохватился Чапаев, — все меня спрашиваете, вы и его пощупайте...

— Правильно, Василий Иванович, и его спросим.

— Отвечу, товарищ командующий, по-солдатски, — сказал Фурманов, — претензий к начдиву Двадцать пятой товарищу Чапаеву не имею...

Чапаев вскочил.

— Как, только претензий? Я-то его перед командармом хвалил, а он только претензий не имеет. Обкрутил и тут-то меня.

— Не горячись, Василий Иванович. У нас приказ: взять Уфу. Когда возьмем ее, тогда и будем хвалить друг друга.

Чапаев усмехнулся.

— Ну, коли так, значит так. Тебе виднее.

Тут уже засмеялись оба. Улыбнулся и Фрунзе.

...Вдали с речных откосов при ясной погоде видны были золотые макушки уфимских церквей. И высокая круглая башня пожарной каланчи.

В эти дни, в особенности после новой встречи с командармом, Фурманов часто думает о Фрунзе как о человеке, который всегда и во всем является для него примером.

Он увидел в кабинете Фрунзе большую стратегическую карту всех боевых операций, десятки тактических карт и схем и подумал о том, как стал полководцем этот ивановский большевик, любимец ткачей, студент-пропагандист, профессиональный революционер, годы проведенный в тюрьме и ссылке, не раз приговоренный к смертной казни.

Он решил собрать воедино, записать все свои мысли об этом человеке. Вот Фрунзе в штабе дивизии диктует приказы, в бессонные ночи никнет над прямым проводом, который идет прямо в Кремль, к Ленину.

Вот Фрунзе тонкой палочкой водит по огромным полотнищам раскинутых карт, бродит в цветниках узорных флажков, остроглазых булавочек, плавает по тонким нитям рек... идет шоссейными путями. Тонкой палочкой скачет по селам-деревням, задержится на мгновение над черным пятном большого города и снова стучит — стучит — стучит по широкому простору красочной, причудливой, многоцветной карты.

Около — Куйбышев, чуть «крепит» бессонные темные глаза, встряхивая лохматую шевелюру; они советуются с Фрунзе на лету, они в минуты принимают исторические решения, гонят по фронту, по тылу, в Москву — гонят тучи запросов, приказов, советов... И вместе с ними — неразлучные, верные, лучшие, которых только выбрал — и знал и любил — Фрунзе... Они в те дни провели работу, которую еще не узнала и не оценила история: это они ночи насквозь корпели над мучительно-вздорными сводками фронта, вылавливали оттуда крупницы правды, отметили паническую или восторженную ложь и из этих крупниц составляли какую-то свою, особенную и мудрую правду, это они давали сырье Фрунзе, Куйбышеву, Баранову... чтобы из этого многоценного сырья крепкие головы отжимали самое нужное, из отжатого строили свои планы, из планов связали грозную сеть, в которую должен был попасть Колчак...»

Он делал, комиссар, свои беглые записи. И еще до того, как родилась у него мысль написать книгу о Чапаеве, где-то в творческом подсознании складывалась так и ненаписанная книга о Фрунзе.

«Кипел неутомимой, пламенной работой штаб. Все понимали, какой момент, какая ответственность: здесь не здоровье, не отдых, не жизнь человеческая была дорога, здесь ставилась на карту сама Советская Россия. Бешеным потоком хлестала здесь через край творческая энергия этих удивительных людей: Фрунзе умел подбирать своих помощников. С Фрунзе не задремлешь — он разбередит твоё нутро, мобилизует каждую пружинку твоей мысли, воли, энергии, вскинет бодро на ноги, заставит сердце твое биться и мысль твою страдать так, как бьется сердце и мучится мысль у него самого. Кто с Фрунзе работал, тот помнит и знает, с какой мукой и с

какой неистовой радостью он всего себя, целиком, до последнего отдавал — и мысль, и чувство, энергию — в такие решающие дни.

Крепко сжат был для удара по Колчаку железный кулак Красной Армии. Фронт почувствовал дыхание свежей силы. Вздрогнул фронт в надежде, в неожиданной радости. Вдруг и неведомо как перестроились смятенные мысли, полки остановились, замерли в трепетном ожидании перемен.

И вот наступили последние дни: Фрунзе повел полки в наступление».

Переправа через Белую началась ночью.

Первой неслышно погрузилась на зыбкие, скользкие плоты передовая рота Иваново-Вознесенского полка. Перед рассветом весь полк был уже на том берегу. Цепями залегли бойцы в ожидании приказа об атаке, о штурме вражеских окопов. Переправой руководил сам Чапаев. За ивановцами переправлялись Пугачевский, Разинский и Домашкинские полки.

Николай Хлебников со своими артиллеристами ждал приказа начдива открыть оружейный огонь, расчистить дорогу наступающей пехоте.

— Огонь!..

Беспрерывными залпами загремели орудия.

Колчаковцы рванулись из окопов. Тогда поднялся Ивановский полк и двинулся вперед. Артиллерия перенесла огонь по дальней линии, по отступающему противнику.

Пугачевцы шли берегом по реке, огибая крутой дугой неприятельский фланг.

Ивановцы стремительно, без остановки гнали перед собой вражескую цепь и ворвались в прибрежный поселок Нижние Турбаслы.

Здесь остановились. Зарываться дальше было опасно. Надо было ждать подхода других полков. Чапаев быстро стягивал бойцов на том берегу. Он был вездесущ.

Фурманов находился в бригаде Потапова, у железнодорожного моста. Беседовал с бойцами, готовил их к бою.

Началась переправа. На лодках, на плотках, на бревнах плыли бойцы. Впереди на маленьком плотике Фурманов с винтовкой в руках. Рядом на плоту — командир Интернационального полка. Разорвался вражеский снаряд. Плот разнесло в куски. Под неприятельским огнем Фурманов первым соскочил на землю. За ним бойцы. Тут же ложились и Окапывались.

Когда переправилось несколько батальонов, Фурманов поднялся во весь рост:

— Вперед за мной! Ура!

Бойцы бросились за комиссаром в атаку, на штурм вражеских окопов.

Вскоре удалось переправить и четыре броневика. Но они застряли в зыбких колеях, в рыхлом песке побережья. Отброшенные вверх, к городу, колчаковцы пришли в себя и двинулись в контратаку. Выло уже семь часов утра. В четырехчасовом бою иванововознесенцы расстреляли весь запас патронов.

— Ни шагу назад, — кричали командиры, — помнить бойцам: надеяться не на что — сзади река, в резерве только... штык.

Но вражеская контратака развивалась. Ивановцы не выдержали (патронов все не было) и попятились назад.

— Принять атаку в штыки! Нет переправ через реку. Ложись до команды. Жди патронов!..

Враги почувствовали растерянность в рядах чапаевцев.

И в этот момент подскакали всадники, спрыгнули с коней, вбежали в цепь.

— Товарищи! Везут патроны... Вперед, товарищи, вперед!.. Ур-ра!

Ближние узнали и крикнули дальним:

— Фрунзе в цепи! Фрунзе в цепи...

Вмиг все изменилось. Рванулись вперед чапаевцы, в лихом штыковом бою опрокинули и погнали врагов. Бежавший рядом с Фрунзе начальник политотдела армии Тронин упал, раненный в грудь пулей.

Фрунзе продолжал бежать вперед, подбодряя бойцов. Вражеская контратака была сломлена. Ивановны продолжали наступление. Берегом уже гнали повозки с патронами. Ползком, волоча ящики по траве, доставляли их к цепям.

Фрунзе сделал свое дело. Он оставил ивановцев и поспешил к другому полку, к пугачевцам, с которыми шел Фурманов.

Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разницы и домашкинцы — в центре, иванововознесенцы — на левом фланге.

Наступление развивалось. Но колчаковцы бросили в бой свои основные силы. Появились в воздухе даже вражеские аэропланы.

Фрунзе хотел снова броситься в схватку. Но Фурманов уговорил его вернуться к переправе и ускорить переброску подкрепления — полков другой дивизии.

Фрунзе помчался к переправе. Вдруг грохнуло над головой, и он вместе с конем ударился оземь. Коня убило наповал. Фрунзе жестоко контузило осколком авиабомбы. С трудом уговорили его отправиться на тот берег. Но и оттуда он продолжал руководить войсками.

Известие о том, что командарм контужен, всколыхнуло бойцов. Атаки следовали одна за другой. На берегу, на переправе, командовал Чапаев. Он был связан с Фрунзе, Фурмановым, Кутяковым, командирами полков, с тылами дивизии.

Много неприятностей принесли вражеские самолеты. Вскоре артиллеристы заставили их скрыться. Но одной из последних пулеметных очередей с аэроплана (и надо же было такому случиться!..) был ранен сам Чапаев. Пуля попала ему в голову, застряла в кости. Тут же на поле боя его оперировали (он не хотел уходить), попытались вынуть пулю, она шесть раз срывалась. Чапаев молча переносил боль. Охватили всю голову тугой белоснежной перевязкой. Сквозь бинты все время сочилась кровь.

Прискакал Фурманов. Настоял на том, чтобы Чапаева увезли в Авдонь, в госпиталь, верстах в двенадцати от Уфы.

Командование дивизией принял Иван Кутяков. Ему помогал Фурманов, появлявшийся в самых опасных местах, ни на миг не покидавший поле боя.

И вот уже орудия Хлебникова подошли к Иваново-Вознесенскому полку и при новом вражеском натиске открыли огонь. С новой силой пошли в атаку бойцы.

Ничего не помогло колчаковцам — ни аэропланы, ни взрыв заминированного моста, ни контратака отборного офицерского каппелевского полка, о которой перебежчик, рабочий уфимского завода, предупредил чалаевцев. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике «непобедимые» каппелевцы (их разгром впоследствии увековечили братья Васильевы в фильме «Чапаев» в сцене психической атаки).

После двухдневного сражения чапаевцы вступили в Уфу.

Прежде всего к тюрьме. Освободить заключенных. И в ту же ночь, когда усталые бойцы дивизии расположились на отдых (об организации этого отдыха тоже позаботился комиссар), Фурманов собирает подпольную уфимскую организацию, членов партии, освобожденных из тюрьмы, помогает организовать Советскую власть. Лучшие здания, освобожденные от белогвардейских штабов, комиссар отдает под детские дома. (Кстати сказать, воспитанником одного такого уфимского детдома оказался впоследствии славный герой Отечественной войны Александр Матросов.)

На другой день Фурманов объезжает полки, поздравляет с победой, рассказывает о событиях на других фронтах, о новых задачах.

«Как только освободили заключенных, всюду расставлены были караулы, по городу — патрули, на окраины — несменяемые посты. Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов — это ведь вошла Красная Армия, скованная дисциплиной (сколько сил положил комиссар на укрепление этой дисциплины! — А. И), пропитанная сознанием революционного долга. В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений — одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе.

Пришла делегация от еврейской социалистической партии и поведала те ужасы, которые за время колчаковщины вынесло здесь еврейское население, издевательствам и репрессиям не было границ, в тюрьму сажали без всяких причин. Ударить, избить еврея на улице какой-нибудь золотопогонный негодяй считал и лучшим и безнаказанным удовольствием... В тот же день еврейская молодежь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной Армии...»

...Вечером Анна Никитична уже ставит спектакль. Сама она и *режиссер* спектакля, и сценарист, и актриса. Зал переполнен бойцами и жителями города. Вступительное слово говорит комиссар В середине его речи вспыхивают аплодисменты. В зале среди бойцов появляется Василий Иванович Чапаев. Голова его вся в белых бинтах. А глаза горят по-молодому, по-чапаевски.

«Сбежал из госпиталя», — понимающе усмехается Фурманов, но не может сразу обнять друга и попенять ему за «бегство» от врачей. Надо кончать речь. Надо начинать спектакль.

Отдых чапаенцев длился недолго. Приказ Фрунзе: двинуться на Уральск, освободить блокированных казаками бойцов 22-й дивизии, комиссаром которой был старый ивановец, друг Фурманова Андреев.

Фурманов и его помощники — комиссары и политруки — рассказывали бойцам о том, как героически держится в осаде уральский гарнизон, приковывая и себе значительные белоказачьи части. Связь уральцев с основными силами Красной Армии поддерживалась только самолетами. Еще 16 июня Фрунзе получил посланную «вне всякой очереди» телеграмму от В. И. Ленина.

«Прошу передать уральским товарищам мой горячий привет героям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска, просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель. Геройское дело защиты Уральска

увенчается успехом»^[11].

Весть о том, что на помощь Уральску движутся непобедимые чапаевцы, вызвала панику в стане врагов.

Однако бои еще были и жестокие и кровопролитные. Не выдержав натиска чапаенцев, белогвардейцы поспешно отошли. Кольцо блокады было разорвано. Население Уральска, изголодавшееся, измученное, восторженно встретило своих освободителей.

Фурманов и Андреев крепко обнялись и расцеловались. Чапаев и Фурманов провели военный парад, организовали многочисленные митинги.

11 июля Фрунзе телеграфировал Ленину в Москву:

«Сегодня в 12 часов снята блокада с Уральска. Наши части вошли в город».

8 августа очерк о снятии осады Уральска был опубликован в газете «Рабочий край». Под ним стояла подпись: «Военный комиссар 25-й дивизии Дмитрий Фурманов».

Связи со своим городом, с земляками и их газетой Фурманов не терял никогда.

В Уральске произошла и новая, досадная размолвка между командиром и комиссаром, которая могла из-за вспыльчивости Чапаева кончиться трагически, и быстро завершилась миром благодаря выдержке и спокойствию комиссара.

Впоследствии Фурманов со свойственным ему юмором, посмеиваясь, рассказывал об этой сцене.

У Чапаева занедужил любимый конь. Врачи никак не могли вылечить его. Начдив вызвал из полка земляка своего, коновала. Тому удалось спасти коня. Тогда благодарный Чапаев предложил проэкзаменовать его и выдать диплом — удостоверение врача.

Ветеринарный врач дивизии и его комиссар отказались сделать это. Чапаев рассвирепел. Схватился за кобуру. Ветеринары обратились за помощью к Фурманову. За ними прибежал и начдив. Увидев, что Фурманов поддерживает ветеринаров, Чапаев в бешенстве стал кричать:

— И ты с ними заодно! Кто хозяин дивизии? Тут паршивый щенок будет распоряжаться. И ты тут тоже будешь командовать. Все вы сволочи, интеллигенты!.. Сейчас же марш на экзамен!.. — Выхватил револьвер.

Фурманов спокойно (хотя внутри уже тоже кипел) взял его за руку. Невозможность комиссара немного охладила начдива.

— Ты же задумал невозможное дело.

— А я ставлю вопрос о том, что я командир и я имею право давать распоряжения, а не ты.

— Этого вопроса нам не разрешить. Давай пошлем Михаилу Васильевичу телеграмму о нашем споре.

Имя Фрунзе всегда действовало на Чапаева.

— Ладно, пиши...

Фурманов сел писать, заранее уверенный, что телеграмма не будет послана. У Фрунзе достаточно важных дел и без этого смехотворного конфликта.

К начдиву подошла присутствовавшая при споре Анна Никитична, заговорила о каких-то своих «театральных» делах. Чапаев успокоился.

— Ну, я окончил, — сказал Фурманов. — Пошлем, что ли?..

— Нет, не надо пока...

Через пять минут за мирной чашкой чая Фурманов окончательно убедил начдива в его неправоте.

...Предстояли новые походы и новые жаркие бои. Надо было окончательно разгромить противника, отступавшего на Гурьев.

И опять бок о бок скакали начдив и комиссар.

Выступая из Уральска, они еще не знали, что это их последний совместный поход, что близится нежданная разлука, что недалеко уже трагическая гибель Чапаева.

13 июля постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны М. В. Фрунзе был назначен командующим Восточным фронтом.

30 июля Фурманов получает телеграмму от члена Реввоенсовета южной группы Восточного фронта П. И. Баранова, в которой его отзывают в распоряжение Реввоенсовета южной группы. На его место комиссаром 25-й дивизии назначен его старый друг, тоже ивановец, Павел Степанович Батулин.

И Чапаев и Фурманов были глубоко огорчены. Дружба их окрепла, всякие мелкие конфликты не могли уже повлиять на нее. Фурманов крепко сросся с дивизией, понимал немалую роль свою в ней. И Чапаев и Фурманов сознавали, как трудно будет сжиться Василию Ивановичу с новым комиссаром, каким бы тот ни был хорошим и чутким человеком.

Чапаев послал телеграмму с просьбой не отзывать Фурманова. Но Реввоенсовет не стал отменять своего приказа. Фрунзе уже решил поручить Фурманову другую, более важную, более сложную и более ответственную работу.

3 и 4 августа Фурманов проводит дивизионную партийную конференцию, прощается с дивизией, дает последние советы.

5 августа Фурманов в последний раз подписывает совместно с Чапаевым боевой приказ о продолжении наступления Чапаевской дивизии

на Лбищенск — Сахарную.

Собираясь в путь-дорогу, Фурманов делает последние записи в дневнике. На последних страницах очередной дневниковой книжки:

«Я начал писать эту книгу два месяца назад в Уфе, кончаю ее в Уральске. Много событий произошло за это время, много походов, много вынесено боев.

...Я уезжаю. Со мной уезжает и Ная... Оба оставляем дивизию с чувством сожаления и тихой грусти. Свыклись, слюбились, сработались... От сердца отрывается живой кусок. Куда-то дальше бросит судьба? Где что будем работать? Чапай повесил голову и вчера целый день не был у меня ни разу...»

Через день Фурмановы уезжают в Самару. Самые тяжелые минуты — минуты прощания с Чапаевым. Хотя и не знают еще оба друга, что это прощание навсегда.

— Прощай, Митяй, — сказал Чапаев (в первый раз он назвал его так, как называли самые близкие люди), — во многих боях мы с тобой были, много горя мы вместе видели. Полюбил я тебя крепко и жаль расставаться. Спасибо тебе за все. Многому ты меня научил.

Друзья горячо расцеловались. На глазах у Чапаева (у Чапаева!) выступили слезы.

15 августа Михаил Васильевич Фрунзе назначен командующим войсками вновь созданного Туркестанского фронта. Туркестанскому фронту переданы армии южной группы войск Восточного фронта и войска, расположенные в Туркестане.

Штаб и политуправление фронта временно размещаются в Самаре.

На первых порах Дмитрий Фурманов назначается заместителем начальника политуправления Туркфронта.

«Теперь дают мне ответственный крупный пост заведовать политической работой в трех армиях, целым Туркестанским фронтом..»

Целый фронт. Десятки дивизий. Насколько все это сложнее одной Чапаевской. Надо изучить новую обстановку, новых людей. А у него еще, в сущности, таи мало военного опыта.

«Ужели не оправдаю своего назначения?..» И опять Михаил Васильевич Фрунзе ободрил его. Он даже сказал, что выдвигает его в начальники политуправления.

Эго, конечно, ответственно и почетно. («На новом посту буду строг к себе. Все, что есть, отдам работе, не затаю ничего!») Но Фурманов с первых дней начинает скучать по непосредственно боевой, оперативной работе, к которой он так уже привык, скучать по Чапаеву, по боевым

соратникам. А здесь пока — штабная работа, кабинеты, бумаги.

В один из дождливых сентябрьских вечеров он пишет письмо Чапаеву: «Здравствуй, дорогой Чапаев. Ты едва ли поверишь тому, как я скучаю по дивизии. Усадили меня помощником заведующего политотделом Туркестанского фронта — ну, сижу и работаю. Правда, работа широкая, почетная, сразу приходится думать о трех армиях, но не по сердцу мне эта работа, не дает мне полного удовлетворения. Душа-то у меня молчит и не радуется. Бывало, летаем с тобой по фронту, как птицы; дух занимает, жить хочется, хочется думать живее, работать отчаянней, кипеть, кипеть и не умолкать. А теперь все притихло, Уж не слышу орудийного грохота, не вижу дорогих мне командиров и политических работников — замазанных в грязи, усталых, нервно издерганных... Мне нестерпимо хочется снова на позицию... Анна Никитична все хворает, бедняга. У нее развилось малокровие и сильные головные боли. Часто мы вспоминаем родную дивизию, вспоминаем тебя, наши частые ссоры, нашу тесную дружбу.

Прощай, Василий Иванович. Привет Петруше. Буду ждать, что напишешь».

Но Василию Ивановичу не пришлось ни получить это письмо, ни ответить комиссару. 5 сентября в Лбищенске трагически погибли В. И. Чапаев, П. С. Батурин и многие друзья и соратники комиссара Фурманова.

7 сентября в кабинет начальника политуправления вошел, нет, не вошел, а ворвался взволнованный политработник.

— Товарищи, с Двадцать пятой дивизией неблагополучно. Казаки вырубili весь штаб.

— Как вырубili? — вскочил Фурманов.

— Точных сведений нет. Ночью наскочили на Лбищенск, застали всех врасплох и порубили. Недостаточная бдительность...

— А Чапаев, Чапаев где? — закричал Фурманов.

— С Чапаевым тоже неладно. Будто бы оставили его, отступая, смертельно раненного. Будто бы...

Но Фурманов не слушал дальше. Оттолкнув «гонца», он бросился к Фрунзе. Но ни Михаил Васильевич, ни работники Ревсовета не знали никаких подробностей.

Начальник штаба Федор Новицкий успокоил Фурманова. Есть данные, что Чапаев, раненый, дополз до своих и эвакуирован в Уральск. А между тем в местной газете появилось уже сообщение о гибели Чапаева и статья «Погиб Чапаев, да здравствуют «чапаевцы».

Фурманов немедленно послал опровержение. Он не хотел верить в

смерть друга. Но вечером известие о гибели Чапаева подтвердилось. Чапаев погиб в реке Урале, пытаясь переплыть, будучи дважды тяжело ранен. Комиссар Батулин отстреливался из пулемета до последнего патрона и был изрублен в куски. Погибли лучшие, ближайšie друзья, и среди них верный чапаевский ординарец Петя Исаев. Каждый час приходили все более страшные вести. Фурманов рвался туда, в дивизию. Но Фрунзе не пустил комиссара. Он уже был назначен начальником Политуправления фронта, и его ждали неотложные дела. Случилось так, что как раз в эти дни приехал в Самару, проездом на фронт, любимый, младший брат Сергей.

Они сидели поздним вечером втроем, с Наей и Сергеем. Вспоминали о друге и горевали. Да разве можно было сразу охватить мыслью всю горечь этой утраты!

Записями о гибели Чапаева начал в ту ночь Фурманов новую тетрадь своего дневника.

«Я был потрясен этим известием... Думаю разом обо всех, за всех жутко и больно, всех жалко, но из всех выступает одна фигура, самая дорогая, самая близкая — Чапаев... Истинный герой, чистый, благородный человек. Ну давно ли оставил я тебя, Чапаев? Верить не хочется, что тебя больше нет...»

В эти тревожные, суматошные дни все время возникал перед ним образ друга. Он старался заглушить тоску работой. Вместе с Наей они проводили на фронт меньшего, Серегу. А бессонными ночами он опять писал о Чапаеве.

«Все эти дни, как только узнал я про катастрофу в родной дивизии, сердце ноет, словно сжали его клещами и давят, давят безжалостно. О чем бы я ни думал — встанет вдруг любимый образ Чапая, и все мысли поблещут перед этим дорогим образом... Если бы он был жив (а в это все еще хочется верить. — А. И.), мы слышали б несомненно, но вести как раз все скверные: утонул в Урале, убит, пропал, переправляясь через Урал...»

Постепенно вся история страшной лбищенской катастрофы была установлена окончательно.

И в воображении Фурманова встает Чапаев в последние минуты его жизни, в те минуты, когда и он сам мог быть рядом со своим другом.

«Путей отступления у наших стрелков не было совершенно: с трех сторон казаки, а позади бурный, широкий Урал под крутым трехсаженным обрывом. Застыв над обрывом, они молча, сбившись друг к другу, ожидали неизбежно идущую, верную смерть. В это время Чапай был ранен в руку и в щеку: у него по одежде и по лицу струилась кровь, он держал в одной руке винтовку, в другой револьвер, чтобы в последний момент не дать

живым в руки и пустить себе пулю в лоб. Он был прекрасен в своем мужественном терпении и спокойствии. Уже много бойцов свалилось в Урал, пораженные неприятельскими пулями, многие кинулись сами в бурные волны Урала, желая достигнуть противоположного берега, но редко кому удавалось переплыть быструю реку, и почти все пловцы погибли в волнах. На обрыве остался один Чапай... Больше Чапая никто не видел. Может быть, он тоже упал в бурные волны Урала, сраженный казацкой пулей, а может быть, сам угодил себе в сердце... Никто не знает, никто дальше не видел героя, благородного бойца Чапая. Казаки поставили на берегу Урала пулеметы и били по тем, которые пытались переплыть к другому берегу. Может быть, и Чапай кинулся в воду — измученный, израненный, ослабевший. Может быть, утонул в изнеможении, а может быть, и в волнах добила его меткая вражеская пуля...»

Он еще не думал тогда, комиссар Фурманов, что запись эта станет ядром для главы, завершающей книгу «Чапаев».

Но нельзя было уже ограничиваться лирическими записями в дневнике. И комиссар Фурманов, начальник Политуправления фронта, пишет статью «Как погибли товарищи Чапаев и Батулин» для ивановского «Рабочего края» и страстную листовку о Чапаеве для Красной Армии.

В листовке он подробно рассказывает о боевом пути Чапаева.

«Нет больше замечательного командира, нет больше легендарного героя, который водил свои полки и никогда не знал отступления. Красная Армия никогда не забудет твоих подвигов, дорогой Чапай. Ты блестящей звездой войдешь в историю гражданской войны».

Листовку читали в дивизиях, бригадах, полках, батальонах и ротах.

С особым волнением слушали слова, написанные бывшим своим комиссаром о бывшем начдиве бойцы Чапаевской дивизии, которую возглавил славный комбриг, помощник Чапая во всех боевых делах его, Иван Семенович Кутяков.

7 октября — в день годовщины взятия Красной Армией Самары — был организован «день Чапая».

На многочисленных митингах шли рассказы о подвигах его.' В Самаре на большом митинге выступил Фурманов.

Слушали комиссара, что называется, не переводя дыхания.

Об одном только не рассказал Дмитрий Фурманов — какой сложный путь прошла его дружба с Чапаевым и какую роль сыграл он, комиссар и представитель партии, в становлении самого Чапая и в закалке всего коллектива чапаевцев.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ДОКЛАД ЛЕНИНА.

ТУРКЕСТАН.

СЕМИРЕЧЬЕ. МЯТЕЖ

29

Теперь внимание Фурманова целиком переключается к Туркестану, к Туркестанскому фронту. Человек необычайно целеустремленный, он собирает все материалы о Туркестане, о быте населяющих его народностей, об его экономике, истории, советском строительстве.

Он вспоминает о том, как еще в Иваново-Вознесенске, перед отъездом на фронт, перед решающими боями с колчаковцами, мечтал Михаил Васильевич Фрунзе «откупорить оренбургскую пробку», открыть дорогу к хлопку Туркестана, чтобы двинулись эшелоны сырья к родному Иванову, чтобы опять задымили трубы знаменитых ивановских ткацких фабрик.

«И когда мы потом очутились на фронте, — вспоминал Фурманов, — казалось: самая острая мысль, самое светлое желание Фрунзе устремлены были именно к Туркестану. Лишь только «откупорили оренбургскую пробку», Фрунзе сам помчал в Ташкент, и с какой он гордостью, с какой радостью сообщил всем тогда о первых хлопковых эшелонах, двинувшихся на север; видно, в этот момент осуществилась лучшая, желаннейшая его мечта...»

К отъезду из Самары в Ташкент готовится и сам Фурманов Назначенный начальником Политического управления Туркестанского фронта, он концентрирует в своих руках всю работу по формированию кадров политработников для Туркестана, ведет, как сам он замечает в дневнике, «дирижерскую» работу «Это как раз та работа, которая мне наиболее свойственна: дать мысль, дать толчок, пробудить к работе спящих и дремлющих, указать им маяк и пути к этому маяку».

Однако он не оставляет и любимой журналистской работы, посылает

статьи на родину в «Рабочий край», печатается даже в «Правде» (статья «Прозрели» — 19 октября 1919 года). Тепло встречает в Самаре молодого писателя Бориса Лавренева, назначает его преподавателем на фронтовых курсах агитаторов, урывает какие-то минуты и для дневника и даже для стихов.

«Какой-то необычайной теплотой повеяло на меня от комиссара, — рассказывал мне впоследствии Лавренев, уже прославленный автор «Разлома», — теплотой и чуткостью. А энергия была в нем неиссякаемым ключом...»

Радостным для Дмитрия Андреевича был кратковременный приезд в Самару матери. Много дней, насыщенных, боевых, прошло со времени их последней встречи. Сколько надо было рассказать друг другу!

На красноармейской конференции самарского гарнизона Туркестанского фронта Фурманов избирают делегатом на VII Всероссийский съезд Советов. Одновременно партийные организации резервных воинских частей Туркестана командируют его на VIII Всероссийскую конференцию РКП(б).

В начале декабря 1919 года Дмитрий Фурманов в Москве. С волнением входит он в зал VIII Всероссийской конференции партии, конференции, которой руководит Ленин!

Как всегда, он не выпускает из рук своей записной книжки. Но разве можно передать словами те чувства, когда впервые совсем близко (военные делегаты сидели в первых рядах) он увидел Владимира Ильича, впервые услышал спокойные, уверенные слова его.

В политическом докладе ЦК Ленин говорил о победе над Колчаком, о неизбежности этой победы. *«Исторически побеждает тот класс, который может вести за собой массу населения...»*^[12]

Ленин говорил об опыте «самой тяжелой, самой кровавой борьбы, которая требовала жертв во сто раз больше, чем та или другая политическая борьба, — этот опыт по отношению к Колчаку показал, что мы осуществляем господство того самого класса, большинство которого умеем вести за собой, присоединяя к себе в друзья и союзники крестьянство...»^[13]

И как приятно было сознавать, что и ты, Дмитрий Фурманов, принимал активное участие в этой борьбе, отдал ей все свои силы.

Он нашел глазами в президиуме Михаила Васильевича Фрунзе. И ему показалось, что Фрунзе тоже смотрит на него.

Ленин не любил громких фраз. Он ставил перед всеми большевиками

конкретные задачи будущей борьбы, будущего труда. Он говорил о том, что большевикам обеспечена поддержка народных масс. «Мы будем продолжать все глубже и глубже черпать из этой среды, и мы можем сказать, что в конце концов победим всех наших противников. И в области мирного строительства, которое мы развернем после победы над Деникиным настоящим образом, мы сделаем еще гораздо более чудес, чем сделали за эти два года в области военной»^[14].

Сделаем, товарищ Ленин, обязательно сделаем. Как жаль, что этих слов не слышит, не сидит рядом с нами Василий Иванович Чапаев...

А потом, через несколько дней, он опять слышит Ленина — доклад о деятельности ВЦИК и Совнаркома на VII Всероссийском съезде Советов. Все делегаты съезда встали и приветствовали своего вождя, когда он появился на трибуне. Оркестр трижды сыграл «Интернационал», и Ленин долго не мог начать своего доклада.

И опять Ленин говорил о победах над белыми генералами и о трудностях грядущей борьбы с мировым империализмом. И о задачах мирного — да, мирного! — строительства. Бесконечно расширялись горизонты Панорама всемирной борьбы раскрывалась перед Фурмановым. И он ясно ощущал место свое в этой борьбе.

«Теперь мы можем сказать, — говорил Ленин, — на основании тяжелых испытаний войны, что в основном, в отношении военном и международном, мы оказались победителями. Перед нами открывается дорога мирного строительства. Нужно, конечно, помнить, что враг нас подкарауливает на каждом шагу и сделает еще массу попыток скинуть нас всеми путями, какие только смогут оказаться у него: насилием, обманом, подкупом, заговорами и т. д. Наша задача — весь тот опыт, который мы приобрели в военном деле, направить теперь на разрешение основных вопросов мирного строительства Я назову эти главные вопросы Прежде всего это — *вопрос о продовольствии, вопрос о хлебе.*»^[15]

И опять с непреклонной уверенностью повторил он то, о чем говорил на партийной конференции.

«На основании опыта, который мы приобрели, мы можем ручаться, что в этом деле мирного строительства мы в ближайшие годы сотворим несравненно большие чудеса, чем мы совершили за эти два года победоносной войны против всемирно-могущественной Антанты»^[16].

В этом месте Фурманов не выдержал, вскочил, заплодировал. Вскочили и многие делегаты в разных местах зала. И скоро весь съезд рукоплескал своему вождю, выражая этим и свою признательность и

высшее свое доверие.

— Смотрел я на тебя, Митяй, — усмехаясь, сказал ему в кулуарах Фрунзе, — и думал, что ты все руки свои обобьешь. Того и гляди выскочишь на трибуну...

— А вы, а вы, Михаил Васильевич! Разве вы в президиуме не показывали нам пример?

Московские дни были днями непрерывных заседаний. На I Всероссийском съезде политработников Фурманов уже делился с другими комиссарами опытом своей политработы и у них набирался уму-разуму.

Работа была напряженная, поглощавшая и дни и ночи. Но Фурманов не чувствовал усталости. Он даже записал в один из ночных часов.

«В сущности говоря, вся эта поездка в Москву, оба съезда — все это было своеобразным отдыхом, ибо отдых ведь заключается не в непременном ничегонеделании, — он еще заключается в перемене обстановки и лиц, с которыми имеешь дело. Целый месяц я нахожусь в новой обстановке и с новыми лицами — это меня подбодрило и укрепило весьма значительно... Милая Ная совершенно правильно говорит, что мне необходимо дать поотдохнуть глазам, ибо они начали краснеть, как у кролика...»

Анна Никитична была в эти дни с ним, в Москве И они находили время для посещения памятных мест, галерей и музеев, экскурсии на Воробьевы горы.

Однажды проходили мимо старого университета. Зашли во двор. Постояли у памятников Герцену и Огареву. И Митяю взгрустнулось.

Ведь он мечтал когда-то о науке, добротной, основательной... Оборвались его мечты!

Поделился мыслями своими с Наей. Мало у него, в сущности, настоящих знаний... Да, еще не пришло время. Поняли, как всегда, друг друга. Вот «поутихнет», тогда опять сюда, в университет, ведь обстановка в нем не такая уже косная, как была в те годы. И дух другой, свободный. И профессора должны быть другие.

На обратном пути Фрунзе разрешил Фурманову навестить ивановские края.

Всего год минул с тех пор, как оставил он родной свой город. Но этот год стоил целой жизни. Было о чем рассказать землякам.

Выступал он и на партийных собраниях, и на митинге, и в цехах. Рассказывал и о прошедших съездах, о Ленине, и о том, как брали ивановцы Уфу, и как воевали они в Чапаевской дивизии, и как погибла Маруся Рябинина.

И вновь в дорогу...

Мелькают за окном вагона леса и перелески. И на тряском вагонном столике делает Фурманов свои записи.

Он пишет о той работе, которую «могут выполнять лишь подлинные революционеры, которым ничто нипочем: сегодня его выпустили из тюрьмы, а завтра он уже снова за работой, и в любой обстановке, при любых условиях этот подлинный революционер останется самим собою! (Не таким ли всегда был его учитель, Фрунзе?..) Таков ли я — черновой ли, трудовой ли, революционер или только поэт революции, только пламенный глашатай и зовун, но не работник, не черновик?! Это подтвердить и опровергнуть может только жизнь, вся борьба, вся огромная масса случайностей, опасностей, испытаний. Выдержу — буду революционером, не выдержу — окажусь типичным теоретиком-интеллигентом, на настоящую безмерно трудную, черную работу совершенно непригодным».

Раздумывая о всей жизни своей, он подводит итоги:

«Жизнь стала проще, работа стала отчетливее и прямее, без хитросплетений, без обходов, без высокопарностей. Красивая эпоха, красивые дни!..»

В Самаре Михаил Васильевич Фрунзе долго расспрашивает Фурманова об Иванове, интересуется мельчайшими подробностями жизни ивановских рабочих, мыслями их, настроениями. А потом, точно захлопнув книгу воспоминаний, сразу переходит к новым задачам.

Впереди Туркестан. Далекый, сложный, неизведанный Туркестан. Страна хлопка. Достал из ящика стола номер газеты «Туркестанский коммунист», показал Фурманову всю подчеркнутую красным карандашом статью — обращение Ленина к коммунистам Туркестана: «Товарищи! Позвольте мне обратиться к вам не в качестве Председателя Совнаркома и Совета Оборона, а в качестве члена партии. Установление правильных отношений с народами Туркестана имеет теперь для Российской Социалистической Федеративной Советской Республики значение, без преувеличения можно сказать, гигантское, всемирно-историческое...»^[17]

— Письмо это не случайно, — сказал Фрунзе, — не все в Туркестане складывается благополучно. Были у нас там и большие ошибки. Надо их исправлять. Ленин придает этому значение чрезвычайное. Видишь: «всемирно-историческое значение». Сколько важнейших теоретических

мыслей в этом коротком обращении! Видишь: «приложить все усилия к тому, чтобы на примере, делом, установить товарищеские отношения к народам Туркестана, — доказать им делами искренность нашего желания искоренить все следы империализма великорусского для борьбы беззаветной с империализмом всемирным и с британским во главе его...»^[18] Борьбы беззаветной...

..Новый, двадцатый год встретили весело. Вспомнили о прошлом. Говорили о будущем. И трудности, которые в этом будущем предстояли, казалось, только прибавляли новые силы и энергию. Пели... Конечно же, пели. И любимые песни Фрунзе и любимые чапаевские.

На следующий день Фурманов уже выступил с большим докладом о внутреннем и международном положении на конференции беспартийных красноармейцев. А еще через несколько дней опубликовал в самарской газете «Коммуна» статью «К ликвидации Уральского фронта».

«Высокий духовный облик Фурманова, — вспоминает Лидия Августовна Отмар-Штейн, бывшая тогда совсем юной работницей Политуправления, — прекрасно воплощался во всей его внешности. Внутренний огонь, сверкающий в его темных глазах, готов был в любую минуту прорваться наружу, но в то же время в его глазах, где-то в глубине, светились задумчивость и грусть. Чуть выщипанные волосы оттеняли высокий лоб, тонкие губы волевого рта придавали лицу выражение силы, но это выражение не было подавляющим...

Черный, военного покроя френч хорошо сидел на стройной, крепкой фигуре. Фурманов был необыкновенно аккуратным человеком. Неряшливость в работе, в одежде никому никогда не прощалась. В период напряженных дней военного мятежа (о нем речь будет впереди. — А. И.), когда «смерть стучала нам по вискам», когда проводились ночи без сна, Фурманов, как всегда, был подтянут и каждый ремешок в его костюме сидел на своем месте... Всегда, всегда его интересовали люди, никогда он не был равнодушно-холодным и безучастным к людям, с которыми работал или сталкивался...»

Наконец штаб Туркестанского фронта во главе с Фрунзе и аппарат Политуправления во главе с Фурмановым начал погрузку на поезд.

«Что нас ждет в этом загадочном, знойном Туркестане?» Сам Владимир Ильич следил за их «путешествием».

Фрунзе телеграфировал Ленину: «6 февраля прибыли в Актюбинск. Условия передвижения неописуемы. Поезд два раза терпел крушение. Дорога в ужасном состоянии. Начиная от Оренбурга все буквально замерзает. На топливо разрушаются станционные постройки, вагоны и

прочее. Бедствия усиливаются свирепствующими буранами и заносами. Кроме воинских частей, работать некому, а части раздеты и разуты».

В часы долгих, вынужденных остановок Фурманов обходил вагоны, подбадривал уставших.

Лидия Августовна Отмар-Штейн вспоминает, что не раз приходил он в вагон сотрудников Политуправления.

«По вечерам, при блеклом свете фонарей, собирались мы вокруг Дмитрия Андреевича — и лилась песня. Запевал всегда Фурманов. Как любил он петь! Румянец вспыхивал на лице, глаза блестели. Русский человек во всем, он страстно, всей душой любил русские народные и революционные песни. Поглядывая на жену, говорил:

— Ная, споем!

И они начинали тихо, выбирая для начала какую-нибудь старинную песню, а кончали бурно, обязательно боевой, вроде: «Смело мы в бой пойдем...»

Эмба... Аральское море. Казалинск. Перовск. Бесконечные степи. Камыш. Степной ковыль. Ворота Туркестана. Знойная жара на смену оренбургским и актюбинским холодам.

Ташкент.

В огромный Туркестанский край в то время входили нынешние среднеазиатские республики. По размерам он намного превосходил Европу.

В Средней Азии еще продолжалась гражданская война. На окраинах зверствовали банды белоказаков и басмачей. Вели свою черную работу многочисленные агенты иностранных разведок, большие и маленькие лоуренсы, пробиравшиеся через иранскую и афганскую границы. Они восстанавливали христиан против мусульман, разжигали ненависть узбеков, казахов, киргизов против русских. Большую роль играли многочисленные муллы и баи, не желавшие примириться с потерей земель и богатств своих и организовывавшие всевозможные заговоры против Советской власти.

Национальный вопрос здесь был основным.

— Будем жить, как на вулкане, — сказал Дмитрий Андреевич Нае.

Он сразу понял, что задачи Политуправления фронта значительно выходят за пределы непосредственной работы в воинских частях. Нужно было налаживать здесь всю жизнь.

В очерке «В стране хлопка», который он, по традиции, послал в ивановскую газету, Фурманов писал:

«...Всюду, разумеется, орудует ловкая рука английского империалиста. В большинстве случаев эта работа совершенно не маскируется, идет на виду у целого белого света... Английский империалистический лев, почуяв грозную опасность, затревожился, оскалил зубы, выпустив хищные когти. Маски сброшены, борьба на востоке разгорается в открытую — схватились в мертвой схватке два духа: дух империалистический и дух Советской Республики».

Особенно тревожно было в Семиреченской области, граничившей с Китаем. Совсем недавно здесь были разгромлены Красной Армией белогвардейские отряды генералов Анненкова и Дутова. Остатки белых банд бежали в Китай и, скитаясь в пограничных районах, совершали частые набеги в Семиречье. Между тем сюда из Китая возвращались и тысячи местных жителей, казахов, киргизов, дунган, эмигрировавших в Северный Китай после поражения восстания 1916 года, жестоко подавленного царскими карателями. В свое время земли их были захвачены кулаками. Теперь кулаки распространяли слухи, что Советская власть отнимает землю у всех русских крестьян, чтобы передать ее беженцам. Это сеяло национальную рознь. Баи и муллы, подстрекаемые англо-американскими агентами, призывали киргизов и казахов требовать выселения из Семиречья русских.

Кулаки саботировали проведение в жизнь декрета о земле, открыто выступили против хлебной монополии, стремясь задушить революцию голодом.

Коммунистам Семиречья пришлось вести большую разъяснительную работу по интернациональному сплочению трудящихся Киргизии и Казахстана.

Важность Семиречья как военно-стратегической базы, его близость к Индии и Китаю, откуда через Киргизию шли кратчайшие пути в Ферганскую долину и в Ташкент, природные богатства края объясняли стремление белогвардейцев, а также английских, американских и японских интервентов захватить Семиречье. Особенно большую активность здесь проявляли английские империалисты. Англичане оказывали всемерную финансовую и военную помощь контрреволюционным силам Семиречья, наводняя край своими шпионами, организуя антисоветские заговоры и мятежи, раздувая пламя гражданской войны.

Еще 2 марта 1920 года, приняв Туркестанский фронт, М. В. Фрунзе обратился с призывом к семиреченским казакам, ко всем, кому дороги

интересы трудящихся, в ком живо чувство правды и справедливости, кто хочет помочь социалистической Родине выйти на путь возрождения и благополучия, прийти на помощь Советской власти.

В целях укрепления частей семиреченского фронта Фрунзе в начале марта издал приказ: «Изъять из рядов войск всех шкурников, трусов, негодяев, разлагающих части и срывающих наступление».

Пополнение красноармейских частей коммунистами, усиление политической и воспитательной работы способствовали укреплению семиреченских частей Красной Армии и успешному разгрому противника.

В Семиречье находилась 3-я Туркестанская стрелковая дивизия Красной Армии. Она состояла главным образом из местного населения — зажиточных крестьян. Основное их стремление было — теперь, после освобождения области от белых — считать свою миссию законченной, разойтись по домам. Провокаторы раздували среди красноармейцев национальную рознь.

И вот в таких сложных условиях Реввоенсовет Туркестанского фронта решает послать в Семиречье группу твердых и решительных коммунистов, чтобы возглавить борьбу с многочисленными врагами Советской власти, поставить на должную высоту политическую работу в армии, ликвидировать опасные анархистские настроения, поднять дисциплину. Они должны были успокоить местное население, наладить нормальную жизнь всего огромного, многонационального края.

По предложению командующего фронтом Реввоенсовет выносит постановление о назначении Дмитрия Фурманова «полномочным представителем» Реввоенсовета Туркфронта в Семиречье. Обязанности начальника Политуправления Туркфронта возлагаются на Валерьяна Владимировича Куйбышева.

О положении в Семиречье, о посылке туда Фурманова и об оказанном ему высоком доверии Фрунзе докладывает на собрании ответственных партийных работников фронта. 15 марта Фурманов получает специальный мандат за подписью В. В. Куйбышева.

Одновременно Исполбюро краевого комитета Коммунистической партии Туркестана уполномочивает Фурманова контролировать все партийные организации Семиреченской области.

Предстоит новый путь: Ташкент — Верный (ныне Алма-Ата). От Ташкента до Верного — 900 километров.

С Фурмановым едут ближайшие друзья и соратники — Анна Никитична, Алексей Колосов (будущий писатель-правдист), Иона Тимофеевич Никитченко (будущий генерал-майор юстиции и заместитель

главного обвинителя на Нюрнбергском процессе фашистских преступников), Лидия Августовна Отмар-Штейн.

«Теперь мы мчимся в глухую даль, — записал Фурманов, — на огромную, трудную, но благородную работу. Настроение у всех молодецкое: твердое, спокойное, веселое... Мы едем тесной семьей, удивительной семьей. Эта спаянность дает возможность надеяться на то, что и в глухом Семиречье мы сумеем создать мощное ядро, которое сделается рано или поздно руководящим».

6 апреля фурмановский «караван» прибыл в Верный. В тот же вечер Фурманов выступил на заседании IV Верненского съезда Советов с докладом о текущем моменте.

Несмотря на усталость, всю эту первую ночь в Верном он бодрствовал. Думал о предстоящей работе, написал от имени Советской власти обращение и к переселенцам из России, к крестьянам Чуйской долины, и к киргизам, казахам, уйгурам, дунганам, узбекам, призывая их к дружбе, к общей братской работе.

Обращаясь к крестьянам Чуйской долины, он давал им обещание от имени партии превратить эту суровую, пустынную долину в долину богатых нив и садов, сделать их жизнь и жизнь их детей светлой и счастливой.

В доме, где размещалось управление уполномоченного Реввоенсовета Туркестанского фронта, работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Диапазон этой работы очень широк. В орбиту внимания Фурманова входит вся жизнь Семиречья. Хлопководство, животноводство, посев яровых, партийная работа, просвещение, вопросы национальных взаимоотношений. Теперь он уже не только военный комиссар, он государственный деятель. Организует всевозможные конференции, особенное внимание уделяет возвращающимся из Китая беженцам-киргизам.

Как всегда, детально изучает людей. По старой привычке записывает в дневник свои впечатления, характеристики.

В центре внимания Фурманова борьба с великодержавным шовинизмом и с буржуазным национализмом. В редкие свободные минуты он читает и перечитывает труды Ленина. Национальный вопрос в нынешних условиях Семиречья это основное, самое важное. Он пишет

статью «Национальная болезнь»: «Мы не хотим национальной вражды и национальной розни, ибо в нашей розни и наша могила. Мы боремся за братство всех угнетенных, за общую дружную борьбу с капитализмом, за свободный труд, за счастливую жизнь...»

Между тем деятельность националистов — врагов Советской власти — активизируется. Близкие друзья Фурманова чувствуют, как он, внешне спокойный и невозмутимый, становится все тревожнее с каждым днем. («Тревога — тревога — тревога... Ох, какая близкая, жуткая, ощутимая тревога», — так напишет он впоследствии в «Мятеже», рассказывая об этих днях.)

Враги пытаются противодействовать всей работе Фурманова, стараются восстановить против него население, готовят заговор. Сведения об этом заговоре доходят и до Фурманова. В центре заговора националист Рыскулов — бай и скотовладелец. Правой рукой Рыскулова является Тиракул Джиназаков — человек хитрый и лицемерный. Сын богатого бая, он сумел примазаться к органам Советской власти и даже возглавил особую комиссию ЦИК Туркестана по устройству беженцев, возвращающихся на родину из Китая.

Используя тяжелое материальное положение беженцев (сразу удовлетворить землей всех было невозможно), Джиназаков тайно подстрекал их к выступлению против Советской власти.

Фурманов записал в дневник свой:

«Джиназаков определенный подлец и уголовный преступник. За уголовные дела он был уже арестован и сидел..

Джиназаков — это не простой смертный, а манап. Именитый, богатый манап. Его отец где-то в Аулие-Атинском уезде до сих пор имеет огромные табуны коней, исчисляемые несколькими сотнями голов. Тиракул Джиназаков, раздавая киргизам деньги ТурЦИКа, собственно говоря, о Советской власти совершенно не заикается, он раздает их как Джиназаков, как манап...»

Фурманову становится известно, что люди Джиназакова (созданное им мусульманское бюро) собирают оружие, готовят покушения на видных советских работников.

Между тем, удачно маскируясь, Джиназаков, штаб-квартира которого находится в Токмаке, пользуется поддержкой некоторых товарищей из ревкома и даже председателя ревкома Юсупова.

Фурманов создает Особую комиссию для расследования деятельности Джиназакова. К работе этой привлекаются и начальник находящейся в Семиречье 3-й Туркестанской дивизии Белов и начальник особого отдела

Кушин. В полной мобилизационной готовности все ближайшие сотрудники Фурманова — и Никитченко, и Алексей Колосов, и Муратов, и Лидия Отмар-Штейн.

«Настроение у всех... повышенное. Переживания напоминали октябрьские дни, когда мы по ночам, в душевной комнате, изображая собою Штаб Октябрьского переворота, были все время настороже, держали наготове взведенные револьверы и срочно разрабатывали планы дальнейшей борьбы».

Медлить нельзя ни минуты. Представители Особой комиссии выезжают в Пишпек (ныне город Фрунзе, столица Киргизской ССР).

Отдается приказ об аресте Джиназакова. Но на воле остаются многочисленные его сообщники. В гарнизоне распускаются различные провокационные слухи. Расклеиваются погромные воззвания. «Положение невероятно запутанное и грозное, — пишет Фурманов — Как будто приближается какое-то неминуемое событие..» Сохранившие еще власть в своих руках заговорщики выпускают на волю заключенных белых офицеров Кое-где возникают самосуды.

Особый отдел и Ревтрибунал получают угрожающие письма. Фурманов записывает: «За нами установлена слежка джиназаковцев, и черт их знает, что они предполагают относительно нас...»

Сотрудники Фурманова вооружаются. В спешном порядке создается коммунистическая рота, усиливается караульный батальон, ожидается прибытие кавалерийского полка.

Все силы прилагает Фурманов, чтобы конфликты решить мирным путем. Он настойчиво и спокойно продолжает вести свою многостороннюю работу среди населения Семиречья, пишет воззвания, читает лекции, регулярно выступает со статьями на страницах верненской «Правды». Особое внимание уделяет работе среди мусульман, открывает для них специальные курсы, создает для политработников курсы по изучению тюркского языка, курсы, на которых усердно занимается и сам.

1 Мая во всем Семиречье проводится трудовой субботник. В телеграмме Реввоенсовету Туркфронта Фурманов сообщает, что субботник прошел «с крупным подъемом и огромным успехом».

3 мая Фурманов издает приказ о засевах участков земель, принадлежащих семьям красноармейцев.

Создает чрезвычайную комиссию для борьбы с эпидемией тифа.

Выступает с речью о текущем моменте на областной конференции профсоюзов.

Пишет обращение-листовку к крестьянам Чуйской долины.

Организует партийную школу и сам выступает с первой лекцией. (Начальником партийной школы был назначен Алексей Колосов, одним из главных его помощников Георгий Седых.)

Партшкольцы особенно любили слушать Фурманова. Бывало так, что вместо академического часа (45 минут) он читал без перерыва по два и по три часа. Партшкола эта сыграла потом немалую роль в ликвидации мятежа.

Разве можно перечислить все мероприятия, которые проводит Фурманов в сложной и тревожной обстановке в течение одного только месяца — мая?

А в часы досуга Фурманов и его друзья выезжали в горы. Все заботы оставались в Верном. Здесь, в горах, дышал он полной грудью. Ощущение истинной красоты этой дикой природы, лирическое восприятие этого необычного для него мира не покидало его долгие месяцы. Он ведь был не только комиссаром, он был поэтом.

...Но заговорщики и мятежники не дремлют. Оживляются контрреволюционные банды басмачей. С каждым днем тревожнее становится обстановка в Верном.

Дмитрий Фурманов назначается военным комиссаром 3-й Туркестанской дивизии.

Реввоенсовет Туркестанского фронта приказывает перебросить несколько семиреченских полков в Фергану — на борьбу с многочисленными бандами басмачей.

Под влиянием изменников и провокаторов сводный батальон 27-го стрелкового полка, прибывший из Джаркента, отказывается выступить на фронт.

11 июля в здании Советского театра происходило бурное собрание верненского гарнизона. На собрании присутствовали все ответственные работники города и области. Зал театра был переполнен. Докладчик о текущем моменте — Фурманов.

Присутствовали в зале и заговорщики. Но, чувствуя общую неблагоприятную атмосферу, никто из них не решился ни прервать Фурманова, ни выступить против него.

Собрание закончилось в 11 часов ночи. А сразу после полуночи мятежники вышли из казарм и заняли верненскую крепость. Сюда стали стекаться и все недовольные Советской властью, обманутые провокаторами красноармейцы, кулаки из окрестных селений. Гарнизон мятежной крепости доходит уже до пяти тысяч человек.

Утром 12 июня начальник дивизии Белов и комиссар Фурманов

вызвали из партшколы Георгия Седых, приказали выделить пятерых самых надежных партшкольцев и послать их в крепость без оружия. Эта «секретная» пятерка должна была непрерывно информировать командование дивизии о положении в мятежной крепости и настроениях ее гарнизона.

— Смотри, товарищ Седых, — сказал Фурманов, — от правильной информации будет зависеть многое.

Для официальных переговоров с мятежниками в крепость были посланы областной военный комиссар, член ТурЦИКа Шегабутдинов, его заместитель Муратов и помощник начальника продснабжения Ефимов.

Мятежники сочли комиссию неавторитетной и арестовали ее. (Потом Шегабутдинов был освобожден).

Вскоре, после согласования с Михаилом Васильевичем Фрунзе (разговор с ним по прямому проводу очень поднял настроение Фурманова и его друзей), в крепость была направлена вся партийная школа, чтобы вести среди обманутых красноармейцев агитацию и пропаганду с целью разложения мятежного гарнизона.

— Надо так построить свою работу в мятежной крепости, — напутствовали партшкольцев Белов и Фурманов, — чтобы обманутая масса красноармейцев поняла, что она пошла не по правильному пути, что этот путь может привести к никому не нужным кровавым столкновениям.

— Мы вас посылаем в крепость, — сказал Фурманов, выступая перед строем партшкольцев, — не для пополнения их силы, а чтобы разъяснить обманутым красноармейцам, что руководители, затеявшие мятеж, преследуют не защиту интересов Советской власти, а личные местнические и кулацкие интересы, что руководители мятежа затеяли опасную игру. Эта игра может открыть новый семиреченский фронт, который и без этого за два с лишним года осточертел каждому красноармейцу.

Вы можете сказать о том, что командующий войсками Туркестанского фронта М. В. Фрунзе, урожденный семирек, для подавления мятежа направил сильный бронеполк, который через два дня будет в Верном. Для этой же цели идет Четвертый кавалерийский полк. Но командование дивизии хочет ликвидировать мятеж мирным путем.

Курсанты школы вошли в крепость якобы в распоряжение руководителей мятежа Петрова и Караваева.

Во всех дальнейших событиях в крепости верные Советской власти фурмановские воспитанники сыграли очень важную роль.

Партийная школа превратилась в дружный коллектив агитаторов. Они

влились в бурлящую массу мятежников, и часто им удавалось направить толпу против контрреволюционных вожаков.

Курсантам помогали армейские коммунисты и комсомольцы.

Между тем до прихода помощи, обещанной Фрунзе, в самом городе сил, верных Белову и Фурманову, почти не осталось. Однако ни на минуту не возникло мысли об отступлении, о каких-либо попытках спасти только собственную жизнь. Мятеж мог разрастись, превратиться действительно в новый, внутренний фронт.

Надо было вступить с мятежниками в переговоры, затянуть их до прихода подкреплений. Надо было прекратить мятеж, избежав кровопролития. В этом была основная задача Фурманова. Вторая задача — выполнить приказ Фрунзе о переброске частей в Фергану для борьбы с басмачами.

Но все это было необычайно трудно. Горсточка верных людей, истинных коммунистов — против многочисленной толпы, спровоцированной изменниками.

Два десятка коммунистов во главе с Фурмановым и Беловым (партшкольцы были уже в крепости) поклялись не покидать своих боевых постов, отдать все силы для усмирения мятежа.

Мятежники создали свой боевой совет, в который вошли главари восстания Караваев, Петров и Чеусов.

Начались переговоры с боевым советом. Они длились семь дней и семь ночей. Мятежники потребовали прислать в крепость делегатов для переговоров.

Несмотря на всю опасность, связанную с такой поездкой «прямо во вражеское логово», поехать в крепость решил сам Фурманов.

Он глубоко верил в силу большевистского слова. Верил в то, что ему удастся убедить в своей правоте эту пеструю, увлеченную кулацкими вожаками массу, удастся расколоть и успокоить ее Фрунзе, думал он, тоже поступил бы так.

Вместе с Фурмановым в крепость поехали начдив Белов, Мамелюк и Позднышев.

Вожак боевого совета хотели вести переговоры в узком кругу. Они хорошо знали Фурманова и боялись возможности воздействия его на массы.

Но красноармейцы (тут сказались уже влияние рассредоточенных по всей крепости курсантов партшколы) потребовали созвать митинг. На большой крепостной двор выкачена была большая телега. И Фурманов, окруженный врагами — членами боевого совета, взобрался на эту импровизированную трибуну. В такой обстановке он еще не выступал

никогда. Перед ним была тысячная толпа, вооруженная, многоликая, в большинстве своем враждебная (по крайней мере в эти первые минуты).

Активисты — мятежники из боевого совета — всячески пытались мешать выступлению комиссара, спровоцировать его на резкость и угрозы.

Но ни злостные выкрики, ни насмешливые, грубые, оскорбительные возгласы не могли помешать Фурманову сказать то, что он хотел, сказать спокойно, ясно, по-большевистски убедительно. Он знал, комиссар Фурманов, что перед ним и многие ярые противники Советской власти, пострадавшие от карательной политики революционных органов, и бежавшие или выпущенные из тюрьмы сторонники белогвардейца Анненкова, рассчитывающие на помощь атамана, и темные, чем-нибудь несправедливо обиженные крестьяне окрестных сел, и честные, не разбирающиеся в политике, обманутые «вожаками» солдаты.

«У каждого свой зуб против советской власти, — писал он впоследствии в романе «Мятеж», — кто за то, что от дома против воли на фронт отлучают, кто за разверстку, кто отомстить трибуналу охотится или особому, кого не обули вовремя, кому помешали хапнуть, кому сам строй не люб новый — словом, всяк сверлит свое...»

И не было одного ключа к взбудораженным сердцам их, и для каждого из них надо было найти свое слово убеждения, не обманывая их, не хитря и не лицемеря.

Нельзя лучше самого Фурманова передать его состояние в этот самый сложный час его жизни.

Он рассказал о нем через четыре года в романе «Мятеж».

«Как ее взять в руки, мятежную толпу?.. Прежде всего перед лицом мятежного собрания надо выйти как сильному: и думать, мол, не думайте, что к вам сюда пришли несчастные и одинокие, покинутые, кругом побитые, беспомощные представители жалкого военсовета, — пришли с повинной головой, оробевшие... К вам пришли делегаты от высшей власти областной, от военсовета, у которого за спиной — сила, который вовсе не дрогнул и пришел сюда к вам не как слуга или проситель, а как учитель, как власть имеющий... Словом, — выступать надо твердо, уверенно, как сильному и без малейших уступок, колебаний. Это первое: твердо и не сдаваясь в основном.

А второе — не выпускать ни на одно мгновение из-под пытливого взора всю толпу, разом ее наблюдая со всех сторон и во всех проявлениях: говорить — говори, но и слушай чутко разные выкрики, возгласы одобрения или недовольства, моментально учти, отражают ли они мнение большинства или только беспомощные попытки одиночек. Если

большинство — ту же натягивай вожжи; если одиночки — парализуй их вначале, спрысни ядовитой желчью, выключи им глаза, вырви язык, обезвредь, ослепи, обезглавь, разберись в этом вмиг и, поняв новое состояние толпы, живо равняйся по этому ее состоянию — то ли грозовеющему, то ли опавшему, смягченному, теряющему — чем дальше, тем больше — первоначальную свою остроту. А как только учтешь, поймешь — будь в действии гибок, как пантера, чуток, как мышь.

Если нарастает, вот она, близится гроза, чуешь ты ее жаркое близкое дыханье, — зажми крепко сердце, жалом мысли прокладывай путь — не по широкой дороге битвы, а окольными, чуть приметными тропками мелких схваток, ловких поворотов, неожиданных скачков, глубоких, острых повреждений, иди — как над ревущими волнами ходят по зыбкому, дрожащему мостику, остерегайся, озирайся, стремись видеть враз кругом: пусть видит голова, пусть видит сердце, весь организм пусть видит и понимает, потому что кратки эти переходные мгновения и в краткости смертельно опасны. Кто их не понимает, кто в них не владыка — тот гибнет неизбежно. Когда же минуешь страшную полосу, когда чуть задумаются бешеные волны нарастающего гнева толпы, задумаются, приостановятся и глухо гудящей, тяжелой зыбью попятятся назад, смело уходи с потаенных защитных троп, выходи на широкую большую дорогу.

...Твой верный, твердый шаг должен командой отдаваться в сердце намагниченной толпы, твое нужное острое слово должно просверлить толстую кору мозгов и сделать там свою работу. Так надо разом: будь в этих грозных испытаниях и непоколебимо крепок, подобно граниту, и гибок, и мягок, и тих, как котенок...

...Какой бы то ни был мастер — никогда не возьмешь на узду толпу чужими ей делами, интересами, нуждами.

Глянь на лица, всем в глаза, улови нужные слова, учуй по движениям, пойми непременно и то, как передать, как сказать этой толпе слова свои и мысли — так сказать, чтобы дошли они к ней, проникли в сердцевину, как в мозг кинжал. Если в тон не попал — пропало дело: слова в пространство умчатся, как птицы. В каждую толпу только те вонзай слова, которых она ждет, которые единственны, незаменимы. Других не надо. Другие — для другого времени и места, для другой толпы.

...Когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведено и все — безуспешно, — сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего, сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу — значит надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно!

Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза.

Умереть по-собачьи, с визгом, трепетом и мольбами — вредно.

Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — и в мозгах и в сердце, не жалея, что много растратишь энергии, — это ведь твоя последняя мобилизация! Умри хорошо...

Больше нечего сказать. Все».

Какая цельная, психологически убедительная программа... И пусть это было написано через четыре года после того жаркого летнего дня на крепостном дворе, он целиком выполнял эту программу на деле, когда в пучине разгневанной стихии излагал ясные и точные ответы, ответы не лично свои, а командующего фронтом Фрунзе, ответы не лично свои, а всей Советской власти, на волновавшие толпу вопросы. Ответы Ленина. Когда говорил о продрозверстке, о необходимости окончить войну, а для этого разделаться с басмачами, когда призывал вспомнить прошлые славные дни борьбы с беляками.

— Кто сказал, что вы против Советской власти? Как можете против Советской власти идти вы, красные бойцы, чьими трупами усеяны и чьею политы кровью Копальско-Лепсинские горы и равнины?! Это подлая ложь, что вы враги Советской власти. Вы ее истинные друзья, потому что она создана на костях ваших братьев, славных героев, отдавших жизнь за нее...

Он говорил уже второй час. И постепенно затихала толпа. И не было уже слышно ни выкрика, ни злого слова. И одобрительно уже покачивали головами многие красноармейцы, слушая своего комиссара. И начинали аплодировать курсанты, и их дружно поддерживали в разных концах крепостной площади. Дружными аплодисментами встретили сообщение об освобождении Красной Армией столицы Украины Киева.

Вожаки мятежа поняли, что Фурманов побеждает. И тогда, прерывая оратора, выскочил на телегу член крепостного совета Вуйчич.

— Срочно прекратить митинг. Фурманов — обманщик. Показались киргизские роты, вооруженные пулеметами. На крепость идут броневики.

Всколыхнулась толпа, подчиняясь десяткам команд, сжимая в руках оружие, бросилась к воротам.

Караваев вскочил на коня и помчался за ворота во главе кавалерийского эскадрона.

Митинг был сорван.

Фурманова и его друзей окружили главари, повели их в помещение боевого совета.

— Ошибка оказалась, — зло ухмыльнулся член боевого совета Вуйчич. — Ложная тревога. Никого нет. Полный порядок. А вы, товарищи

комиссары, по требованию красноармейцев арестованы.

Темными коридорами их провели к мрачному подземному каземату и толкнули в узкую, полутемную, зарешеченную камеру.

В камере уже сидело человек двенадцать заключенных ранее. Фурманов и его друзья молча вошли, молча сели. Каждый был погружен в свои думы. Ожидать теперь можно было самого худшего. Шутка ли, очутиться в руках спровоцированной мятежниками, озлобленной пятитысячной толпы.

Но Фурманов собрал всю силу воли, успокоил товарищей, придвинулся к окошку, снял сапоги, примостился и стал обдумывать создавшееся положение. За окнами шумела толпа. Как всегда, вынул из кармана неизменную записную книжку, огрызок карандаша. Вкривь и вкось стал записывать свои мысли. Вдвоем с дневником думалось лучше. Хотел записать все именно *теперь*, в такой сложный и опасный момент своей жизни.

«Что нас ожидает? Может быть, расстрел. Да, это очень допустимо... Хотя я не верю тому, чтобы масса была согласна с нашим арестом, — она просто ничего не знает. Когда я... услышал приказ о своем аресте — внутри что-то дрогнуло. словно оторвалось и упало. Через секунду я уже владел собой и был внешне совершенно спокоен, только сердце сжималось И ныло глухой, отдаленной болью. Теперь, в заключении, оно тоже ноет, и каждую минуту я жду чего-нибудь особенного. Зашумит ли толпа за окном, торкнется ли кто в дверь или Вдруг застучит затворами — я настораживаюсь и жду. Чего жду — не знаю, кажется, вызова по фамилии-выведут, расстреляют и — баста...»

Становилось совсем темно. Карандаш плохо писал, попытался отскоблить древесину ногтем, прислушался к шуму на дворе.

«Мне думается, что умереть я сумею спокойно и твердо. Но теплится в душе и надежда Завтра придет 4-й кавполк... Враги — это Чеусовы, Петровы, Караваевы, а не те красноармейцы, которые так жадно слушали мою речь!.. Нет, я верю еще и в то, что нас просто выпустят, не тронув, не расстреляв..

А Ная, мой дорогой ангел! Как она будет жить, если меня расстреляют?.. Она и сейчас переживает страшные муки ожидания, она ведь знает хорошо, что меня могут арестовать — арестовать, а потом...

Ну, уходите прочь, черные мысли. Кончаю. И мысль моя ост...» Карандаш сломался, совсем перестал писать... С трудом дописывает обломком графита: «ановилась на любимой Нае. Как это неприятно, что сломался карандаш и как раз в конце и на воспоминании о Нае!..»

У нас сохранилась эта записная книжка Митяя. И последняя страничка. И волнистый след сломавшегося карандаша. И приписка, сделанная позже твердой и уверенной рукой: «писано в тюрьме, в заключении. Через час освободили».

Фурманов не знал, что, прослышав об его аресте, разбросанные по всей крепости партшкольцы провели большую работу среди красноармейцев. Масса нажала на членов боевого совета, потребовала освобождения любимившегося ей комиссара.

...За дверью послышалась возня, шум, перебранка. Упали засовы. Раскрылась тяжелая дверь.

— Здесь Фурманов? — Голос хриплый, пьяный.

Все тело напряглось, окаменело. Неужели конец?..

— Фурманов здесь?

— Здесь.

— Выходи!

— Я босой.

— Все равно — выходи.

Стало ясно. Поведут расстреливать.

— Ведут кончать... Прощайте, ребята!

Сжал руку соседу — Мамелюку. Передал ему последние записи.

— Вот, Анне Никитичне.

— Ну что ты, — сказал Мамелюк, — это, верно, на допрос.

И тут пришло ясное, холодное решение.

— Не пойду. Пусть придет кто-нибудь из штаба, из боевого совета.

Вдруг быстрые шаги по коридору. Кто-то торопится. Кто-то неразличимый еще во тьме входит в камеру.

Поблескивают стекла пенсне. Знакомый, родной голос. Муратов. Друг.

— Ба, Муратов! — радостно кричит Мамелюк.

— Товарищи, выходите на свободу. Выходите спокойно.

За Муратовым несколько красноармейцев-партшкольцев.

Нет времени для расспросов, для объятий... Нет расстрела. Нет смерти.

До чего вкусен воздух свободы!..

И все же Фурманов не сразу ушел из крепости. Он продолжал переговоры с так называемым боевым советом. Позвонил в штаб дивизии, где считали его уже погибшим, и сообщил, что продолжает борьбу.

Оказалось, что штаб уже связался по прямому проводу с командующим, с Фрунзе. Узнав, что Фурманов арестован мятежниками, Фрунзе разрешил начдиву и соратникам его покинуть город и идти

навстречу войскам, подходящим на выручку, поторопить их.

Но коммунисты решили остаться, добиться освобождения комиссара, и Фрунзе согласился с их решением.

По-прежнему желая избежать кровопролития, Фурманов всячески затягивал «переговоры». Нет нужды рассказывать здесь подробно о всех перипетиях этих переговоров. Тем более что они подробно описаны Фурмановым в романе «Мятеж». Фурманов все время держал связь с Ташкентом, с командующим Фрунзе, и тот одобрял его мероприятия. Тем временем курсанты и находящиеся в крепости коммунисты продолжали вести агитацию. Главари мятежа постепенно оказывались все в большей изоляции. Некоторые мятежные части вернулись в свои городские казармы. Вернулись в город для охраны штаба дивизии и партшкольцы.

19 июня в город вошел 4-й кавалерийский полк, встреченный Беловым и Фурмановым в 25 километрах от Верного.

Один эскадрон немедленно занял городские казармы, обезоружил находившийся там мятежный батальон 27-го полка. Другие эскадроны совместно с партшкольцами, командой особого отдела, ротой интернационалистов ночью вошли в крепость, разоружили находившиеся в ней мятежные части, арестовали главарей мятежа, в том числе одного из главных вдохновителей восстания, Караваева.

И казармы и крепость были захвачены без единого выстрела и без единой жертвы.

Так был бескровно ликвидирован мятеж и выполнен приказ партии о переброске семиреченских частей на Ферганский фронт.

Во всех частях прочитана была телеграмма командующего фронтом Михаила Фрунзе, осуждавшая мятежников и вскрывающая корни мятежа.

Командование фронта от лица всех красноармейцев заявляло, что «клеймит позором и негодованием шкурническое, предательское поведение тех частей Н-ской дивизии, которые вместо помощи истекавшим кровью в Фергане братьям пошли по пути подрыва нашей военной мощи в Туркестане. Пусть знают все враги революции и все шкурники и предатели, что рабоче-крестьянская Россия сумеет быстро подавить всякие происки против нее. Изменники Советской власти не укроются нигде, и всюду их настигнет карающая рука революционного правосудия. По-видимому, голос благоразумия и чувство долга одержали вверх, и части Верненского гарнизона... вернулись на путь революционного порядка. Как командующий фронтом, отвечающий перед Россией за военное положение всего фронта, приказываю: I. Начдиву-3 потребовать выполнения всех без

исключения отданных мною приказов о боевых передвижениях частей. II. От частей Верненского гарнизона потребовать полного прекращения всякого митингования и выражения готовности загладить свой проступок дальнейшим честным служением Советской власти. III. Военному совету дивизии расследовать все происшедшее и материалы представить в Реввоенсовет фронта».

И как бы ответом на эту телеграмму Фрунзе служил приказ Военного совета 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, подписанный Фурмановым 20 июня 1920 года. Приказ, посвященный ликвидации мятежа.

«Гарнизон города Верного сознал свою ошибку в деле выступления 12 июня сего года, поняв, что никакая власть не может быть создана на местах самочинным порядком и что каждая власть является незаконной, случайной и преступной, если она не утверждена центральными властями и предполагает свои действия проводить вне законов, утвержденных центром.

Ныне город Верный занят полками Красной Армии, твердо стоящими на защите Советской власти. Взбунтовавшаяся часть гарнизона обезоружена, и лица, введшие часть красноармейцев в заблуждение, предаются суду военного времени.

С провокаторами, хулиганами и контрреволюционерами будет поступлено самым беспощадным образом, а обманутой части гарнизона разъясняется их тяжелое заблуждение...

Военный совет дивизии объявляет всем о своей беспощадной борьбе с провокацией и хулиганством и еще раз подтверждает свою военную диктатуру...

Председатель Военного совета
Дм. Фурманов».

Поздним вечером 20 июня Фурманов говорил по прямому проводу с Ташкентом, с Валерьяном Владимировичем Куйбышевым.

— Пользуюсь случаем заявить, — сказал ему Куйбышев от своего имени и от имени Фрунзе, — что ваша и Белова работа встречена Реввоенсоветом одобрением, и за все время событий мы с удовольствием наблюдали вашу энергию и такт.

(Выступая позднее на заседании коммунистической фракции пленума ТурЦИК, В. В. Куйбышев отметил: «Фурманов был все время... в раскаленной атмосфере. Он смело входил в толпу разъяренного казачества... был атакован кулацкой толпой и был случайно спасен...»)

А ночью, опять склонившись над дневником своим, Фурманов пишет стихи: «Здесь в чужой и суровой стране», пишет обращение к казахам,

уйгурам, дунганам и узбекам с призывом крепить дружбу народов, пишет о тех друзьях и соратниках своих и Белова, которые разделили с ним все опасности и сыграли столь важную роль в подавлении мятежа. О Позднышеве, Мамелюке, Шегабутдинове, Бочарове, Кравчуке, Альтшуллере, о Муратове и Никитченко, о славных партшкольцах, которыми руководили Алексей Колосов и Георгий Седых.

«Кулачье семиреченское притихло, убедившись, как трудно бороться с Советской властью, как дорого обходятся попытки свалить ее с ног».

25 июля Фурманов написал обстоятельный доклад «О верненском мятеже» 31 июля он выступил с полуторачасовой речью на Чрезвычайной выездной сессии Революционного трибунала Туркфронта и три с половиной часа отвечал на вопросы. Речь Фурманова была полностью опубликована в верненской «Правде».

Через три года Фурманов опубликовал в журнале «Пролетарская революция» большую статью «Мятеж в Верном 12–19 июня 1920 года», в которой рассказал подробно и о причинах мятежа и о тактике возглавлявшихся им коммунистов.

А через четыре года писатель Фурманов написал роман «Мятеж».

Еще один этап сложной и бурной жизни Дмитрия Фурманова был пройден. Еще один «университет» был закончен.

Фрунзе вызвал Фурманова в Ташкент.

Расставаясь с товарищами, которые оставались в Верном, Фурманов обещал никогда не забывать их. Расставание с начдивом Иваном Беловым было так же тяжело, как когда-то прощание с Чапаевым.

Друзья-семиреки вручили ему прощальное письмо, проникнутое истинной любовью и дружбой.

«Дорогой товарищ Фурманов, мы, пережившие с вами последние верненские события, работавшие с вами в Семиречье рука об руку, считаем необходимым выразить вам наше товарищеское спасибо за все то, что вы сделали для нас, националов Семиречья... Выразить вам, как неоценимому советскому работнику и честнейшему коммунисту, нашу товарищескую признательность за всю вашу работу, за счастье бедноты Семиречья и торжество справедливости Советской власти»...

8 августа Фурманов прибыл в Ташкент. В тот же день состоялась встреча его с Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Разговор их сердечный длился долго. Иваново. Чапаевская дивизия. Семиречье. Было о чем вспомнить, о чем рассказать друг другу.

Фурманов давно уже (еще до Семиречья) просил о переброске на

Кавказ, в места, хорошо знакомые ему по дням первой мировой войны. Думал он о работе в печати и о воплощении в жизнь никогда не покидавшей его мечты о литературном творчестве.

Он и в дневнике записал:

«Было огромное желание поработать на поприще литературном. Там, на Кавказе, возможно, буду работать в газете. Все мне советуют обратить побольше внимания на свой литературный дар и принять все меры к его развитию и выявлению вовне. Да я и сам так думаю. Теперь я поглощен обдумыванием месяц тому назад задуманной пьесы под названием «Коммунисты». Общие контуры мне уже ясны, герои налицо, направление и смысл продуманы, внешнюю декоративную сторону также представляю: в форму надо влить содержание. К этому еще не приступил. Итак, я должен работать в области творчества, об этом думаю все последнее время...»

Михаилу Васильевичу Фрунзе не хотелось расставаться с Фурмановым. Он предлагал ему принять снова руководство Политуправлением Туркестанского фронта, рассказывал о предстоящих больших событиях в Бухаре. Но Фурманову удалось убедить своего старшего друга.

Фурманов был откомандирован в распоряжение Реввоенсовета 9-й армии, стоящей на Кубани, в городе Екатеринодаре.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

КУБАНЬ. ЕПИФАН КОВТЮХ.

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ. ЗАКАВКАЗЬЕ

33

Однако не пришла еще пора для Фурманова заняться вплотную литературным трудом.

Приехав в Екатеринодар, он немедленно явился в Реввоенсовет армии. Членом Реввоенсовета оказался старый знакомый, председатель Кубанского ревкома Ян Васильевич Полуян. Он хорошо знал о боевых делах Фурманова, сердечно принял его и с первых же слов перешел к делу. Оказывается, Фурманова здесь уже ждали, и ему предстояло немедленно включиться в особо важную боевую операцию.

Укрывшиеся в Крыму после разгрома деникинской армии контрреволюционные банды, объединенные под командованием барона Врангеля, стали развивать большую активность. 14 августа на побережье Азовского моря в районе Приморско-Ах-тырской станицы был высажен крымский десант под командой генерала Улагая.

Врангель рассчитывал, что появление десанта на Кубани вызовет общее восстание казачества. Но большинство казаков уже твердо стояло за Советскую власть. К белогвардейцам примкнули только скрывающиеся на Кубани остатки деникинских частей и незначительная группа кулацкого казачества. Всего до 15 тысяч человек.

Однако, заняв несколько станиц, продвигаясь к Екатеринодару, улагаевцы бесчинствовали, творили немалые беды, дезорганизуя всю жизнь, мешая труду мирного кубанского населения. Реввоенсовет армии решил в качестве одной из мер по ликвидации улагаевских банд бросить в глубокий тыл Улагая красный десант.

Возглавить всю эту боевую операцию было поручено коменданту Екатеринодара, герою гражданской войны, бывшему командующему знаменитой Таманской армией Епифану Иовичу Ковтюху. Десант должен был направиться по рекам Кубани и Протоке к станице Гривенской, где

находился штаб Улагая, взять эту станицу и отрезать противнику выход к морю. В распоряжении Ковтюха было полторы тысячи стрелков, эскадрон кавалерии, орудия и пулеметы. Маневр Ковтюха должен был сыграть решающую роль в ликвидации улагаевских банд. Успех этой операции зависел от внезапности и скрытности действий. Опасность, конечно, была велика. В случае неудачи враг прижал бы красноармейцев к реке. Отступать было некуда — кругом неприятельские части.

Комиссаром к Ковтюху и был назначен Дмитрий Андреевич Фурманов.

Получив боевой приказ, Епифан Ковтюх приступил к погрузке боевых частей на пароходы и баржи. О Фурманове, о его предшествующем боевом пути, как рассказывал нам впоследствии Епифан Ковтюх, он ничего не знал.

Во время погрузок к нему явился молодой человек в военной форме, сразу расположивший к себе Ковтюха собранностью своей.

— Я Фурманов, — сказал он. И предъявил предписание: «С получением сего приказываю вам явиться в распоряжение начальника гарнизона и отправиться в тыл противника комиссаром десанта».

Командир и комиссар перебросились несколькими словами, сразу же поняли друг друга, а подробно решили поговорить уже в пути. Знакомый в общих чертах с задачей десанта, Фурманов с ходу включился в боевое дело, отправился в части, на пристань.

У пристани стояли три старых парохода: «Илья Пророк» с баржей, «Благодетель» и «Гайдамак» тоже с трюмными баржами. Происходила погрузка продовольствия, кухонь, орудий, снарядов, патронов.

Руководил погрузкой адъютант Ковтюха Яков Емельянович Гладких, человек молодой и горячий.

Через много лет Яков Емельянович рассказывал мне о том, как впервые он увидел нового комиссара, Фурманова. Рассказывал с обычной своей обстоятельностью, с казачьим юмором. Думаю, что небезынтересно здесь воспроизвести этот рассказ.

«Когда грузили лошадей, то одна норовистая никак не шла по трапу с берега на баржу. Ее тащили бойцы чуть ли не на руках.

Я отпустил в адрес хлопцев какое-то острое по тому времени ругательство.

В это мгновенье кто-то положил мне руку на плечо. Я оглянулся. Передо мной стоял выше среднего роста человек, в гимнастерке, перетянутой поясом. Небольшие усики. Карие большие глаза, розовые щеки. Рядом с ним женщина в гимнастерке, с санитарной сумкой через

плечо.

— Ну и ругаетесь же вы отчаянно, молодой человек.

Я смутился. Ведь рядом женщина.

Чтобы как-то справиться со смущением, я, в свою очередь, спросил:

— А как вы, собственно говоря, сюда попали? Это место оцеплено войсками.

Улыбнувшись, незнакомец достал из кармана гимнастерки документ и сказал:

— Я назначен в ваш отряд комиссаром. Моя фамилия Фурманов. А эта вот медсестра, — моя жена. Тоже назначена сюда к вам.

Я почувствовал, что краснею. Фурманов продолжал:

— Вы, пожалуйста, покажите местечко, где бы нам положить вещички. Я вам помогу грузить лошадей.

Во время погрузки Ковтюх находился в штабе 9-й армии у командарма Левандовского. А когда прибыл и заговорил с Фурмановым, то я понял, что они уже виделись. Ковтюх приказал объявить бойцам, что отряд особого назначения по реке Кубани пойдет к линии фронта у станицы Славянской и там получит боевой приказ. Ковтюх представил командирам Дмитрия Андреевича Фурманова и сказал:

— Это тот комиссар, что был комиссаром у Чапаева.

Взошла луна. Первым от пристани отошел «Илья Пророк». За ним «Благодетель» и последним, где находился я, — «Гайдамак».

Дмитрий Андреевич Фурманов перед самым отплытием перешел на «Гайдамака», где его сразу же окружили бойцы и командиры.

Пароходы от пристани отошли с огнями, а за Краснодаром просигналили приказание «Погасить огни». Теперь при лунном свете на реке с интервалами 250–300 метров двигались три темных пятна.

Спустя некоторое время я пошел послушать, про какую «политику» говорит с бойцами наш новый комиссар Фурманов.

На корме парходика, на разостланном сене сидели и лежали бойцы и командиры. А в центре сидел Дмитрий Андреевич и говорил. Я тихонько подсел и вслушался. Каково же было мое удивление, когда вместо «политики» Фурманов рассказывал сюжет оперы «Пиковая дама».

Рассказывал не торопясь и очень выразительно. Бойцы затаив дыхание слушали. А когда Фурманов рассказал финальную сцену в игорном клубе, тут кто-то из бойцов не выдержал:

— Я так и знав, що проклята ведьма вмишаеця. Надо було Герману карты три раза перекрестить...

А усатый артиллерист заметил:

— Так, значить, и графы в очко гралы?
— То есть? — переспросил Дмитрий Андреевич.
— Так як же! Тройка, семерка и туз. Це ж выходить двадцать одно...
Все засмеялись, и с ними Фурманов».

Как только пароходы отчалили, Ковтюх и Фурманов засели в кают-компанию. Командующий десантом подробно посвятил комиссара в план своих действий. Никаких споров у них не возникло. Фурманов интересовался подробностями, задавал немало вопросов. Да и сам о многом рассказал Ковтюху. О Чапаеве. О боевых делах в Семиречье.

Елифан Ковтюх с первого же дня полюбил Фурманова. Он увидел в нем настоящего коммуниста, побывавшего уже в боях, имеющего большой опыт, человека душевного, энергичного и делового.

Стоило только где-нибудь Фурманову появиться, — рассказывал Ковтюх, — поговорить с бойцами, — а говорил он горячо, убедительно, — как такие беседы заканчивались одобрительными приветствиями. Он умел находить тему для разговора, умел находить дорогу к душе каждого человека и производил на всех превосходнейшее впечатление.

Сформированный в течение одного дня десант не имел политического отдела. Фурманов на ходу, в движении, ознакомившись с людьми, сформировал коммунистическую роту и многих товарищей из роты разослал во все подразделения агитаторами, политруками с соответствующими поручениями.

Фурманову, в свою очередь, пришелся по душе Елифан Ковтюх. Чем-то он походил на Чапаева. Но был более сдержан и дисциплинирован. Любовь к Чапаеву никогда не затухала в сердце Фурманова, но и, к Ковтюху за короткие дни совместной работы он привязался крепко и искренне.

Комиссар уже знал о боевой истории Ковтюха, о том, как в 1918–1919 годах он выводил из неприятельского кольца по горам и ущельям свою Таманскую армию. Сейчас не было времени подробно расспрашивать у Ковтюха об этом легендарном походе. Но какие-то детали Фурманов ухитрился записать в свой дневник. Записал и характеристику Ковтюха и портрет его. «Сын небогатого крестьянина из станицы Полтавской, он во время гражданской войны потерял и все то небольшое, что имел: хату белые сожгли дотла, имущество разграбили начисто. Всю революцию Ковтюх — под ружьем. Немало заслуг у него позади. Да вот и теперь: Кубань в опасности, надо кому-то кинуться в самое пекло, пробраться во вражий тыл, надо проделать не только смелую — почти безумную операцию. Кого

же выбрать? Епифана Ковтюха. У него атлетическая, коренастая фигура, широкая грудь. Большие рыжие усы для того лишь и созданы, чтобы он их щипал и крутил, когда обдумывает дело. А в тревожной обстановке он все время полон мыслями. И в эти минуты уже не говорит — командует. Зорки серые светлые глаза; чуток слухом, крепок, силен и ловок Ковтюх. Он из тех, которым суждено остаться в памяти народной полуполюгендарными героями. Вокруг его имени уже складываются были и небылицы, его имя присоединяют красные таманцы ко всяким большим событиям. Стоит Ковтюх на берегу и машинально, сам того не замечая, все дергает и дергает широкий рыжий ус..»

И он гордился, Фурманов, что был назначен комиссаром к такому человеку. Ему положительно повезло в жизни. После Чапаева — Ковтюх.

Он делает наброски, портреты и других героев десанта, соратников Ковтюха. Наброски беглые, скоростные. Все это пригодится ему, когда будет писать свою повесть, которую так и назовет: «Красный десант».

А пока что в полной тишине скользят по реке пароходы и баржи.

Двигаться приходится по узкой, почти несудоходной реке, протекающей среди болот, плавней и камышей. Враг и думать не может, что в глубокий тыл его пробираются красноармейцы.

Соблюдены все предосторожности.

Впереди катер-разведчик. Его задача — прощупать, не минирована ли река.

По обе стороны реки, по прибрежным тропам, движутся разведчики, переодетые в офицерскую форму. Их задача особо ответственна — осматривать всю береговую полосу, снимать по пути без шума и выстрела все вражеские посты и дозоры.

Командир разведки — прекрасно знающий местность, опытный вояка Тихон Кондра.

С разведчиками Фурманов провел особую беседу о бдительности. Рассказал о трагической гибели Чапаева, об особом значении десанта.

Связь с разведкой и Ковтюх и Фурманов держали беспрерывно. А на некоторых этапах движения, в особо опасных местах, Фурманов и сам двигался с разведчиками.

Когда пароходы прошли линию фронта, Фурманов на моторке объехал все суда, побеседовал с бойцами, рассказал о задачах всей проводимой операции.

На рассвете, в густом тумане, высадились неподалеку от станицы Гривенской (Ново-Нижестеблиевской).

Тронулись вперед. Впереди — конные разведчики. С разведчиками

Ковтюх и Фурманов. На плечах у них поблескивают погоны.

Вот уже и окраина станицы. Неожиданно из станицы выезжает группа всадников. Резкий окрик:

— Кто идет?

Ковтюх спокойно отвечает:

— Подполковник Григорьев с разъездом. С кем имею честь?

— Дежурный по гарнизону поручик Федоров.

Почти без звука поручик и его конники были разоружены. Пленных отправили на баржи.

Красноармейцы ворвались в станицу. Захваченные было врасплох белые попытались организовать сопротивление в центре станицы, у церкви. Придя в себя, они перешли в контратаку. Белые части подходили со всех сторон. Численно они значительно превосходили красноармейцев. Против тысячи двухсот человек — около шести тысяч. Положение становилось все более опасным. Красный отряд нес большие потери. Раненых отправляли на баржи. Там в каютах были и перевязочная и операционная. Там трудились фельдшер Стефан Павленко и медсестры Агафья Ковтюх и Анна Фурманова.

Основные силы белогвардейцев были брошены против идущей в авангарде коммунистической роты. На помощь роте бросились Ковтюх и Фурманов с двумя десятками конников. Многие погибли. Фурманов был контужен, но остался в строю. Бросок кавалеристов, личный пример командира и комиссара сыграли свою роль. Подошло подкрепление, и контратака была отбита.

После тяжелого двухсуточного боя улагаевцы были разгромлены. Белогвардейцы разбежались, бросая оружие. Значительная группа противника пыталась перебраться вплавь на левый берег Протоки. Многие утонули, а те, кто достигал левого берега, уничтожались красноармейской засадой, высланной еще до атаки станицы.

К пароходам и баржам, подведенным вплотную к станице, начали подводить пленных и подвозить трофеи. Всего было взято в плен около тысячи пятисот человек. Среди них сорок офицеров и генералов. Попал в плен и весь штаб генерала Улагая во главе с начальником штаба генералом Караваевым. Самого Улагая захватить не удалось, так как он накануне уехал в ставку Врангеля.

Узнав о поражении, нанесенном ему в тылу, противник стал отходить на Ачуев, к морю.

Многие части проходили через Гривенскую, и здесь опять кипели ожесточенные бои.

Особенно жаркие бои, как рассказывал нам впоследствии Яков Емельянович Гладких, завязались у моста через Ерек, у дороги к морю.

Было уже отбито с большими потерями для белых несколько атак. Вдруг по красноармейской цепи прокатился гул: «Броневик! Броневик!»

Из-за поворота улицы к мосту на полном ходу устремился белогвардейский броневик. За ним конница. Несколько красноармейцев, вооруженных гранатами, выбежали из окопов навстречу броневика, залегли на насыпи у самого моста. Лишь только броневик подошел к настилу моста, под колесами его взорвались гранаты. Мотор заглох. Поврежденный броневик ткнулся в перила. К нему бросились наши бойцы. Выбравшиеся из броневика белогвардейцы в комбинезонах были уничтожены. Но тут же наскочила конница.

— Назад! — кричал Ковтюх. — Назад, в окопы!

Командир роты побежал к бойцам, но на полпути упал, сраженный пулей. Тогда к броневикам бросился сам Фурманов. Он возглавил бойцов, отходящих, отстреливаясь, к окопам. Возле упавшего командира роты Фурманов остановился, прилег. С помощью других бойцов он понес тяжело раненного командира в укрытие. Но у самого укрытия Фурманов вдруг упал на левое колено. Поднялся, снова упал. Из укрытия выскочил Ковтюх и внес Фурманова в окоп.

К счастью, ранение Фурманова оказалось легким.

Обычно подтянутых и даже «нарядных» в любых условиях Ковтюха и Фурманова трудно было узнать. В грязи, в земле. Гимнастерки насквозь мокрые от пота. Блестят ожесточенные глаза на почерневших лицах. У Фурманова одна штанина разорвана, одна нога босая. На ней запеклась кровь. И все же он не выходил из строя. Белые безуспешно пытались в нескольких местах прорвать нашу оборону. И всегда на наиболее тяжелых участках появлялись Ковтюх и Фурманов. Атаки белых все усиливались. Но к вечеру ковтюховцы услышали в тылу белых звуки артиллерийской канонады. Подходило подкрепление. Наступали наши главные силы. Теперь уже белые очутились в кольце. Настроение десантников поднялось. С новыми силами ударили на белогвардейцев, пытавшихся соорудить переправу через Ерек. Поспешно бросали они в воду тачанки, подводы, сорванные с хат крыши, металась в поисках отхода к морю.

Вскоре послышалось громкое «ура». Наши войска соединились.

После отдыха в станице состоялся митинг. Ковтюх говорил о доблести бойцов и командиров Фурманов, успевший привести себя в полный порядок, морщась от боли, взобрался на сооруженную из телег трибуну и произнес одну из самых горячих своих речей.

— Еще один замысел контрреволюции сорван, — сказал он. — Мы отомстили за гибель Чапаева. А теперь, станичники, к мирному труду. Он необходим Кубани как воздух.

Ковтюх, как и в свое время Чапаев, высоко оценил своего комиссара, увидев его в бою.

— Фурманов показал образ мужественного комиссара и бойца, личным примером ободряя и воодушевляя красноармейцев, — свидетельствовал Ковтюх. — Я не знал другого комиссара, который так бы умел влиять личным поведением на бойцов. Он глубоко знал психологию масс. Владея большими знаниями, приобретя уже военный опыт, Фурманов во время принятия различных боевых решений давал такие ценные советы, которые значительно сказывались на успешном разрешении задачи.

Операции красного десанта — отряда Ковтюха, однако, не закончились разгромом противника в тылу. Белогвардейцы стремились погрузиться на транспортные суда, стоящие на рейде. Из штаба армии пришел приказ — следовать к поселку Черный Ерек и помочь 26-й бригаде разбить белых у Ачуева, на Азовском море, сорвать погрузку остатков белогвардейщины.

Преследовать белогвардейцев, отступавших с арьергардными боями к морю, было нелегко. Обширная территория, прилегающая к Азовскому морю, покрыта лиманами, болотами, плавнями, зарослями камыша. Открытая местность не позволяла действовать днем. Основная операция у Черного Ерека развернулась ночью.

В поселке наладили мост, перетащили орудия. За поселком река Черный Ерек изгибается вправо, а слева в нее втекает другая речка. Получается что-то вроде якоря. Внутри якоря неприятель расположил своих стрелков, в центре и по краям пулеметчиков. Река глубокая, без бродов, мостов нет. Перебраться невозможно. На реке у дворов — ни одной лодки.

Фурманов собрал рыбаков, провел с ними дружескую беседу так сердечно, как только он мог проводить. Через час на реке уже стояла целая флотилия лодок — байд. Они были просто-напросто спрятаны в зарослях камыша.

Сначала думалось перебросить через реку самый надежный кочубеевский эскадрон. Но осуществить это не удалось. Слишком сильна и бдительна была засада противника. Тогда возник хитроумный замысел. Ночью штурмовая группа с гранатами сосредоточивается для броска. Одно орудие, замаскированное камышами, со снарядами под картечь на руках подается к самому берегу для стрельбы прямой наводкой по вражеским пулеметам. Эту операцию надо совершить, конечно, в абсолютной тишине.

Засада белых начеку. Она уже неплохо пристрелялась к береговой линии. Хорошо хоть, что демаскирующую луну изредка прикрывает гряда облаков. Самое важное — точно увязать прибытие пушки к своей огневой позиции с незаметным подходом лодочной флотилии с десантом. Решили сигнализировать, подражая кваканию лягушек. Около часа два десятка бойцов тренировались — квакали по-лягушачьи. Сам Фурманов принимал деятельное участие в этой тренировке. Конечно, не обошлось без шуток и смеха. Фурманов говорил, что лучше целую ночь проквакать по-лягушачьи, нежели отправиться на тот свет.

И вот настала пора. Орудие с подвязанными пучками зеленого камыша беззвучно на руках доставлено к берегу. Вдоль другого берега под тенью обрыва люди по пояс в воде подошли к исходной для броска позиции. И во главе орудийного расчета и во главе штурмового расчета лучшие, опытные командиры Да и сам Ковтюх со своим адъютантом и Фурманов, еще страдающий от ранения и контузии, не выдержали и приняли участие в сложном передвижении пушки. Минуты кажутся часами. Расстояние беспредельные. Орудие уже подошло к намеченной позиции, а «лягушек» все не слышно. Ковтюх уже собирается отправить адъютанта в разведку, как вдруг заквакала лягушка. За ней другая... И вот уже целый хор.

Фурманов усмехнулся, шепнул Ковтюху:

— Первую лягушку узнал — это твой ординарец Мусий. Не лягушка, а целая жаба.

— Наводи! Приготовиться! Огонь! — И вспышка озарила кубанскую ночь, и грохот выстрелов вспорол тишину, и хор лягушек сменился многоголосым «ура».

Вражеская засада была разгромлена. Уцелевшие бежали в панике, оставляя убитых, винтовки, патроны.

Это была еще не последняя схватка с врагом...

Фурманов считал, что бои на Черном Ереке были наиболее памятными во всей его военной жизни. Не случайно, что об одном из этих боев под свежим впечатлением событий он, вернувшись в станицу Славянскую, больной и измученный, на другой же день, 7 сентября, пишет очерк «На Черном Ереке». В очерке этом нет всех деталей, о которых рассказали нам впоследствии участники этого боя. Но по темпераментности своей, по самому стилю это, несомненно, одно из первых преддверий к «Чапаеву».

«Наша операция, — писал впоследствии Епифан Ковтюх, — была весьма рискованной, и девяносто девять процентов были за то, что противник уничтожит десант, но белые вначале прозевали, а затем растерялись».

Красный десант завершил свою боевую операцию. Ковтюх и Фурманов получают приказ сдать участок, занимаемый их бойцами, а самим с отрядом возвратиться в Екатеринодар.

В екатеринодарской газете «Красное знамя» появляется очерк Фурманова «Бой с бандой генерала Улагая».

За участие в операциях 28 августа — 5 сентября по ликвидации десанта Врангеля на Кубани Фурманов, в числе семи человек, был награжден боевым орденом Красного Знамени.

Покончив с улагаевцами, 9-я армия стала на отдых. Фурманов возвращается в Екатеринодар. Казалось, тут бы он и сумел приступить к осуществлению мечты своей, к оформлению многочисленных своих записей, к работе литературной.

Но назначенный сначала заместителем начальника, а потом начальником политотдела армии, он пуще прежнего загружен организационной, партийной, пропагандистской работой. Изредка только с грустью вынимает начатую рукопись пьесы «Коммунисты» и снова кладет ее в стол. Нет уверенности в творческих своих возможностях. «Коммунистов» не пишу, что-то мало верю, что они выйдут пригодными для сцены, — и со свойственной ему, подчас даже жестокой автоиронией: — Жажду славы, но робею со своими начинаниями: мал багаж...»

Это у него-то, накопившего такой огромный опыт, мал багаж!

Но, главное, нет времени. Он и с дневником своим стал реже делиться, да и для прежних долгих бесед с Наей нет досуга. «Личной жизни нет — все отдаю ПОАРМу, газете, журналу и центральной прессе. Настроение к работе выше всякой меры...» В этом весь Фурманов. За что бы он ни брался, он отдавался работе целиком. И мыслью, и душой, и сердцем.

Пера он не оставляет ни на один день. В свободную минуту делает наброски о днях минувших битв, о замечательных людях, с которыми встречался. Регулярно пишет статьи в местную, в ивановскую (!), в центральную газеты.

Несмотря на победы и ликвидацию многих фронтов, положение в стране было необычайно трудное.

Еще не совсем покончено было с интервентами и бандитами. Плохо работали фабрики и заводы, не хватало сырья. В ряде губерний — засуха,

неурожай. Страшный голод в Поволжье.

Фурманов требовал от всех политработников, чтобы они не приукрашивали положения в стране, чтобы знакомили и бойцов и население со всеми трудностями, и рассказывали о том, в какой героической борьбе, под руководством Ленина, эти трудности преодолеваются. Он часто выезжал в части, умел находить и ценить работников. Ненавидел хвастовство и подхалимство. Предельно чуткий к друзьям, он был беспощаден к классовым врагам. Ни одной жалобы не оставлял он без последствий. Откликался на каждую просьбу бойцов.

За короткий период, как рассказывает одна из ближайших его помощниц в те месяцы, старая большевичка Анна Самойловна Шуцкевер, Фурманов сумел завоевать огромный авторитет у командиров, комиссаров, красноармейцев, партийных и беспартийных.

Он был всегда демократичен и считал необходимым все серьезные вопросы обсуждать совместно с активом. Чувство коллектива было особенно сильно в нем.

Уже наступила пора частичной демобилизации Красной Армии, и было особенно важно подготовить демобилизуемых к тому, чтобы они понесли во взбаламученную деревню всю правду о политике Коммунистической партии и Советской власти.

Новые задачи стояли и перед самой Красной Армией.

Совместно с членом Реввоенсовета армии М. С. Эпштейном Фурманов проводил многие съезды и совещания политработников. Сам был всегда душой этих съездов. Много беседовал с делегатами. Учился у них сам и учил, как надо действовать в различных условиях. Всегда подчеркивал: «Не командовать, а воспитывать».

Являлся он на работу первым. Всегда подтянутый, чисто выбритый, в простой солдатской шинели или кожаной куртке. На письменном столе его лежал большой разграфленный лист. Против фамилии каждого из сотрудников ПОАРМа он ежедневно вносил задания, даваемые каждому, и по ним ежедневно проверял исполнение, вникая во все подробности, отмечая ошибки и указывая меры к их исправлению.

Он никогда не грубил, не ругался.

«Эх, шляпа, шляпа», — вспоминает А. С. Шуцкевер, — это были самые обидные слова, которыми он нас иногда награждал.

Но если кто-нибудь проявлял нерадивость или лень — он не прощал, и уж лучше ему не попадаться...»

Большое внимание уделял Фурманов ликвидации неграмотности среди красноармейцев (так называемому в те годы ликбезу). Процент

неграмотных в 9-й армии был велик. Фурманов возглавил всю работу по ликбезу. Непосредственным помощником его был опытный библиотечный работник Г. Смагин. Неграмотность была ликвидирована за полтора месяца.

По всей Кубани, по всем армейским частям начали вырастать библиотеки, красные уголки, театры, клубы. Под редакцией Фурманова стал выходить еженедельник для малограмотных — «Грамотей». Первая книга после букваря.

По приказанию Фурманова Смагин написал объемистую книгу-памятку отпускнику-красноармейцу «В путь-дорогу». Фурманов был очень доволен этой книгой. Издана она была молниеносно.

В Екатеринодаре был создан литературный кружок для военкоров, рабселькоров, начинающих журналистов. Руководил кружком Фурманов.

С каким пристальным, чутким вниманием «выуживал» он в частях всевозможные таланты. Иногда у себя на квартире устраивал он вечера творческой самодеятельности. На вечерах этих читали стихи, рассказы, пели песни.

Никогда не забывал Фурманов своих ивановских друзей. Большую радость доставила ему неожиданная встреча с бывшей «ученицей» своей, старой большевичкой, ивановской ткачихой Марией Федоровной Икрянистойой (Трубой). По заданию Надежды Константиновны Крупской была организована агитбригада для оказания помощи детям, родители которых погибли на войне. В составе этой бригады, прибывшей на Кубань, была и Мария Труба. Старые друзья обнялись и расцеловались.

Работоспособность его была примером для всех. В ПОАРМе шли легенды о том, что однажды он за один день написал шестнадцать статей для красноармейских газет и журналов.

Не прекращал связей он и с родным Иваново-Вознесенском. 1 декабря в московских «Известиях» была напечатана его статья «Слава черному городу». Не без участия Фурманова были направлены с Кубани четыре вагона хлеба в голодный Иваново-Вознесенск.

7 декабря избранный делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов Фурманов делает на гарнизонном собрании в Екатеринодаре большой доклад о текущем моменте и задачах предстоящего съезда. Ему предстоит еще принять участие во II Всероссийском съезде политработников Красной Армии.

Фурманов едет в Москву. А 17 декабря, перед самым съездом, отлучившись на день из столицы, он выезжает в родной город и выступает в Советском театре Иваново-Вознесенска с большим докладом об

экономическом и политическом положении Кубани и Туркестана.

На II Всероссийском съезде политработников Красной Армии Фурманов избирают в президиум съезда Он председательствует на втором заседании съезда. Появление его на трибуне встречают аплодисментами. В Красной Армии уже хорошо знают доблестного комиссара — соратника Чапаева и Ковтюха.

VIII съезд Советов был очередным этапом в жизни всей страны.

Был он этапом и в жизни Дмитрия Фурманова.

Он опять увидел и услышал Ленина.

Это было 22 декабря 1920 года Владимир Ильич Ленин выступил с отчетным докладом Совета Народных Комиссаров. (Накануне на коммунистической фракции съезда он делал специальный доклад о концессиях.)

Значительное место в докладе Ленина занял план ГОЭЛРО — план государственной электрификации страны.

Именно в этом докладе произнес Ильич исторические слова. Слова-программу.

«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны»^[19].

Делегаты съезда, и среди них Фурманов, бурной овацией встретили эти слова своего вождя. Проникновенно рассказал Ильич делегатам, как побывал он недавно на крестьянском празднике в Волоколамском уезде, где зажглись первые электрические лампы, о взволновавшей его речи старого крестьянина, прославлявшего «неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту».

«Я лично не удивился, — сказал Ленин, — этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет «неестественный», но для нас неестественно то, что сотни, тысячи лет могли жить крестьяне и рабочие в такой темноте, в нищете, в угнетении помещиков и капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Но нам надо добиваться в настоящий момент, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения, чтобы она занималась, так сказать, электрическим образованием масс...»^[20]

«Если Россия, — закончил свой программный доклад Ильич, — покроется густою сетью электрических станций и мощных технических сооружений, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии...»^[21]

А потом с практическим конкретным докладом о плане ГОЭЛРО выступил Глеб Максимилианович Кржижановский, человек с «загадом», как называл его Ленин.

Сколько истинной романтики было в этом «конкретном», изобилующем цифрами докладе!

...Высокий, очень худой Седеющие волосы откинута назад. Одет в черный костюм, из-под которого выглядывает белая сорочка. В руках деревянная указка. Таким запечатлелся Кржижановский в памяти тех, кто слушал его в тот исторический день, таким запечатлелся он в памяти Фурманова.

Тихим, но внятнм голосом говорил он о том, что у нас необъятная страна; что она таит в себе неслыханные богатства, которые могут прокормить и согреть весь мир. Если мы сумеем использовать огромные торфяные болота и силу наших рек и пустим электрическую энергию туда, где она нужна, мы превратим нашу нищую, темную, голодную страну в величайший источник света, красоты и силы.

Огромная карта страны — на сцене Большого театра. Кржижановский ведет указкой по карте, и на ней загораются лампочки. Сначала синие, обозначающие электростанции, которые уже существуют. Их немного, очень немного. Потом красные, показывающие станции, которые должны быть построены по плану электрификации.

Они вспыхивают одна за другой. Кржижановский кажется кудесником. При каждом новом названии зажигается новая огненная точка.

И так же зажигаются огоньки в глазах делегатов съезда. И Фурманов видит (он сидит неподалеку от президиума), как широкая радостная улыбка озаряет лицо Ильича.

И карта, которая едва отсвечивала синевой, постепенно краснеет, краснеет, и вот уже целая россыпь огненных точек горит на ней красным, победоносным огнем.

Кржижановский кончил Он говорил два часа А зал, точно замороженный, смотрел на будущую Россию, которая сверкает волшебными огнями.

И вот уже один за другим выступают делегаты с высокой трибуны съезда, делегаты, еще не снявшие фронтовых шинелей, еще опаленные порохом битв.

Беспартийный рабочий с Путиловского завода призывает к труду, как к долгому и нелегкому бою.

— Огонь революции горит, а раз так — нужно его поддержать... Наша поддержка заключается только в святом труде, только в наших руках.

План ГОЭЛРО — это план генеральной битвы, наступательных боев. Это ленинский план создания материальной основы социализма в нашей стране.

Так, только так воспринимают этот план делегаты съезда. Только так воспринимает его Дмитрий Фурманов Он стоит, аплодируя, в сплошном строю друзей и соратников. Локоть к локтю. Плечом к плечу. Вместе со всеми он поет «Интернационал». Он видит, как поет на сцене Ленин. Рядом с Лениным Кржижановский, Фрунзе, его друг и учитель.

В этот же вечер Михаил Васильевич, посмеиваясь, раскрыл ему одну партийную тайну — Глеб Максимилианович Кржижановский тоже пишет стихи Впрочем, стихи ведь писал в юности и сам Фрунзе...

Разговор с Фрунзе, как всегда, был сердечный, точно с родным отцом после долгой разлуки. Фрунзе командовал войсками на Украине. Он звал его к себе, предлагал высокую должность начальника Политуправления украинских войск. Но Фурманова ждали на Кубани друзья. И потом — мечты о литературном труде...

«Я, несомненно, буду писать, несомненно... Только я чувствую некоторое затруднение. Я не знаю, какую мне область избрать: ведь если взять научную публицистику — для этого надо много и хорошо знать, а что я знаю?.. Если избрать стихи, рассказы — не измельчаю ли я здесь, не имея подлинно яркого и большого таланта: ведь художнику нужен очень и очень большой талант, если только он не хочет примелькаться и быстро надоест своими бесцветными произведениями!..»

Снова и снова возникает мысль о необходимости учебы, о возвращении в университет, в Москву. Но... еще не время. «Еще не требует поэта к священной жертве Аполлон», — как сказал он однажды в шутку Нае.

В начале января Фурманов вернулся в Екатеринодар (Краснодар). С первого же дня окупился в работу.

Он должен был рассказать обо всем, что видел, и слышал, и пережил в Москве. О Ленине. О Кржижановском. О великом плане построения социализма. О ГОЭЛРО. Рассказать и на собраниях, и на конференциях, и в печати.

В середине января на общеармейской партийной конференции Фурманов делает обстоятельный доклад, в центре которого живой, красочный рассказ о выступлении Владимира Ильича на VIII съезде Советов.

Рассказ, изобилующий подробностями, такими деталями, которые мог подметить и запечатлеть Фурманов-комиссар и Фурманов-писатель.

Значительное место в докладе Фурманов уделяет Красной Армии, ее роли и (что весьма знаменательно) ее международному значению.

— Мы всю свою работу, — сказал Фурманов, — должны связывать с международной борьбой.

Нужно воспитать Красную Армию, как авангард международной Красной Армии. Рабочий класс всего мира должен учесть наш опыт, не только достижения, но и ошибки, чтобы не повторять их...

Затронув ряд острых вопросов военного и политического характера (он ненавидел «обтекаемость» и никогда не боялся остроты), Фурманов обрушился на всяческую парадность и шумиху в работе. Как вспоминает делегат конференции А. С. Шуцкевер, он едко высмеял стремление к помпезности. На субботниках надо не гоняться за тем, чтобы хорошо играла музыка, а добиваться ощутительного хозяйственного, материального результата.

Это была речь мужественного комиссара и прозорливого государственного деятеля.

Весна 1921 года на Кубани была очень тревожной. Усилилась деятельность контрреволюционного подполья. Активизировались эсеры и меньшевики. Бандиты совершали налеты на мирные селения. Участились предательские выстрелы из-за угла. Ждали восстания.

Фурманов разослал секретный циркуляр, в котором предупреждал всех коммунистов, всех ответственных работников о грядущей опасности.

Сам он, как всегда, был готов к бою. Всегда на передней линии. Всегда лицом к огню.

«Если начнется восстание, мне бы только слиться с действующей красной частью и вместе с ней идти в цепи. А быть убитым где-нибудь дома, в постели, из-за угла — скверно, гадко. Такими приемами могут действовать не революционные партии, а просто-напросто бандиты. Революционер должен умереть в бою, поэтому я не хочу умирать иначе...»

Восстание было предотвращено. Все же и в эти напряженные дни Фурманов находил время для собирания исторических материалов, которым он всегда придавал особое значение.

Обращаясь в воспоминаниях своих к прошлому, он делает записи о событиях в Семиречье, восстанавливает их подробности.

Все это ляжет потом костяком в автобиографический роман «Мятеж».

Где-то в неосознанных еще мечтах уже встают перед ним эти будущие его книги. Но приступить к ним еще не время. Еще не время.

«Эх, целиком бы уйти к писательству, оставить бы свои

административные муки. Я раздваиваюсь... Я хочу и могу писать. Но я должен заниматься другим — этого требует общественная честь. Со скорбью остаюсь на посту...»

В его личной жизни радостные события перемежаются с печальными.

С волнением читает он приказ о награждении своим за участие в боях с Улагаем боевым орденом Красного Знамени.

С болью узнает (узнает с запозданием) о смерти матери Евдокии Васильевны (7 августа 1920 года) в Крыму, в Бахчисарае.

Он давно не имел писем от родных. Вся семья была разбросана по стране. В Крыму находились мать и младшие сестры Лиза и Настя. Аркадий был в Самаре, Софья на Кубани, Сергей на бухарском фронте.

«Вечная память тебе, матушка. Я приеду к тебе в Бахчисарай, опущусь на колени и поцелую могилу — курган среди гордой южной природы...»

5 марта в Краснодаре выходит в свет первая книга Фурманова. Собственно, не книга еще, а брошюра. В ней всего 30 страниц. И далека она, эта брошюра, от художественных обобщений. «Красная армия и трудовой фронт». (Позднее под его редакцией и с его участием выходит сборник статей «О новых формах агитации и пропаганды».)

И все-таки Фурманов счастлив. Да к тому же в этот же день он заканчивает и писавшееся по ночам художественное произведение. Драму «Коммунисты» (более позднее название «За коммунизм»). О том, что он пишет, шутка сказать, драму, знает только Ная. Только она знает, что заканчивает он и работу над повестью «Записки обывателя», где в сложной форме разоблачает проникшего в ряды партии мещанина, где пытается обнажить самые корни мещанства, источники, его питающие, сорвать очень порой искусную маску с лица обывателя. Не скоро еще увидит свет эта повесть. Уже после «Чапаева» и «Мятежа». И о ней пока не узнает никто.

Пишет он и короткие очерки — зарисовки, воспоминания, вернее сказать, заготовки для других книг: «По каменному грунту», «Андреев».

В конце марта, вскоре после восстановления Советской власти в Грузии, Фурманов получает назначение уже более близкое к литературному труду, к любимому делу. В Тифлис. Редактором большой ежедневной газеты 11-й армии «Красный воин».

С грустью прощается Фурманов с друзьями-кубанцами, с увлечением мечтает уже о новой работе.

Незадолго до отъезда из Краснодара комиссар-писатель (да, уже в какой-то мере писатель) собирает на квартире друга своего, члена Реввоенсовета М. С. Эпштейна, нескольких товарищей и читает им пьесу «Коммунисты».

Читает смущенно, взволнованно (впервые он выступает как драматург!). В обсуждении принимают участие и режиссеры театра 9-й армии, созданного Анной Никитичной, известные по тем временам театральные деятели, Розен-Санин и Дмитриев.

Многие сцены этой написанной еще далеко не профессионально пьесы пришлись по душе слушателям. Высоко оценили и режиссеры сцены в окопах, во время и после боя, написанные сочным языком разговоры красноармейцев.

В целом пьесу (не без изрядной критики) одобрили. Но в тех условиях она была очень сложна для постановки (в особенности массовые сцены). Законы театра были незнакомы Фурманову.

Очень чуткий и восприимчивый ко всяким оттенкам суждений, Фурманов, не встретив (как ему не без оснований показалось) должной поддержки, оставил эту пьесу краснодарским режиссерам, но сам быстро охладел к ней.

Так она и не увидела света рампы^[22].

Да, путь к литературе был еще долог, сложен и тернист.

Правда, в Краснодарском театре Фурманов еще выступил перед самым отъездом. Но выступил не с пьесой, а... с большим докладом «Антанта, мелкобуржуазная стихия и продналог...».

Тифлис напомнил Дмитрию Андреевичу и Анне Никитичне дни их первых встреч.

Сколько событий произошло за эти пять лет! Событий, изменивших все лицо мира. А они совсем как тогда, сильные и молодые, бродят по берегу реки Куры, поднимаются на гору Давида, при первой возможности совершают экскурсию в Мцхет. Перебивая друг друга, читают стихи Лермонтова.

Но надо включаться в новую работу. Впервые он редактор большой ежедневной газеты. А состояние газеты неважное. Нет бумаги. Не хватает наборщиков. Все надо начинать едва ли не с самого начала. Но к этому он привык. Это он осилит. Надо искать главное, основное звено, за которое следует взяться в первую очередь.

Основное звено — это связь с читателями, с красноармейской массой. Эта связь у газеты никак не налажена. А без этого красноармейская газета — пустое место, казенный официальный листок.

Он сам выступает в газете с острыми статьями на самые разные темы. Редактор не имеет права молчать или замыкаться в какой-то узкий круг вопросов. Он пишет пропагандистские статьи «В чем наша сила», «Борцы и мстители». Он публикует статьи на международные темы: «Революция в Германии». Он откликается на самые острые события. Он сам отвечает на красноармейские письма.

Как характерен для всего стиля работы Фурманова его «Ответ беспартийному красноармейцу тов. Холмогорову».

Холмогоров написал в редакцию горькое и искреннее письмо о том, что в его родном селе (Екатеринбургской губернии) в исполком пролезли заядлые кулаки, которые притесняют бедноту.

Он приводил примеры издевательства над больной женой красноармейца Мариной.

«Мы этого дела не оставим, — с негодованием пишет Фурманов, — и пошлем твое письмо через рабоче-крестьянскую инспекцию прямо в Екатеринбургскую губернию. Там разберут самое дело, да кстати прощупают бока кулакам, проделывающим такие истории с красноармейскими женами. Таких подлостей прощать нельзя. Видно, ты недаром бьешься в Красной Армии с 18 года, и хотя до сих пор остался беспартийным, но рассуждаешь в своем письме, как настоящий коммунист. Ты совершенно правильно заявляешь в конце, что «наша надежда только на трудящихся и на Красную Армию»...

...Если где заметишь еще какие-нибудь недостатки и преступления, не робей, говори про них открыто: в своем рабоче-крестьянском государстве тебе некого бояться. Помни, что советская власть придет к тебе на помощь, и помни еще и о том, что, обнажая преступления, ты эту власть не ослабляешь, а укрепляешь...»

Фурманов созывает в Тифлисе первое в Красной Армии совещание военкоров, членов редколлегий «живых» газет и редакторов дивизионных газет 11-й армии. Выступает с большим докладом о красноармейской печати, проводит долгие беседы с каждым редактором дивизионки. Детально изучив в короткий срок всю обстановку в Закавказье, в особенности в пограничных районах, он призывает к особой бдительности.

Когда редактор дивизионки Герман Броварский рассказал ему о том, что разбойничьи отряды Шахверана и Наджафа в основном разгромлены и убрались в Иран, Фурманов быстро возразил:

— А разве можно быть уверенным, что провокационные налеты не повторятся?

Он с пристрастием допрашивал: достаточна ли связь газеты с

пограничными частями, как освещается жизнь красноармейцев, находится ли в поле зрения газеты политическая и хозяйственная работа среди населения районов, освобожденных от белоханского гнета?

— Здесь совсем особые условия, — задумчиво говорил он Нае, — это, правда, не Семиречье. Но и здесь национальный вопрос должен быть постоянно в поле нашего зрения. И борьба с остатками колониалистских элементов. Обо всем этом должна думать газета. Не позволять себе ограничиваться повседневной текучкой. Смотреть вперед...

Особенно по душе пришлись Фурманову «живые», театрализованные газеты, пользовавшиеся в частях большим успехом.

Он и сам принимал участие в подобных газетах, выступая и готовя специальный репертуар при активной помощи Анны Никитичны.

В Закавказье Фурманов пробыл всего несколько недель.

Но сделал в этот короткий срок очень много. Газета «Красный воин» получила впоследствии Почетную грамоту народного комиссара обороны К. Е. Ворошилова, в которой особо отмечалась роль Фурманова в организации этой газеты.

Мечты о большой литературе не покидали Фурманова. Не раз перечитывал он свои записи о днях минувших.

Нельзя было не рассказать обо всем пережитом. В рассказах, в повести, в романе... Он сам еще не знал, в какой форме он расскажет людям о Чапаеве, о Ковтюхе, о красном десанте, о мятеже. Но рассказать он обязан. Этого требовали у него даже в снах беспокойных будущие его герои. Им было тесно в клеенчатых тетрадах дневников.

Он продолжал работу над повестью «Красный десант». Скупые дневниковые записи обрастали все новыми и новыми деталями. Возникали образы друзей, соратников, героев. Елифан Ковтюх. Курносый, веснушчатый храбрец-пулеметчик Коцюбенко. Восемнадцатилетний комсомолец Ганька, гитарист, плясун, певец, бесстрашный кавалерист-разведчик, худенький, гибкий. И рядом с ним могучий богатырь, эскадронный командир Чобот. Твердый, уверенный в себе, настойчивый, кремень — не человек, командир артиллерии Кульберг. Лихой командир разведки Кондра. (Это он первый замаскировался под белого офицера.) Бесстрашный Ковалев, ближайший помощник Ковтюха. Матрос Леонтий Щеткин. Круглые, как у совы, глаза, когда надо, добрые, а когда и жестокие. Широкая, открытая грудь. Кудрявый, бледнолицый белорус, лихой наездник Танчук и конь его, любимый, пегий конь со странной кличкой Юсь. И опять мысли его обращаются к Ковтюху. Вспоминает, как рассказывал ему Ковтюх о знаменитом своем Таманском походе. Он даже

сделал потом большой набросок «По каменному грунту». Нет, об этом он писать больше не будет. Надо писать о том, что сам видел, в чем сам участвовал. И этого материала хватит на несколько лет. «...писать большую вещь из истории гражданской войны... если и стану писать маленькие рассказы, то лишь с расчетом собрать их как части и дать потом общий большой роман...»

Только с чего начать?.. С Ковтюха или с Чапаева?.. Конечно, с Чапаева... Разве можно сомневаться?.. И как начать?.. Ведь нужно собрать еще столько материала. Того, что он сам пережил, мало... Вот ведь появляются уже первые рассказы о гражданской войне Александра Серафимовича, Всеволода Иванова. Как интересно бы повстречаться с ними! Поговорить. Посоветоваться. Как нужна ему литературная среда!

Война ведь уже окончена. Свой долг он выполнил. Теперь ждет его другой долг. Мечта всей жизни.

...5 мая Дмитрий Фурманов откомандировывается в распоряжение Политотдела Кавказского фронта для дальнейшего направления в ПУР, в Москву.

Он выезжает в Ростов-на-Дону, а оттуда, оформив дела свои, в столицу. На пути из Ростова в Москву он заносит в дневник:

«...В Москву! В нее, красную столицу, в нее, белокаменную и алую, гордую и благородную, великую страдальицу и героиню, голодную, измученную, но героическую и вечно бьющую ключами жизни — Москву!

Я хочу туда, откуда мчатся по миру самые глубокие и верные мысли, откуда разносятся по миру зовущие лозунги, где гудит набат и гулом своим будит весь пролетарский Мир, я хочу туда, где в первые же минуты известны новые, великие мысли великих людей, где так много героев мысли, энергии, чистоты и благородства, глубокой революционной преданности, великих помыслов и великих дел!..

Я хочу быть возле дорогого учителя, чьи слова запали мне в сердце еще в 1917 году... Я хочу ехать к тем самым рабочим, которые покрыли себя неуязвимой славой в Октябрьские дни... Давно я не был с ними, давно не прикасался близко к Источникам силы, бодрости и революционной энергии!..

Я хочу уйти, совсем уйти от административной работы и заняться исключительно своим любимым литературным делом...»

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

МОСКВА. СНОВА УНИВЕРСИТЕТ.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ.

КАК СОЗДАВАЛСЯ «ЧАПАЕВ»

36

В Москву Фурмановы приехали в конце мая. Узнали о том, что в столице начинает выходить большой литературно-художественный журнал «Красная новь», редактором которого назначен старый иваново-вознесенский большевик Александр Константинович Веронский.

Правда, в те давние годы отношения у Фурманова с Воронении были не совсем дружеские. Но что было, то былем поросло.

Работа в журнале «Красная новь» очень привлекала Дмитрия Андреевича. Она бы сразу связала его с литературной средой, открыла бы ему ворота в литературу.

Но Веронский встретил земляка холодно. Это обидело Фурманова. Впрочем, и ПУР не соглашался отпускать его с военной работы.

Начальником отдела военной литературы был литератор Вячеслав Полонский. Он сердечно принял чапаевского комиссара и назначил одним из своих помощников — руководителем военной периодики. Много добрых слов сказал ему и сам начальник ПУРа, один из соратников Ленина — Сергей Иванович Гусев.

Не приступая еще к новой работе, Фурманов уехал в недельный отпуск. В родной Иваново-Вознесенск. Он был глубоко растроган той любовью, с которой приняли его земляки. Здесь ему предлагали любую работу, лишь бы он остался на родине. Но его ждала Москва. Ждала литература.

«Работать даже и на организационной работе в литературной области — мне любо и мило. Рад я без ума, что прикоснусь теперь к литературному труду».

«Организационная» работа, конечно, отнимала много времени. Ведь каждому делу Фурманов отдавался целиком. Но вечерние часы еще были свободны. И начались ежедневные посещения с Наей литературных вечеров, диспутов, театров, концертов.

Дом печати Диспуты о «Мистерии-буфф» прославленного Маяковского, о театре Таирова и театре Мейерхольда. Все это было ново, захватывающе интересно. Конечно, он сам (испытанный оратор) никогда бы еще не рискнул выступить в прениях. В этой области он скромно считал себя только дилетантом. Но с Наей они обменивались впечатлениями, спорили. И в старый дневник, заполненный записями о делах военных, ложились теперь строки о проблемах эстетики, о борьбе нового со старым в искусстве. Начинали уже формироваться те литературные взгляды, которые стали творческой программой Фурманова на ближайшие, к сожалению, такие уж недолгие годы.

Привлек его театр Мейерхольда. «В нем все еще нет ничего постоянного, установившегося: в нем все бродит, как молодое вино... Но у него богатое будущее. Он — современный: он — революционный: он дает то, что нужно эпохе, что ей соответствует... Пока он — сыр, несовершенен, зачаточен. Он будоражит, тревожит, зовет, но в нем нет еще ничего цельного...»

Фурманов пытается объективно подойти к разным точкам зрения. Не обольщаться страстными речами защитников Мейерхольда и не принимать на веру филиппики противников.

Уже после диспута о пьесе он смотрит спектакль «Мистерия-буфф» в театре Мейерхольда. Пьеса Маяковского не пришлась ему по душе. Склонный к глубокому психологическому письму, он не принимает буффонадного, гротескного стиля пьесы. Но сам спектакль оставляет сильное впечатление.

«Новый театр выпирает в публику и душой и телом... Постановка прекрасная, дает впечатление грандиозного, значительного, сильного... в замысле много могущества и размаха. Обольщает новизна, простор и смелость».

Фурманов еще не разбирается во всем пестром сплетении существовавших в те дни многочисленных литературных течений и группировок. И он присматривается к каждому, пытается разобраться в направлениях и спорах.

Он влюблен, всю жизнь влюблен в литературу.

Но чуждыми кажутся ему иные литераторы, собирающиеся в своих кафе и клубах.

Чуждыми и далекими от жизни.

Вот он посещает знаменитое в начале двадцатых годов кафе поэтов «Стойло Пегаса», штаб-квартиру имажинистов.

Анатолий Мариенгоф читает пьесу «Заговор дураков». Какие-то длинноволосые юнцы и девицы устраивают ему овацию.

«Он ломался, кривлялся, строил мину, претендовавшую одновременно и на глубину и на презрительность ко всему существу».

И... беспощадная фурмановская оценка.

«Стойло Пегаса» является, в сущности, стойлом буржуазных сынков — и не больше. Сюда стекаются люди, совершенно не принимающие участия в общественном движении, раскрашенные, визгливые и глупые барышни... Здесь выбрасывают за «легкий завтрак» десятки тысяч рублей как одну копейку: значит, не чужда публика и спекуляции; здесь вы увидите лощеных буржуазных деток, отлично одетых, гладко выбритых, прилизанных, модных, пшютоватых, — словом, все та же сволочь, которая прежде упивалась салонными, похабными анекдотами и песенками, да и теперь, впрочем, упивается ими же. В «Стойле Пегаса» — сброд и бездарности, старающиеся перекричать всех и с помощью нахальства дать знать о себе возможно широко и далеко...»

— Ты себе представляешь, — усмехаясь, говорит он Пае, когда они возвращаются домой по бульварам, — что случилось бы, если бы я привел сюда Яшу Гладких, или Ковтюха, или самого Чапаева... Какой разгром они бы здесь учинили!..

Но уже тогда, в этих первых своих соприкосновениях с московскими литераторами, он далек от каких бы то ни было односторонних суждений.

И как характерна для Фурманова оговорка — приписка, которую он делает в своем дневнике на другой же день после заметки о «Стойле Пегаса»:

«Я забыл в предыдущей заметке оговориться относительно Есенина: он с Мариенгофом по недоразумению. Из Есенина будет отличный бытовик — я это в нем *чувствую*. Самому мне быт — тоже альфа и омега. А с пьесой вот робею — почти никому не показываю. Чего-то все жду, словно она отлежится — лучше будет».

Под *бытом* Фурманов, конечно же, понимал жизнь. Ту огромную бурную жизнь, из которой он черпал материал для своих произведений.

Не понравилась ему и обстановка в литературной группе «Звено».

Рассказы там читали, на его взгляд, серенькие, оторванные от жизни. Ораторы выступали «как отъявленные и дрябленькие интеллигенты».

«Тут было и неверие в долговечность Советской власти и разговор про

«уклон большевиков вправо», вести про то, что и «заграница от нас отшатнулась вовсе», что ЧК — контрреволюционны ц ошибкою организованы и т. д., и т. д. Так все гнусно, так скучно, старо, пережевано, что не хочется даже опровергать... Интеллигентики были смертельно скучны, жалки и тупы. Жаль, что некогда писать подробнее...»

Но он напишет еще подробнее, и напишет не раз. Эстетическая программа его будет складываться, как боевая партийная программа.

Надумал было он и сам вступить в Союз писателей, возглавлявшийся тогда Федором Сологубом. Пришел на союзный «понедельник», когда выступали Андрей Глоба и Николай Гумилев. Но ему нечего было еще представить, кроме политических брошюр. А стихи... К стихам своим он стал относиться все более критически.

Работы в ПУРе много. Не остается уже и свободных вечеров. Стол завален целыми грудями рукописей, журналов и книг. Надо прочесть десятки газет, гражданских и военных, множество книг, политических и экономических («больше слежу за жизнью в целом, чем за вопросами искусства»).

Каждый день, час, каждая минута приносят новое содержание. («За этим содержанием надо успевать следить, а искусство... искусство остается в тени...»)

Надо перестроить свою жизнь и занятия. Не останавливаться на деталях. Всем вопросам, кроме литературных, уделять внимание лишь постольку, чтобы не отстать от крупных современных событий... («Но никогда (никогда!) и мысли не допускать о том, чтобы вопросы экономические, политические, военные отстранить».)

И писать... Писать во что бы то ни стало... Оставить стихи. Как это ни горько признать, поэта из него не вышло и не выйдет. Да и драматурга тоже. Проза. Повесть, рассказ, роман. Материалу уйма... С чего начать?

Отставать нельзя. Надо все время чувствовать свою органическую связь с действительностью. Не бежать от жизни в литературу, а литературу наполнить дыханием бурной жизни, современности.

«А в случае крайней нужды оставить литературу и пойти работать на топливо, на голод, на холеру, бойцом или комиссаром... Эта готовность — основной залог успешности в литературной работе. Без этой готовности и современности живо станешь пузырьком из-под духов: как будто бы отдаленно чем-то и пахнет, как будто и нет... *Со своим временем надо чувствовать срочность и следовать, не отставая, — шаг в шаг...* (разрядка моя. — А. И.)».

Земляки не забывают Фурманова. Его избирают председателем

военно-исторической комиссии Ивановского губкома. А он не привык только «числиться». Он навещает Иваново. Пишет статьи в «Рабочий край». Поглощает огромное количество военно-исторического материала, читает и перечитывает книги по истории Партии. Как многого он, оказывается, не знал.

Тем более обязан он сейчас сторицей восполнить пропущенное в дореволюционные годы. Действовать... Действовать... Действовать не покладая рук. Он принимает активное участие в борьбе с голодом. Пишет десятки страстных статей в «Рабочий край», в военные газеты, в «Известия». Делает большие обзоры всей военной прессы. Выступает с докладами. Какое право имеет он снять с себя сейчас хоть часть будто бы непосильной работы, когда перед ним великий пример Ленина? «Ленин — величайший из людей, славнейший и известнейший... Он, Ленин, думает за целый мир, несет совершенно непосильную тягу. Он каждую (каждую!) минуту жизни должен знать о том, что совершилось где-нибудь в Португалии, что говорится, чего можно ожидать и как скоро — в Германии, Швеции, Китае... Он должен знать все крупнейшие мероприятия в области советского строительства, все новое в области профдвижения, он должен сказать новое слово в кооперации, указать пути партийного строительства, знать факты, цифры, цифры, цифры...»

«Следовало бы устроить так, чтобы 95 процентов тяжести с Ильича было снято и переложено на плечи других работников и борцов. Это было бы справедливее, легче и полезнее для всех».

Это невозможно? Но надо сделать все возможное. И поменьше «заманчивых» мыслей о личной славе, о личном благополучии.

«Не будь скотиной только своего стойла, вылезай за тын своего огорода, живи общественной жизнью. Помни, что счастье и не в том, чтобы жить только личною, тем паче растительной жизнью...»

А что же такое счастье? «Когда ты в центре жизни ставишь любимое полезное дело и выполняешь его с полным сознанием его важности, полезности и прелести».

«Красоту жизни я вижу и чувствую, — пишет Фурманов, — живу ею непрестанно. И так хочется, чтобы этой красотой жили все — как тогда легко переносить так называемые несчастья, как легко и весело жить!

...Впереди так много труда, эх, много! И как хорошо это сознавать, коли знаешь, что вынести сможешь любую ношу!..»

Как бы развернутой уже программой всей дальнейшей творческой деятельности Фурманова является написанная им осенью статья «Завядший букет».

Язвительно критикуя всевозможные течения неоклассиков, неоромантиков, символистов, неоакмеистов, футуристов, имажинистов, экспрессионистов, презантистов, ничевоков и других, Фурманов пишет: «От литературных произведений мы привыкли ждать и бодрых призывов и смелых дерзаний, ярких надежд и веры, веры, веры в победу! Пусть душно и тесно было прежде; пусть живые образы Щедрина, Чернышевского, Успенского, Горького были одинокими (а еще более одинокими и гонимыми были песни пролетарских поэтов), но там была идея, чувство, стремление и глубокая вера».

Фурманов разъясняет свою мысль. Он требует от каждого значительного художественного произведения близости к жизни, высоких идей современности. «Речь идет, — пишет он, — не об утилитаризме в искусстве, не о приспособлении его к узко практическим целям, — мы говорим лишь о необходимости соответствия искусства основным тенденциям жизни». А основной тенденцией эпохи Фурманов считал борьбу за коммунизм. Критикуя одного из представителей неоклассицизма, написавшего стихотворение «Особняком», Фурманов с возмущением пишет: «Поэт, видите ли, идет сам по себе, не соприкасаясь с жизнью, не замечая ее, не чувствуя, не принимая. То, что совершилось в России, что бродит в целом мире, что является альфой и омегой не только российского, но и общечеловеческого прогресса, — борьба со старым миром его не занимает. Он идет один, «особняком». В этом он видит свою поэтическую миссию, свое историческое оправдание. Здесь сказалось все: брезгливый индивидуализм проклятого старого мира, привычка играть в «величие», поразительная общественная неразвитость и тупость, филистерство и мещанство, не видящее дальше своего носа, и тоска, тоска по разбитому корыту...»

...Целиком погруженный в служебную, общественную и творческую работу, Фурманов чувствует отсутствие необходимых научных знаний.

Кто он, в сущности, — недоучившийся студент? Да и когда это было... Недоучившийся — значит, надо доучиваться, на этом настаивает и Ная, предлагая «попытаться» в Институт красной профессуры.

Но пойти в институт — значит взвалить на себя еще огромную ношу. Хватит ли сил? Да и потом в Института красной профессуры еще нет литературного факультета.

Думали, думали... Нашли. Все тот же Московский университет. Факультет общественных наук. Да ведь это же старый знакомец — историко-филологический факультет. Только перестроенный по-иному. И с большим литературным отделением. Правда, среди студентов он будет

выглядеть этаким патриархом. Ну, да не в этом беда.

Так захотелось учиться, что немедленно побывал и в ЦК и в университете. Вопрос о зачислении студентом и его и Наи был решен быстро.

На другой же день с рапортом к начальнику ПУРа С. И. Гусеву.

Гусев совсем отпустить не захотел. Написал на рапорте: «Откомандировать с сохранением на должности зав. редакцией журнала «Военная наука и революция».

«Так устроилась моя судьба. Студент, снова студент — красный советский студент... Университет, прими меня в свои недра, как друга!»

Так вот и состоялась в стенах университета моя первая встреча с Дмитрием Андреевичем Фурмановым, встреча, с которой и начинается эта книга.

Обстановка в университете была сложная.

Известную роль среди профессуры играли еще реакционные ученые, монархисты и кадеты — академик Богословский, профессор Кизеветтер.

Были среди профессоров и ученые, старавшиеся держаться лояльно. Академик А. С. Орлов (древнерусская литература), профессор П. Н. Сакулин (русская классическая литература), Г. И. Челпанов (психология), С. А. Котляревский (право), Н. Вихляев (статистика).

Большим авторитетом среди студентов пользовались профессора-марксисты Владимир Максимович Фриче, Петр Семенович Коган, Михаил Андреевич Рейснер.

Семинары по поэтической композиции на нашем литературном отделении вел Валерий Яковлевич Брюсов.

Столь же пестра была и студенческая масса: старые студенты — белоподкладочники, кадеты, эсеры, меньшевики — и мы, молодежь, коммунисты и комсомольцы, пришедшие из армии, прямо с полей гражданской войны, рабфаковцы, сельские учителя, рабкоры и селькоры.

Для нас это была пора первого накопления знаний. Сколько было тогда сумбура в голове, сколько путаницы! Мы впервые по-настоящему учились. По ночам жадно глотали книги. Толстые книги по истории литературы. Книги о Грибоедове и Сервантесе, о Пушкине и Мольере.

Университет жил большой общественной, так называемой «внешкольной» жизнью. Клуб располагался в помещении бывшей церкви. И потолок и клубные стены были расписаны всевозможными благолепными фресками из библейской жизни со странными изречениями, написанными причудливой славянской вязью. Рядом с ликами святых,

ангелов и архангелов — портреты, развешанные правлением клуба.

В клубных комнатах расселились ячейки.

«Ячейка РКП внешников».

«Ячейка ОЛЯ».

«Ячейка РКСМ ОПО и ОЛЯ».

Нежное имя ОЛЯ означало: отделение литературы и языка — наше отделение.

И плакаты:

«Вечер Безыменского. Поэт читает «Комсомолию».

«Новые стихи Маяковского».

«Семашко в Богословской аудитории читает лекцию о гигиене».

«Вечер встречи с наркомом Луначарским».

«Диспут о любви и дружбе».

В объявлениях отражался сложный и пестрый быт нашего факультета общественных наук — ФОНа.

И однажды появилась совсем неприметная наклейка:

«Студент Дмитрий Фурманов читает главы из повести «Красный десант».

Дмитрий Фурманов был среди нас самым старшим. Десять, пятнадцать лет разницы. Самым старшим и самым бывалым. Среди студентов он приобрел непререкаемый авторитет. В особенности когда узнали, что был он комиссаром многих дивизий. О Чапаеве тогда еще мало кто знал. Но редкий в те поры орден Красного Знамени говорил сам за себя.

Он был избран парторгом курса.

На сумбурных собраниях наших, где разворачивалась настоящая классовая борьба, слово Фурманова всегда играло большую роль.

Сам он в своих дневниковых записях рассказывал об одном из таких собраний, где надо было избрать студенческих представителей в правление университета.

«Целый час избирали президиум собрания. Десяток меньшевиков — гладких, белых, выхоленных, примазанных, хорошо одетых, типичных белоподкладочников — вели свою полуглупую и смешную, полуподлую, а в общем глупо-подлую линию: во что бы то ни стало проводить не то, что предложили коммунисты, независимо от того, хорошо это или дурно.

Когда предложено было голосовать за список кандидатов, меньшевичишка, объявивший себя беспартийным, заявил:

«В ком еще осталась любовь к студенческим традициям, кто не хочет подчиняться диктатуре властвующей партии, кто чтит настоящую демократию, тот пусть протестует...»

Поднялся шум. Видя, что ничего не выходит, меньшеуги поднялись с мест и демонстративно стали выходить. Толпа плотно стояла у кафедры и расступилась шпалерами, когда провожала их со свистом, улюлюканием, гвалтом и угрозами. Им показывали кулаки, их толкали, едва ли не плевали в лицо. Они огрызались и тоже потрясали кулаками в воздухе. Один рьяный фронтовик, не знаю, коммунист он или беспартийный, всех проходивших толкал то в плечо, то в шею, а одному дал здоровенного тумака. Ярость у всех накалилась. Одно время можно было ждать свалки, когда мы все запели «Интернационал», а меньшевичишки плелись оплеванными. Всего ушло человек 20–25 из общего количества присутствовавших 450–500 человек.

Беда! Вспоминается 17-й год. Я уж от этого отвык...»

Да так оно все и было. Вспоминаю, с каким великим энтузиазмом пели мы «Интернационал».

Во всех сложных делах университетских Фурманов был нашим вожаком. Он умел наносить удары по всяким проявлениям классово враждебных настроений. Но он, опытный политический деятель, умел сдерживать и наши комсомольские, иногда чересчур ретивые заскоки по отношению к старым ученым, учителям нашим.

Однажды нам показалось, что Павел Никитич Сакулин, седобородый профессор наш, великолепный знаток русской литературы и автор ряда книг, не слишком уважительно отозвался о новой, только нарождающейся советской культуре.

Мы устроили профессору обструкцию. Он вынужден был покинуть аудиторию.

Ни Фурманова, ни Анны Никитичны в тот день не было в университете.

Надо было видеть, как разгневался назавтра парторг. Как распекал нас за анархизм, за недостаточно чуткое отношение к незаменимым старым специалистам.

Сам он очень уважал Санулина, советовался с ним о своих планах систематического изучения литературы.

Он заставил нас, Фурманов, пойти извиниться перед Павлом Никитичем, что мы и сделали скрепя сердце.

Перегружен был Фурманов сверх меры. ПУР, Журнал «Военная наука и революция». Многочисленные политические и литературно-критические статьи для АгитРОСТА, журналов «Политработник», «Красноармеец» и «Красноармейская печать», для газет московских, ивановских, ташкентских, кубанских, тифлиских (связь не прерывалась).

Напряженный труд над окончательной отделкой повести «Красный десант». Наконец, он поставил точку и, несмотря на прохладные свои взаимоотношения с А. К. Воронским, сдал повесть ему в «Красную новь».

Случилось так, что, когда пришел Фурманов, у Воронского находился Михаил Васильевич Фрунзе, приехавший на пару дней с Украины. Увидев рукопись, он сразу хотел забрать ее в украинский журнал «Армия и революция». Но Воронский не отдал рукописи, оставил ее у себя.

...И все же Фурманов упорно, как тогда выражались, «грыз гранит науки». Хотя всегда готов был при первом зове опять вскочить на боевого коня.

«Ясное дело, что лишь только загремит на фронте — я туда». (В эти дни пришло горькое известие о гибели в Туркестане любимого младшего брата Сергея, красноармейца 2-го кавполка отдельной кавбригады.)

Сейчас его фронтом была наука, литература.

«Изучать капитально и систематически — по трудам, произведениям литературу, по преимуществу русскую и позднейшую...

...Но вот заняться, положим, чистым искусством — я ведь тоже не могу. Заполнит ли меня Софокл, Пракситель, Леонардо да Винчи? Нет. Попав в университет, я воспрянул духом, ожил, думал, что здесь я погружусь в любимое дело. Но мне ведь смешны эти юноши и барышни, с таким пафосом декламирующие Блока, они смешны мне и жалки — я сам этого делать не могу».

Но сам он стихи Александра Блока ценил и любил. Он только ставил акцент не там, где ставили декадентствующие «юноши и барышни». Он не хотел отдавать им во владение *своего* Блока, мятежного автора «Скифов» и «Двенадцати», ненавидящего мещанскую косность и обывательский покой.

Но главное:

«Писать, больше и непрерывно писать, взяв одну большую, центральную тему; пусть она поглотит, заслонит собою все. Разумеется, в промежутках будут и мелочи, будут статьи, стихи и прочее, но она должна быть стержневой.

...Писать, писать, писать. За счет всего.

Работать ночи. Переламывать свои настроения и даже усталость. Меньше отдаваться чаепитиям, беседам с друзьями, замкнуться, хотя бы временно, в себя...

Помнить все время, что пошел 31-й год, что время уходит, а сделано мало.

Взять все дневники, записки, документы и начать обдумывание по ним напрашивающихся произведений.

Следить за бытом, зорко глядеть и слушать кругом, *немедленно* заноса характерное...

...Словом, писать. Это первое и главное. Остальное — в прикладку, добавочно».

Но и это «добавочное» занимало чрезмерно много времени.

Во-первых, учеба. Литературу и искусство он решил изучать «со дна, а не с поверхности». Составил обширный план, который выполнял со свойственной ему методичностью и аккуратностью. Мы, молодые, приходя к нему и видя на столе десятки книг, испещренных пометками, переложенных закладками и конспектами, всегда удивлялись его работоспособности и искренне завидовали ему. На подобный труд мы были неспособны.

Он продолжает работу в архивах в поисках материалов, необходимых для будущих его трудов, связанных и с рабочим движением в Иваново-Вознесенске и с гражданской войной.

И все это без отрыва от основной работы в Высшем военном редакционном совете и журнале «Военная мысль и революция». Без отрыва от основной работы в ПУРе.

Пишет вчерне пьесу «Вера», читает ее Нае и мне. И, несмотря на лестные наши отзывы, совершенно неудовлетворенный, прячет ее в дальний ящик стола

(«Становлюсь все требовательнее, все осторожнее отношусь к тому, что пускаю в свет».)

И тут был он глубоко травмирован неожиданным ударом.

А. К. Воронений отклонил его повесть «Красный десант», даже не посчитав нужным подробно поговорить с автором о причинах отказа.

Александр Константинович Воронский сыграл немалую роль в развитии советской литературы в первой половине двадцатых годов. И как критик и как редактор журнала «Красная новь». Он сумел привлечь к журналу и писателей-реалистов, выступавших еще до революции (В. Вересаев, К. Тренев, М. Пришвин, А. Толстой, В. Шишков и др.), и таких даровитых молодых прозаиков, как Всеволод Иванов, Л. Леонов, И. Бабель, С. Семенов. На страницах «Красной нови» печатались и пролетарские писатели Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой и поэты «Кузницы». В журнале были опубликованы и новые произведения М. Горького «Мои университеты», «Дело Артамоновых» и др. Горький одобрительно отзывался о работе Воронского в «Красной нови».

Да и сам Фурманов в рецензии на первую книгу «Красной нови» (1921) писал: «Можно только приветствовать, что в художественных

произведениях и в литературно-критических очерках ясная линия реализма, совершенно чуждого крикливым и дешевым забавам неистовых футуристов и имажинистов, пытающихся внутреннюю пустоту скрыть под размалеванной внешностью».

Положительным в деятельности Воронского являлось и требование высокого качества принимаемых в журнал произведений.

Но Воронский, как отмечал впоследствии в своем дневнике Фурманов (отражая взгляды мапповцев), рассматривал творчество писателей-«попутчиков» «исключительно как мастеров слова, оставляя за бортом сторону идеологическую». В подобной оценке Фурманова было некоторое преувеличение, возникшее в пылу острой полемики, но ослабление идейной требовательности к писателям, несомненно, сказывалось в ряде критических статей Воронского, часто противоречивых, порой не соответствовавших собственной его редакторской практике.

В статье своей «О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии» Воронский отстаивал ошибочное положение о невозможности создания пролетарской литературы и искусства в период переходный от капитализма к социализму.

В известной мере этим и объяснялся его весьма скептический подход к произведениям молодых пролетарских писателей, в том числе и Фурманова.

Но теоретические споры Фурманова с Воронским развернулись значительно позже. А сейчас неудача с первой повестью сильно обескуражила Дмитрия Андреевича и нашла, конечно, отражение свое на страницах дневника.

«Досадно, грустно, зло... — записал Фурманов. — К Этому еще примешалось чувство негодования на Воронского как на личность. Я не переваривал его всегда, насколько знал его в Иванове и там встречался...

В этой области, значит, пока неудача. Рукопись снова у меня на руках. («Красный десант» был вскоре опубликован в историческом журнале «Пролетарская революция» и вышел отдельным изданием в издательстве «Красная новь». Впоследствии издавался он многократно. — А. И.)

Состояние духа у меня сейчас тяжелое, я удручен...»

В эти дни беспокоили его и физические немощи. Тяжелая болезнь горла. Сказались речи на многолюдных митингах, на открытом воздухе, на морозе («Бывало, сходишь с трибуны полумертвый»). Нервный тик всего лица — следы фронтовой жизни, массы переживаний.

Но он был сильным человеком, Дмитрий Фурманов. И он не давал тяжелым думам овладеть собой.

...Пришла новая весна. Весна 1922 года. И вдруг, отстранив все другие темы, все другие заботы, выступил замысел, который давно уже таился где-то в подсознании.

«На первое место выступил Чапаев... Голова и сердце полны этой рождающейся повестью. Материал как будто созрел... Готовлюсь: читаю, думаю, узнаю, припоминаю, делаю все к тому, чтобы приступить, имея в сыром виде едва ли не весь материал, кроме вымысла...»

Нельзя было не написать обо всем пережитом. Нельзя было оставить это только в дневниках и записных книжках.

В книге «Чапаев» Фурманов так характеризовал дневниковые записи комиссара дивизии Клычкова: «Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себе ясного отчета».

Книга о Чапаеве складывалась в течение многих месяцев. Замысел оформлялся постепенно. Но не было еще решающего творческого «толчка».

Еще в марте двадцать второго года он записывает в свой дневник: «Поглощен. Хожу, лежу, а мысли все одни: о Чапаеве». Но только в начале августа, в дни летнего отпуска, который Фурмановы проводили у брата Аркадия в селе Дунилово, близ Иванова, только в начале августа пришел этот долгожданный «творческий толчок».

«Ехали из деревни. Дорога лесом. Дай пойду вперед; оставил своих и пошагал. Эх, хорошо как думать! Думал, думал о разном, и вдруг стала проясняться у меня повесть, о которой думал неоднократно и прежде, — мой «Чапаев». Намечались главы за главой, сформировывались типы, вырисовывались картины и положения, группировался материал. Одна глава располагалась за другою легко, с необходимостью. Я стал думать усиленно и, когда приехал в Москву, кинулся к собранному ранее материалу, в первую очередь к дневникам. Да черт возьми! Это же богатейший материал, только надо суметь его скомпоновать, только... Это первая большая повесть...»

Вернувшись в Москву, он снова перелистал страницы своих дневников. Ожили картины боевых дней, вспомнились друзья, боевые

товарищи. Чапаев мчался на своем коне впереди бойцов, и знаменитая бурка развевалась по ветру...

Долгими ночами сидит Дмитрий Фурманов над своими записками. Будущая книга волнует, захватывает его. Он думает только о ней.

«Ее надо сделать прекрасной. Пусть год, пусть два, но ее надо сделать прекрасной. Материала много, настолько много, что жалко даже вбирать его в одну повесть. Впрочем, она обещает быть довольно объемистой. Теперь сижу и много, жадно работаю. Фигуры выплывают, композиция дается по частям, то картинка выплывает из памяти, то отдельное удачное выражение, то заметку вспомню газетную — приобщаю и ее; перебираю в памяти друзей и знакомых, облюбовываю и ставлю иных стержнями — типами; основной характер, таким образом, ясен, а действие, работу, выявление я ему уже дам по обстановке и по ходу повести. Думается, что в процессе творчества многие положения рождаются сами собою, без моего предварительного хотения и предвидения. Это при писании встречается очень часто. Работаю с увлечением. На отдельных листочках делаю заметки; то героев перечисляю, то положения — картинки, то темы отмечаю, на которые следует там, в повести, дать диалоги... Увлечен, увлечен, как никогда».

Фурманов уже не раз перечел свой дневник. Ему кажутся недостаточными его записки — участника и очевидца, он собирает решительно все материалы о дивизии. Он достает комплекты газет, архивные материалы. Он хочет ясно представить себе обстановку, жизнь всей страны, чтобы не измельчить тему, чтобы не сделать свою книгу просто мемуарами или рассказами о тех или иных боевых эпизодах.

Важно все — ведь ему нужно будет показать, как Чапаев стал Чапаевым. Его книга должна быть повестью о гражданской войне, о том, как в жестоких боях с врагами крепла Советская республика.

— У меня такое чувство, — делится он со мной во время нашей очередной прогулки от памятника Гоголю к памятнику Пушкину, — что я еще не все знаю, что я слишком рассчитываю на свой личный опыт, что у меня не хватает кругозора.

Фурманов подымает военные архивы, усиленно штудировать работы молодых военных ученых, слушателей специальных курсов Военной академии РККА, политработников, изучает работу фронтовых театров, библиотек. Особое внимание уделяет материалам о работе с бойцами разных национальностей.

Писатель подробно анализирует положение Сибири, его интересует разбор действий Колчака, оценка обстановки на всех фронтах и, главное, на

Восточном фронте. Фурманов изучает отдельные операции: разгром Колчака под Бугурусланом, Белебеем, переход наших войск в наступление на Уфу, взятие Уфы. Он сам обо всем этом знал на практике, сам был в центре событий, однако считает необходимым еще и еще раз проверить личные впечатления по материалам военных специалистов.

Поиски основного, стержневого, ключевого отличают Фурманова уже на этом первом этапе его творческой работы. Пожалуй, таким ключевым положением книги явилась тема о роли пролетарского костяка в Чапаевской дивизии, о роли партии в воспитании коллектива дивизии и самого Чапаева.

Фурманов готовится к работе над книгой, как к решительному сражению. Иногда сомнения одолевают его.

«Прежде всего — ясна ли мне форма, стиль, примерный объем, характер героев и даже самые герои? Нет!

...Имеешь ли имя? Знают ли тебя, ценят ли? Нет! Приступить по этому всему трудно. Колыхаюсь, как былинка. Ко всему прислушиваюсь жадно. С первого раза все кажется наилучшим писать образами — вот выход. Нарисовать яркий быт так, чтобы он сам говорил про свое содержание, — вот эврика! К черту быт — символами. Символы долговечней, восторженней, чем фотографированный быт. В символах выход...»

«Символы» Фурманов понимал как обобщение, типизацию.

Материал весь собран. И теперь проблемы формы, стиля, жанра в центре внимания Фурманова.

«Ни одну форму не могу избрать окончательно. Вчера в Третьей студии говорили про Вс. Иванова, что это не творец, а фотограф... А мне его стиль мил. И я сам, верно, сойду, приду, подойду к этому — все лучше заумничания футуристов... Не выяснил и того, будет ли кто-нибудь, кроме Чапая, называться действительным именем (Фрунзе и др.). Думаю, что живых не стоит упоминать. Местность, селения хотя и буду называть, но не всегда верно — это, по-моему, не требуется: здесь не география, не история, не точная наука вообще... О, многого еще не знаю, что будет!»

И опять через несколько дней в своих дневниках он возвращается к этой же теме:

«Как буду строить «Чапаева»?

1. Если возьму Чапая, личность исторически существовавшую, начдива 25-ой, если возьму даты, возьму города, селения, — все это действительно, в хронологической последовательности, имеет ли смысл тогда кого-нибудь окрещивать, к примеру Фрунзе окрещивать псевдонимом? Кто не узнает? Да и всех других, может быть... Так ли? Но

это уже будет не столько художественная вещь, повесть, сколько историческое (может быть, и живое) повествование.

2. Кое-какие даты и примеры взять, но не вязать себя этим в деталях. Даже и Чапая окрестить как-то по-иному, не надо действительно существовавших имен — это развяжет руки, даст возможность разыграться фантазии».

Так, разговаривая с собой на страницах дневника — окончательно систематизируя и подготавливая материалы, приступает Фурманов к основной работе над книгой.

Прежде всего, Фурманов составляет общий план книги, варьируя и меняя его частично в процессе самой работы, короткие и более развернутые планы отдельных глав и картин, предварительные характеристики действующих лиц (здесь особое место занимает характеристика Чапаева), делает записи отдельных наблюдений, художественных деталей. К плану каждой отдельной главы Фурманов подшивает соответствующие выдержки из дневников и записных книжек. Особое место в так называемом творческом аппарате книги занимают различные варианты отдельных глав.

В архивах Фурманова хранятся и записи, относящиеся к предыстории дивизии, до его встречи с Чапаевым, записи, сделанные по рассказам старых соратников Чапаева.

Эти материалы не были полностью использованы в книге. Фурманов думал впоследствии расширить книгу, реализуя эти записи. Они нужны были ему для того, чтобы показать Чапаева в росте, в развитии, в движении.

Просматривая собственные дневники, Фурманов отбирает основное, отбрасывает ненужные, второстепенные детали. Мы найдем в дневниках многие эпизоды, которые потом не вошли в книгу. Но то, что вошло в книгу, конечно, гораздо полнее дневников. Фурманов идет от конкретного к общему, подчиняет весь материал основной идее книги, основному плану.

...Перечитав свои дневники через три с половиной года после непосредственных записей в дивизии, Фурманов отмечает 21 сентября 1922 года:

«Писать все не приступил: объят благоговейным торжественным страхом. Готовлюсь... Читаю про Чапаева много — материала горы. Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить? В творчестве четыре момента... 1. Восторженный порыв. 2. Момент концепции и прояснения. 3. Черновой набросок. 4. Отделка начисто... Я —

во втором пункте, так сказать, «завяз в концепции». Встаю — думаю про Чапаева, ложусь — все о нем же. Сижу, хожу, лежу — каждую минуту, если не занят срочным другим, только про него, про него... Поглощен. Но все еще полон трепета».

Образ главного героя больше всего волнует его.

19 августа 1922 года Фурманов записывает:

«Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь больше к первому».

В *дневниках*, в заметках на отдельных листках мы находим у Фурманова-комиссара довольно пространные записи о чапаевской «требухе», «грехах». Фурманов отмечает холодную встречу Чапаевым иваново-вознесенских рабочих, его неприязнь к политотделам и комиссарам. Он резко критикует ошибки Чапаева, помогает ему их осознавать и выправлять, не останавливаясь в таких случаях даже перед тем, чтобы вступить в конфликт с Чапаевым.

В *повести* Фурманов-художник также нисколько не идеализирует Чапаева. Он против слащавой, паточной романтизации, но отмечает и снижающие образ героя гражданской войны лишние натуралистические детали, зафиксированные в дневниковых записях комиссара Чапаевской дивизии. Он «лепит» Чапаева, основываясь на реальном материале, но из этого материала он отбирает лишь то, что может служить типизации образа.

Фурманову претит какая бы то ни была идеализация стихийности. Он хочет показать, как волн партии организует стихийную партизанщину, преодолевает отсталое и в характере самого Чапаева. Он хочет показать самый процесс формирования героя. Автор дневников двадцать второго года, пройдя сам большой путь развития, несомненно, глубже проникает в явления действительности, чем автор дневников девятнадцатого года. В 1919 году Фурманов наблюдал, записывал, часто регистрировал факты. Теперь у записей другое назначение. В двадцать втором году Фурманов обобщает. В девятнадцатом году Фурманов главным образом комиссар дивизии. В двадцать втором году Фурманов — художник. «Чапаев» является книгой высокой художественной идеи, книгой, очень далекой от натуралистической бытовщины.

Разными путями пришли к большевизму Фурманов и Чапаев, но вот они встретились, их дороги сошлись, и задачей писателя Фурманова, задачей большевика Фурманова, его партийным писательским долгом было

поведать искренне и правдиво о том, как пришел Чапаев к революции, как он стал воспитателем тысяч людей и их вожаком.

И в то же время реалистический образ Чапаева не лишен романтики. Именно в сплаве реализма и романтики сила этого образа у Фурманова. Чапаев дается в его типическом и в его индивидуальном. Любопытно сравнить два эпизода романа. Как рисовался Чапаев Фурманову (Клычкову) до того, как он встретился с ним, и каким он предстал перед писателем в своей живой реальности. Здесь же интересно показать на примере, как обогащаются в книге первоначальные дневниковые записи.

Первая запись в дневнике о встрече с Чапаевым относится к 9 марта 1919 года (мы уже упоминали о ней). Фурманов записывает:

«Вернулись часа в три. Только что разделись, явился вестовой и известил, что приехал Чапаев. За ним были посланы на станцию подводы. Но пока что время затянулось до шести часов. Я не дождался, заснул. Утром, часов в семь, я увидел впервые Чапаева. Передо мною предстал по внешности типичный фельдфебель, с длинными усами, жидкими, прилипшими ко лбу волосами; глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, одет по-комиссарски: френч и синие брюки. На ногах прекрасные оленьи сапоги. Перетолковав обо всем и напившись чаю, отправились в штаб. Там он дал Андросову много ценных указаний и детально разработал план завтрашнего выступления».

Эта суховатая, походная запись, расширенная, обогащенная художественными деталями, в книге становится «сочнее» и убедительнее.

Чапаев рисовался Клычкову в образе легендарного богатыря. И вот первая встреча:

«Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.

— Здравствуйте. Я — Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

— Клычков. Давно приехали?

— Только со станции... Там мои ребята... Я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью на фронте шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли». (Мы приводим здесь и далее последнюю редакцию, художественно более полноценную, чем редакция первого издания. — А. И.) «Обыкновенный

человек, сухощавый, среднего роста, видимо, не большой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие, темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошены на сундук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева». (Так записывал вечером Федор Клычков. Фурманов записывал, как мы видели, не совсем так. В книге дневниковая запись значительно развита, ей придана большая динамика и выразительность. «Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вслед и он, Чапаев»).

Клычков несколько разочарован. Живой Чапаев не соответствует представлению о легендарном богатыре. Сказочный облик Чапаева как бы развенчивается Фурмановым, но в то же время вырисовываются истинные черты этого замечательного самобытного народного героя: его ум, организаторские способности, его сила, его военный талант, его связь с народом, с массами. Перед нами возникает истинный, невыдуманный, неприукрашенный, народный герой. Перед нами возникает образ Чапаева во всей его многогранности, образ Чапаева реального и земного. С каждой новой страницей мы обогащаем свое представление о Чапаеве. Все черты даются не в механическом, а в диалектическом единстве, раскрываются перед нами постепенно, с развитием эпизодов романа. Начинаешь понимать один из основных эстетических принципов Фурманова: «Никогда не увлекаться в отрицательном типе изображением отрицательных черт, а в положительном — положительных... Весь характер сразу же не раскрывать, а только по частям. Черты характера перемешивать, а не тенденциозить в одну сторону...» Эстетика и художественная практика Фурманова совпадают. Образ Чапаева не вымышлен и не фотографичен.

Сличая различные записи дневника Фурманова с книгой, можно увидеть, как проходил этот процесс отбора, процесс «оснащения» дневниковых записей художественными и психологическими деталями, процесс синтеза. Книга обогащена также философскими размышлениями Клычкова, обобщающими те или иные события. В этом отношении наиболее характерна глава «Сломихинский бой». В дневниках, в

непосредственных записях после боя, Фурманов говорит о своем первом восприятии боя, о страхе и преодолении этого страха. Запись в дневнике — только скелет будущей главы, та скупая сюжетная канва, по которой будет вышита в книге сложная картина первого боя. И вот возникает перед нами жизнь, раздвигая рамки сюжета, наполняя его полнокровным содержанием, жизнь, воссозданная и преображенная пером художника-реалиста. Комиссар Фурманов — комиссар Клычков — один из основных героев повести, автор дневниковых записей о первом бое, на наших глазах превращается в писателя Фурманова, овладевающего мастерством высокохудожественного реалистического рассказа.

И вот появляется на страницах книги то, чего не могла дать суховатая дневниковая запись.

Колоритный пейзаж поля сражения. Пейзаж, населенный многими людьми, показанными в сложных столкновениях. Динамика самого боя, описанная и в зрительном и в звуковом плане (в дневнике это было только намечено одной-двумя фразами).

Развернутая характеристика основных действующих лиц книги — Чапаева и Клычкова. Очень интересна их взаимосвязь и противопоставление в этом первом бою. Психологические портреты Чапаева и Клычкова с тонким рисунком мельчайших нюансов их переживаний. Это не просто командир и комиссар на поле боя. Это конкретно взятые Чапаев и Клычков во время одного из самых острых конфликтов книги.

Нигде нет самолюбования, рисовки. С беспощадной откровенностью рассказывает Фурманов о первом боевом крещении Клычкова, о своем первом боевом крещении.

«Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волнением, которое овладевает всегда при сближении с местом боя и независимо от того, труслив ты и робок или смел и отважен — спокойных нет, это одна рыцарская болтовня, *что есть совершенно спокойные в бою, под огнем*, — этаких пней в роду человеческого не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно *сдерживать себя и не поддаваться* быстрому воздействию внешних обстоятельств, это вопрос иной. Но *спокойных в бою* и за минуты перед боем не бывает и не может быть...»

И дальше:

«...Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охладело. Будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти как

шел до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь... Так, прячась за лошадь, и он перебежал раза два, а там вскочил в седло и поскакал. Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел — только *отсюда*, из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой, страшной опасности...»

Когда он в первый раз читал нам эту главу, по рукописи, на страницах которой еще, казалось, не просохли чернила, мы были поражены искренностью и мужеством писателя, ненавидевшего позу, не боявшегося показать своего героя в его становлении, со всеми его колебаниями и минутными слабостями.

Именно в этой глубокой правдивости, которую чувствовал читатель, была сила художественной убедительности Фурманова.

Высокое искусство побеждало схему и олеографию. «Чапаев» — это книга не только о Чапаеве, но и о Клычкове. О Фурманове.

Психологический рисунок обоих образов — и Клычкова и Чапаева — выражен различными художественными приемами: и внутренний монолог, и острый, обрывистый, динамический диалог, и авторская, фурмановская, оценка переживаний и поступков Клычкова, действий Чапаева, и авторское философское обобщение со взглядом в будущее.

Все, что только намечено в дневнике, здесь оживает, дается в движении. Показана борьба со «старым», «недостойным» нового человека, рождение новых чувств, процесс закалки Клычкова. Конечно, это сумел сделать художник-реалист, беспощадный к самому себе и своим героям и в то же время не принижающий их, верящий в них, умеющий глубоко проникнуть в психологию своих героев, способный подняться до высоты художественного обобщения.

Бывает и так, что дневниковая запись используется Фурмановым как материал для нескольких глав книги.

Так, «митинг Чапая» в дневнике сконцентрирован в одной записи, в книге о, дельные эпизоды, связанные с митингом, разбросаны по отдельным главам, органически вплетаются в эти главы, входя в композицию книги, намеченную Фурмановым уже после работы над дневниками.

В книге много и лирических сцен, которые, несомненно, возникли в воображении Фурманова уже тогда, когда он думал о боевых товарищах, перелистывая свои старые дневниковые записи. Так, запись «Ночные огни» — одна из самых интересных дневниковых записей — в книге значительно развита.

Суховатые строчки дневника как бы оделись в многоцветную ткань художественного произведения. Здесь и оснащенный новыми художественными деталями пейзаж ночной степи, и совсем по-иному, кистью художника написанный степной ливень.

Здесь и более глубокий показ настроений, переживаний, ощущение какой-то подавленности, заброшенности, «неуютности...». И очень точно описанные далекие блуждающие ночные огни в степи.

И главное, совсем иное, психологически углубленное развитие всего эпизода В дневнике скупо сказано: «Было холодно. Чапай приткнулся рядом...» И все. И вслед за этим «поднялись с зарей — мокрые, заглодалые, голодные, как волки...»

В книге совсем по-иному:

«..Было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому, и вдруг... запел — тихо, спокойно и весело запел свою любимую: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала — не ослышался ли?..»

И дальше идут проникновенные рассказы Чапаева о его бурной жизни. Он не раз видел в лицо смерть и эту смерть побеждал.

«— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было хуже моего. Да надумаю и вижу, что терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть?..»

И вступает в разговор Петька и рассказывает о себе, о своих «случаях» и переживаниях. И люди раскрываются перед нами какими-то новыми гранями.

А потом уже идет финал — рассвет, заря, солнце...

Эти разговоры, лирические песни, которые поет Чапаев в степи, обогащают и всю книгу и образы ее главных героев.

— Перечитал я эту свою дневниковую запись, — рассказывал мне Фурманов, — вспомнил эту поездку, эти огоньки в степи и вижу, нельзя эту запись в таком оголенном, суховатом плане переносить в книгу. По правде-то мы в тот раз действительно устали и будто бы так и заснули без разговоров. А оставить вот так эту сцену в книге, только с усталостью, грязью, слякотью, нельзя, никак нельзя. Есть какая-то другая, художественная правда... И вспомнил я другие ночевки в степи. И захотелось мне именно здесь, в этой главе, показать какие-то иные грани души Чапаева А то, что здесь нарушилось какое-то хронологическое правдоподобие и точность дневниковых записей, так это ведь не беда. Ведь

дневники для книги, а не книга для дневников. И захотелось мне рассказать и об огнях в степи и о разговорах сокровенных и придать больше душевного тепла этой сцене... Ну, как удалось... не знаю.

Прошло много лет, и я не ручаюсь за абсолютную точность этих слов Митяя. Не записывал я их тогда Но и смысл слов и интонация были именно такими в том задушевном нашем разговоре.

Особое место в фурмановских записях занимают сцены, посвященные гибели Чапаева. Работая над последней главой книги, Фурманов использовал рассказы старых чапаевцев, близко знакомых с подробностями трагической ночи, лбищенской драмы 5 сентября. Глава эта, звучащая как реквием, — прекрасный героический эпилог всей книги.

Чапаев, тонущий в водах бурной реки, верный Петя Исаев, до последней минуты защищающий своего любимого командира, — образы высокой эпической силы, образы настоящих людей, побеждающих смерть.

И не случайно в годы Отечественной войны было создано много легенд, как бы продолжающих эту главу книги Фурманова. Чапаев не умер. Он был спасен (в одних вариантах — Петькой, в других — неожиданно вернувшимся Фурмановым). Долгие годы партия держала его в резерве, чтобы сохранить для будущих боев. И вот в годы Отечественной войны ЦК вызвал Чапаева и поручил ему командование самой боевой армией, и Чапаев наголову разбил гитлеровцев. Эти легенды имели особое хождение в армии, где командовал артиллерийской бригадой сын Чапаева — Александр. В дни гражданской войны Николай Михайлович Хлебников, показанный Фурмановым в романе под фамилией Хребтова, получил орден Красного Знамени из рук самого Василия Ивановича Чапаева на поле боя. Через много лет, в годы Великой Отечественной войны, генерал-полковник Хлебников, Герой Советского Союза, вручил орден боевого Красного Знамени Александру Васильевичу Чапаеву. Так повторяется история...

Глава о гибели Чапаева с особым волнением воспринималась всегда нашими молодыми читателями.

Уже после выпуска фильма «Чапаев» нам пришлось в кинозале увидеть мальчонку лет десяти, который, что называется, «ел глазами» экран.

— Небось первый раз смотришь? Понравилось? — спросили мы его.

— Ну да, первый, — даже обиделся мальчик, — семнадцатый...

— ??

— А я все прихожу и думаю... А может, он выплывет...

Однако Фурманов не только развивает и дополняет свои дневниковые

записи в книге. Часто он совсем не реализует отдельные записи, наброски и даже сокращает свой предварительно задуманный план. Так, выпадают намеченные сначала главы «Ревность», «Клеветник» и др. Они оказались ненужными в книге, хотя в дневниках Фурманова мы находим нема-по материалов, очевидно являвшихся основой для этих предполагаемых глав.

Не вошли в книгу и споры Федора Клычкова, Андреева, Бочкина и Лопаря на общие темы: об этике, о морали, о пережитках старого в сознании человека.

Фурманов умел отбирать основное, избегал риторики, отметал то, что, казалось ему, загружает книгу излишними, уводящими в сторону подробностями. Так была снята им в окончательной редакции книги довольно значительная глава «Револьвер», повествовавшая о собственнических чувствах, случайных, не органичных для Клычкова, и об их преодолении. О проблемах воспитания, морали, этики он собирался написать целую книгу.

...В последний раз перечитывает он рукопись, и снова вся жизнь дивизии встает перед ним. Он записывает в дневник:

«А может быть, уже такое героическое время наше, что и подлинное геройство мы приучились считать за обыкновенное, рядовое дело... Пройдут десятки лет, и с изумлением будем слушать и вспоминать про то, что кажется теперь, при изобилии, таким обыкновенным и простым... Так, может быть, обыкновенными кажутся и нам здесь необыкновенные деяния Чапаева. Пусть судят другие — мы рассказали то, что знали, видели, слышали, в чем с ним участвовали многократно».

«По заголовку «Чапаев», — пишет Фурманов в другом месте, — не надо представлять, будто здесь дана жизнь одного человека, — здесь Чапаев собирательная личность».

Эту мысль подчеркивает Фурманов в специальной заметке «Мои объяснения».

«Обрисованы исторические фигуры — Фрунзе, Чапаев. Совершенно неважно, что опущены здесь мысли и слова, действительно ими высказанные, и, с другой стороны, приведены слова и мысли, никогда ими не высказывавшиеся в той форме, как это сделано здесь. Главное — чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена, а детали значения совершенно не имеют. Одни слова были сказаны, другие могли быть сказаны — не все ли равно? Только не должно быть ничего искажающего верность и подлинность событий и лиц» (подчеркнуто всюду Фурмановым — А. И.).

Эта запись в известной мере является ключом к раскрытию замысла

Фурманова, его творческого метода. Писатель-реалист, привлекая огромное количество деталей боевой жизни и быта чапаевцев, писатель-реалист, идущий в изображении своих персонажей от жизни, от конкретного, в то же время достигает высокого обобщения, рисует действительность в революционном развитии, производит отбор, не находясь в плену у фактов и деталей (те, которые ему не нужны, он смело отбрасывает), показывает роль и место Чапаевской дивизии в жизни страны, в общей борьбе. Писатель сочетает реализм с революционной романтикой. Создает образы героев, глядящих далеко вперед.

Несомненно, органически связано с реалистической книгой Фурманова и не вошедшее в книгу эпическое посвящение автора:

«Мужикам Самарской губернии, уральским рабочим, красным ткачам Иваново-Вознесенска, киргизам и латышам, мадьярам и австрийцам — всем, кто составлял непобедимые полки Чапаевской дивизии, кто в суровые годы гражданской войны часто без хлеба, без сапог, без рубах, без патронов, без снарядов, с одним штыком сумел пройти по уральским степям до Каспийского моря, по самарским лугам на Колчака, на западе против польских панов, кто мужественно бился против белоказацкой орды, против полков офицерских, кто кровь свою пролил за великое дело, кто отдал жизнь свою на алтарь борьбы, — всем вам, герои гражданской войны, чапаевцы, я посвящаю свою книгу».

Новый, 1923 год мы встречали на квартире Фурманова. Много было песен и шуток. Только Митяй иногда среди бурного веселья уходил в себя, задумывался. И мы чувствовали, что он чем-то необычайно взволнован.

4 января Фурманов заканчивает книгу. И вот последняя бессонная ночь, замыкающая десятки ночей, заполненных «Чапаевым».

«Только что закончил я последние строки «Чапаева». Отделявал начисто. И остался я будто без лучшего, любимого друга. Чувствую себя как сирота. Ночь. Сажу я один за столом у себя — и думать не могу ни о чем, писать не умею, не хочу читать. Сажу и вспоминаю: как я по ночам — страницу за страницей писал эту первую многомесечную работу... А теперь мне не о чем, не о ком думать... Приблизился час моего вступления в литературную жизнь...»

Этот «час» настал, собственно, еще задолго до выхода «Чапаева».

20 января отдельной книжкой выходит, наконец, «Красный десант» и

сразу привлекает внимание читателей.

Александр Серафимович Серафимович, наш литературный старшой, еще незнакомый с Фурмановым, написал:

«Когда я прочитал... «Красный десант», передо мною вдруг блеснула черная южная ночь, шелест камыша и таинственность смерти, которая невидимо плыла с этими потонувшими в черноте баржами, — люди плыли на заведомую гибель, в самую глубь, в самый тыл врагов, — туда, где пощады не будет. И мне вдруг стало трудно дышать. Да ведь это ж художник...»

Так в оценке первой же книги Фурманова разошлись во взглядах Серафимович и Воронский.

Выход «Красного десанта», конечно, был великой радостью для Фурманова. Но все мысли его были поглощены «Чапаевым». Ни за что другое не мог он взяться, пока не будет решена судьба этой любимой книги.

«Чапаев» все еще продолжал жить в его сознании, и он не мог в эти дни думать ни о других рукописях, ни об университетской учебе.

Куда сдавать книгу? Конечно, к Воронскому он больше не пойдет. Может быть, туда же, в Истпарт, где так хорошо отнеслись к его «Красному десанту». Это, конечно, не издательство художественной литературы. А что же его книга — роман, повесть, историческая летопись? Но какая разница. Главное, чтобы ее поняли, чтобы ею заинтересовались. А что, если откажут в Истпарте? Тогда уже никому рукопись не понесешь. Будешь читать ее только друзьям за домашним чаем и выслушивать до поры до времени их похвалы.

Работать долгие месяцы, дни и ночи, ночи и дни и вдруг... Однажды даже пришла мысль: не послать ли рукопись самому Ленину? Но он знал, что Ленин болен, и быстро погасил эту мысль. Да и кто бы разрешил ему отнимать у Ильича не только часы, а минуты!

Ему очень хотелось, чтобы «Чапаев» вышел к годовщине Красной Армии. Оставались считанные дни, и, еще продолжая работать над окончательной отделкой книги, он первую половину отнес в Истпарт. Через десять дней сдал и вторую часть. Узнал, что рукопись еще никто не смотрел. Никому она, значит, и не нужна.

Тогда Фурманов набрался храбрости, забрал у секретаря всю папку и пошел прямо в кабинет Лепешинского. Выяснилось, что страхи его были напрасны.

Лепешинский уже слышал о «Чапаеве», помнил о Фурманове еще по «Десанту» и тут же, взяв папку, стал листать рукопись.

— А ну, — сказал он, улыбаясь, — возьмем пару страниц на счастье. Господи помилуй...

Фурманов помертвел... как на экзамене. А вдруг не тот билет вытащит? Лепешинский стал читать вслух.

Попалась глава о битве за Сломихинскую. Речь Чапаева.

Лепешинский встrepенулcя и даже как бы несколько удивился.

— Хорошо... Интересно... Очень хорошо, — приговаривал он и даже, точно смакуя, повторил несколько фраз.

— Ну, теперь не задержу, — сказал Пантелеймон Николаевич, — сегодня же прочту все целиком. Если, конечно, не оторвут.

Условились, что Фурманов зайдет дня через два.

Выходил Фурманов из Истпартa, прыгая через две ступеньки, как мальчик.

Прочесть все-таки всю рукопись за два дня Лепешинский не успел. Оторвали. Хворал. Но он все же принял Фурманова, сказал, что прочел около одной трети, что имеются великолепные места, в особенности хороши и очень реалистичны диалоги. Но вот встречается многословие, недописаны некоторые характеры, включены совсем ненужные по ходу сюжета сцены.

Видно было, что старик читал основательно, с карандашом.

Фурманов, напряженно воспринимавший каждое его слово, дал право ему самому беспощадно сократить все пустое и ненужное.

Лепешинский усмехнулся. Но окончательного своего слова еще не сказал.

И опять потянулись долгие дни. Сдержанный и внешне спокойный, Фурманов никому, даже Нае, не рассказывал о своих треволнениях. Но тревога не оставляла его ни минуты.

Чтоб испытать собственную выдержку, он пришел в Истпарт не через назначенные два дня, а через пять.

Боялся показаться назойливым, автором-просителем. Приготовился к самому худшему. Времени до армейской годовщины осталось очень мало. Значит, все. Значит, не сбьются мечтам ни о выходе книги к празднику, ни об издании ее вообще.

Наконец опять он один на один с Лепешинским.

— Здравствуйте, товарищ Лепешинский!

Поднял седую голову, взглянул озорно, даже улыбаясь.

— А... а... здравствуйте, здравствуйте, товарищ Фурманов, или, может быть, товарищ Клычков!..

Что-то будет... Что-то будет...

(Сам Пантелеймон Николаевич рассказывал нам впоследствии, что ему даже послышалось, как гулко стучит сердце Фурманова.)

— Рукопись ваша отдана в набор...

Фурманов совсем по-ребячьи ахнул от восторга, подпрыгнул даже на стуле.

— Ну, ну, — сказал Лепешинский, — вы только меня не ругайте, молодой мой друг. Кое-что я там почеркал. То, что к сюжету, к самому Чапаеву, отношения не имеет. Ну и всякие там сорняки языковые постарался выполоть. Но вот читал я — и в некоторых местах очень, очень растрогался... Особенно эта последняя сцена, когда умирает Чапаев: она превосходна... Превосходна. Или театр этот... Ваша эта героиня хороша — как ее: Зинаида... Петровна?

— Зоя Павловна, — подсказал Фурманов и подумал, как будет довольна Ная (это ведь Ная-то — Зоя Павловна), когда он ей передаст слова эти.

— Да, хороша она... Культработница... Да... вообще вторая половина — она лучше первой, сильнее, содержательнее, крепче написана. Даже не половина, а две трети... В общем отлично. Гоним, хотим успеть, чтобы к годовщине Красной Армии. Она — эта книга — большой имеет интерес. Большое получит распространение. Хорошо будет читаться. Да! Хорошая будет книга. Повторяетесь кое-где, это верно, но я выправил. Очень внимательно выправлял. Неопытность видна. Но хорошо... хорошо...

Фурманов от радости хотел броситься ему на шею и крепко расцеловать.

Говорили долго. О многом. Позвали художника. Обсудили обложку. Решили дать портрет Чапаева. Потом Фурманов рассказал Лепешинскому и о замыслах «Мятежа».

Вышел ног под собой не чуя. По дороге ничего не видел. Чуть не попал под трамвай. Примчался домой, на Нащокинский, бросил на пол портфель, пустился вприсядку.

Ная сначала недоумевала, а потом обняла мужа.

— Знаю... знаю... знаю... Приняли? «Чапаева» приняли? Да?

— Да... да... — задышался Фурманов.

Через несколько дней Фурманов уже получил корректуру первых листов, потом верстку.

И сидя, опять по ночам, над выстрадавшими листами и снова и снова переживая те горячие боевые дни, он иногда отвлекался от корректур и опять беседовал с дневником своим. Казалось, он теперь счастлив.

Счастлив? А что такое счастье?..

«Идучи бульваром, думал: где счастье? К примеру, скажем, написал вот книгу, «Чапаева» написал. Всю жизнь мою только и мечтал о том, чтобы стать *настоящим* писателем, одну за другой выпускать свои книги... Так неужели нельзя *счастьем* назвать то время, когда выходит *первая* большая книга?..

...Через неделю книга будет в руках. С удовлетворением, с надеждами возьму ее, буду верить и ждать, что станут о ней *говорить*, говорить обо мне; что «Чапаевым» открывается моя литературная карьера; что буду вхож и принят более радушно, чем прежде, на литсобраниях, в газетах, журналах. Это — неизбежно свершится». Но... «Нет больше погони за грошовым, мимолетным успехом... Он смешон. Его стыжусь... Вот почему, между прочим, не разменивался на статьи, а написал *большую книгу*... На «Чапаева» смотрю как на первый кирпич для фундамента... Готовлюсь ко второй работе, это верно будут «Таманцы», про которых говорил с Ковтюхом. (Он не решил еще окончательно, что будет раньше, — «Таманцы» или «Мятеж». — А. И.)

...Я себя мыслю наиболее целесообразно использованным именно в литературной работе...»

И опять, и опять он думает о литературе, которая должна быть близка народу, которая должна служить делу общей борьбы.

«Теперь эпоха борьбы, не отдыха. Вот лет через восемьдесят, когда везде будет советский строй, нечего и некого будет опасаться, не будет больше Пуанкаре, Ллойд-Джорджей, Борисов Савинковых, Махно и Пилсудских, Мартовых, Данов, Черновых и прочих, — да, тогда каждый индивидуально может быть, пожалуй, свободен... И делай, что тебе вздумается, только не злодействуй.

Теперь — борьба. Борьба за это новое, свободное сообщество Хочешь ты его или нет? Если хочешь, то не ограничивайся в хотении своем одними безответственными и ни к чему не обязывающими словами, а дело делай. Если же не хочешь, то ешь активно, по-настоящему, серьезно и на деле, тогда примиришься с мыслью, что ты недалеко ушел от Бориса Савинкова, организующего заговоры против Советской России. Говори прямо — хочешь или нет оставаться а la Савинков? Если да — что ж с тобой поделаться: открыто выступишь — бит будешь; в скорлупу свою скроешься, замкнешься — презираем будешь!..»

Как бы завершая все свои мысли о задачах искусства, которые были намечены еще в первых дневниковых записях десять лет назад, Фурманов пишет статью «Спасибо».

«Настоящим, подлинным художником нельзя считать того, кто занят в

искусстве разработкой элементов исключительно формальных...»

«Настоящий художник всегда выходить должен на широкую дорогу, а не блуждать по зарослям и тропинкам, не толкаться в скорбном одиночестве...

Художник лишь тогда стоит на верном пути, когда он в орбиту своей художественной деятельности включает основные вопросы человеческой жизни, а не замыкается в кругу интересов частных и групповых...»

«Надо уметь ловить пульс жизни, надо всегда за жизнью поспевать, — коротко сказать, надо быть всегда современным, даже говоря про Венеру Милосскую...»

Это его программа!.. Партийная программа, находящая органическое воплощение в собственной художественной практике.

Он еще не был тогда знаком, Дмитрий Фурманов, с Владимиром Маяковским, да и Маяковский не написал еще тогда своих замечательных строк, которыми можно было бы лучше всего выразить те мысли Фурманова, которыми пронизаны страницы его дневника, носящие общее заглавие: «Чапаев» и счастье».

*Я счастлив,
что я
этой силы частица,
Что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее и чище
нельзя причаститься
Великому чувству
по имени
— класс!..*

18 марта 1923 года «Чапаев» вышел в свет.

Вручая Фурманову первый экземпляр, еще пахнувший типографской краской, Пантелеймон Николаевич сказал:

— Хорошо. Очень хорошо. Это одно из лучших наших изданий... Особенно в таком роде — в таком роде еще не бывало. Это ново. Очень, очень хорошо...

И опять с самой дорогой своей книжкой в руках (второй экземпляр он оставил с теплой надписью Лепешинскому) Дмитрий мчался по московским улицам.

Торжествуя, он вручил ее Нае, Анне Никитичне, своей героине — Зое Павловне...

И они целый день просидели рядом над книгой, перелистывая страницы, снова вчитываясь в такие уже знакомые слова, которые совсем по-иному, чем в рукописи, глядели на них со страниц этой совместно пережитой и совместно выстраданной книги.

А вечером он уже записывал в дневник: «Теперь — теперь за «Мятеж». Лепешинский... обещал выписать из Турктрибунала все «мятежные» материалы. Отлично... Взволнован. Хочу писать, писать, писать...»

О «Чапаеве» сразу заговорили критики, заспорили о том, к какому жанру отнести эту книгу: что это, мемуарные записки политработника или произведение искусства?

Писатель-большевик сумел создать целую галерею героев, руководимых одной целью и вместе с тем нестандартных, очень несхожих по общественному положению своему, по развитию, по психологии. Здесь и Фрунзе, и Чапаев, и Клычков, и Петя Исаев. Здесь и два безногих бойца — лучшие пулеметчики дивизии, прошедшие с нею весь боевой путь, победившие свою физическую немощь, победившие самую смерть. Здесь и слепой красноармеец, нашедший дорогу из вражеского тыла в Чапаевскую дивизию. Здесь герои, с которыми мы встречались раньше у Максима Горького, с которыми (сила традиции!) мы впоследствии встретились и в книгах Николая Островского, и в «Молодой гвардии» Александра Фадеева, и в книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

Высоко оценили «Чапаева» многие руководящие работники Красной Армии: М. В. Фрунзе (что было особенно дорого Фурманову), В. А. Антонов-Овсеенко. «Хорошо написано, — сказал Антонов, — очень живо, легко, увлекательно и верно для той эпохи — эти качества неотъемлемы...»

И в то же время Антонов-Овсеенко рассматривал «Чапаева» только как часть большой эпопеи о гражданской войне, к работе над которой он советовал приступить Фурманову.

Да и сам Фурманов мечтал о том, что эта книга станет первой частью задуманной им эпопеи.

Этой сокровенной мечте писателя не суждено было воплотиться в жизнь.

Само собой разумеется, что мы, друзья Фурманова, молодые пролетарские писатели, приняли «Чапаева» восторженно, приняли как свое творческое знамя, не замечая даже тех художественных недостатков,

которые в книге, несомненно, были.

И не только мы, молодые.

Высоко оценили книгу Анатолий Васильевич Луначарский, старейший большевик-литератор, руководитель Истпарта Михаил Степанович Ольминский, Александр Серафимович Серафимович.

Особенно тронула Фурманова беседа с Ольминским. Старик высказал Фурманову и целый ряд критических своих замечаний. Но безоговорочно утвердил основное решение Фурманова, основной выбор дальнейшего пути, пути в литературу.

— Превосходно, — сказал он, — пишите. Непременно пишите, по этой дороге, по писательской, вам и надо идти, это ваш верный путь. Я читал и «Десант» ваш и вспоминал об Иваново-Вознесенске. Пишите, хорошо... Я старый и опытный литератор, поверьте мне, что в вас не ошибемся, пишите.

После разговора с Ольминским Фурманов почувствовал себя бодрее, увереннее в силах своих, спокойнее за успех новых работ.

С радостью приняли книгу и старые чапаевцы, и прежде всего Николай Михайлович Хлебников. Верность и любовь к своему другу Николай Михайлович Хлебников пронес через многие десятилетия. И сейчас он, Герой Советского Союза и генерал-полковник артиллерии, является старейшиной нашего фурмановского землячества.

Однако слава не вскружила голову Митяю. Конечно, всякая похвала была приятна ему. Но... Как-то поздно вечером на Пречистенском бульваре, на скамейке у памятника Гоголю, он делился со мной сокровенными мыслями своими, говорил о том, что не надо чересчур восторгаться похвалами, что они могут быть и плодом дружеских отношений, когда закрываешь глаза на все недостатки (как, например, у тебя, и у Наи, да и у Николы (Хлебникова), — усмехнулся он), и следствием подхалимажа (и то может быть — в нашей среде... а я ведь какое ни на есть, а начальство... редактор...), и опасения попасть впросак, недооценить молодое революционное творчество....

Он так и записал в дневник свой: «Со стороны похвал задирать голову не годится, можно куриный помет по ошибке принять за куриные яйца. С другой стороны, отзывы отрицательные, бранчливые опять-таки не могут, не должны приводить в уныние...»

А были и такие. И не случайно бранчливые, а принципиальные, исходившие из уст людей, отрицавших творческие возможности пролетарской литературы.

«Чапаев» находился у самых истоков советской литературы. При всех

тех стилистических недостатках, на которые впоследствии указал в дружеском письме Фурманову Максим Горький (сам Фурманов старался исправить их в новых изданиях), — это была для молодой нашей литературы книга программная.

И она была принята в штыки «эстетам», которым был чужд прекрасный пафос революции, отличавший «Чапаева». Она была принята с кислой, снисходительной миной теми критиками, которые потом так же скептически отнеслись к книгам Островского и Макаренко, не сумев и не захотев увидеть новое качество, которое внесли в советскую литературу Фурманов, Островский, Макаренко.

Неверную оценку качества книги давали и некоторые из тех литераторов, которые приветствовали появление Дмитрия Фурманова в литературе, но не поняли истинного характера фурмановского новаторства. Искажали истину критики, которые говорили о натурализме и фактографичности Фурманова и считали эту фактографичность едва ли не его главным достоинством.

А. С. Серафимович, писатель, которого особенно любил Фурманов, как бы полемизируя с подобными критиками, сказал: «Невольно приходит мысль, был ли Фурманов натуралистом, фотографом, который берет только голую действительность; перед Фурмановым могла встать такая опасность. Но почему же эта опасность миновала Фурманова? Почему мы его произведения воспринимаем как глубоко художественные, как реалистические? Куда же девалась масса его фотографических снимков? *Ясно, что он делал отбор.* Все его вещи с огромной силой освещены революционным содержанием. Эти материалы собраны как бы натуралистически, но огромное художественное чутье позволило ему отобрать основное и реалистически художественно построить свой материал».

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ФРОНТЕ.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. ВСТРЕЧИ:

СЕРАФИМОВИЧ, МАЯКОВСКИЙ, ЕСЕНИН,

БАБЕЛЬ. ПИСЬМО ГОРЬКОГО

39

После выхода «Чапаева» Фурманов стал признанным писателем и окончательно связал свою судьбу с литературой.

Творческие планы его были огромны. Он начал делать первые наброски книги «Таманцы», собираясь описать знаменитый поход Таманской армии в 1918–1919 годах (тот самый поход, которому был потом посвящен роман А. С. Серафимовича «Железный поток»).

Это была для Фурманова работа трудная и необычная. Он ведь не был сам участником этого похода, никаких личных записок и дневников вроде тех, из которых вырос «Чапаев», у него не было, не хватало опыта Очевидца. Приходилось основываться на исторических материалах, на воспоминаниях Ковтюха, давать большую волю вымыслу.

«В голове стая мыслей, планов, предположений, они мнутся, перекручиваются беспорядочно и хаотично, ни одного из-под и из-за другого не видно отчетливо...»

Он откладывает в сторону планы «Таманцев», снова листает дневники свои, много думает о «Мятеже», собирает новые материалы. А пока что, несколько даже неожиданно для себя, пишет романтическую повесть, выросшую из очерка о подпольной работе на Кубани в восемнадцатом году. Это повесть о юных революционерах, о борьбе их с белогвардейцами. Обо всем этом много рассказывала ему Ная. И именно ее черты явственно проступают в центральном образе повести «В восемнадцатом году» — юной подпольщицы Нади.

Повесть издадут без задержек. Но она не приносит Фурманову удовлетворения.

Таковыми же «проходными», случайными являются и рассказ-портрет «Летчик Тихон Жаров» и «скоростной», написанный в одну ночь рассказ об истреблении белыми шестидесяти раненых красноармейцев: «Шестьдесят».

Нет... Все это не то... Все это ниже уровня «Чапаева». Это обочина творческого пути. Надо вернуться на основную дорогу. «Мятеж». Вот оно — основное, выстраданное, продуманное. Он запрашивает в Истпарте Туркестана все материалы по верненскому мятежу. Он делает выписки из собственных дневников и записных книжек. Решено. Второй, настоящей его книгой будет «Мятеж».

Этой книге надо отдаться целиком. Ее нельзя писать «скоростным» методом. А тут еще надо заканчивать университетский курс.

Фурманов пишет рапорт с просьбой о демобилизации. Рапорт продуман и обоснован.

Автора «Чапаева» отпускают «в литературу». Но тут же направляют на работу в Государственное издательство, сначала политредактором, а потом редактором современной художественной литературы.

Ну что ж! *Художественной*. Это ему по душе. На это можно согласиться. Ведь не такой уж он именитый писатель, чтоб оставаться только вольным литератором.

В то же время крепнут связи Фурманова с писательскими организациями.

Мы, молодые его друзья, носящие уже громкое имя пролетарских писателей, привлекаем его к работе в группе «Октябрь». На литературном фронте в эти дни идет ожесточенная борьба с литераторами, отрицавшими творческие возможности пролетариата, ревизовавшими ленинские взгляды на судьбы пролетарской культуры.

Происходили жаркие бои и на страницах печати и в клубных залах. Среди противников наших были солидные, имеющие большой опыт критики. А мы были совсем юны и по части теоретической малоопытны. Зато отваги и комсомольского задора было у нас хоть отбавляй.

Из старых заслуженных деятелей литературы нас поддерживали А. С. Серафимович, М. С. Ольминский, П. Н. Лепешинский, Б. М. Волин.

Основные дискуссии происходили в Доме печати (ныне Дом журналиста). Александр Серафимович восседал в президиуме среди комсомольцев как патриарх. И часто, выступая с резкой, задиристой речью, мы оглядывались на него, замечали его ободряющую улыбку и снова, уже

увереннее, бросались в бой.

Серафимович был редактором журнала «Октябрь» и председателем МАПП.

Когда он выходил на сцену во главе «молодых», он был похож на заботливого отца, выводящего в свет своих сыновей, на старого воина, ведущего в бой питомцев и соратников.

— Серафимович своих повел, — улыбались в публике.

Само собою разумеется, каким «приобретением» был для нас автор «Чапаева».

Да и сам он не любил одиночества и с радостью занял свое боевое место в колонне пролетарских писателей.

«Иду в «Октябрь», — записал он в дневник свой. — Давно ощущал потребность прикоснуться к организованной литературной братии. Вернее работа. И строже. Критически станешь подходить к себе — скорей выдрессируют, как надо и как не надо писать. И — круг близко знакомых литераторов А то, по существу, никого. Чужак чужаком... Итак, в «Октябрь».

Почему сюда? Платформа ближе, чем где-либо. Воспрещается сотрудничество в «Кр[асной] нови», «Ниве», «Огоньке» (это был один из сектантских заскоков «Октября», один из тех заскоков, с которыми в дальнейшем боролся Фурманов. — А. И.). Это крепко суживает поле литературной деятельности. Но с этим надо помириться. Думаю — правда... что следовало бы не убегать от этих журналов, не предоставлять их чужой литербратии, а — наоборот, завоевать, в чем они еще не завоеваны, — и сделать своими. Убежать от чего-либо — дело самое наилегчайшее. Для победы нужно не бегство, а завоевание. Полагаю, что этот вопрос в дальнейшем каким-то образом должен будет подняться во весь рост.

Иду в «Октябрь» с радостью и надеждами. И с опасением: не оказаться бы там малым из малых, одним из самых жалких пасынков литературного кружка. Эх, работать бы побольше над своими повестями и книжками — ей-ей, раз в 18 они были бы лучше...»

На литературном фронте боевой чапаевский комиссар остался тем же горячим большевиком, активно участвовавшим в борьбе за партийную линию в искусстве. Вскоре после вступления в Московскую ассоциацию пролетарских писателей («Октябрь» был одной из ведущих ее групп) Фурманов был уже избран секретарем МАПП. Он упорно боролся с врагами партии, с интриганами, со склочниками, мешавшими развитию советской литературы. Огромное значение придавал он движению рабочих

корреспондентов, переписывался с десятками начинающих писателей. Работая в Государственном издательстве, много помогал молодым.

Наряду с работой над материалами будущей книги «Мятеж» Фурманов много внимания уделяет разработке проблем новой эстетики. Его записи свидетельствуют о том, как вырабатывался у писателя метод социалистического реализма, который в те годы еще не был определен как творческий метод советской литературы.

С особой любовью относится Фурманов к тем писателям, которые близки ему по своему стилю, по своему творческому методу, по самой направленности своих книг. Мы часто собирались на старой квартире Александра Серафимовича Серафимовича, на Красной Пресне. Молодые рабочие-писатели, члены кружков «Рабочая весна», «Молодая гвардия», «Октябрь» читали свои новые произведения.

Сколько вечеров провели мы в этой маленькой уютной квартире! Садись вокруг большого стола, под яркой лампой. На столе шумел самовар Дмитрий Фурманов читал здесь главы из «Мятежа». Потом, позже, совсем юный гость из Донбасса, Борис Горбатов, читал стихи и зарисовки из комсомольской жизни. Рабочий паренек с завода Гужона («Серп и молот») Яша Шведов застенчиво знакомил нас с главами из повести «На мартенах». Потом, еще позже, Михаил Шолохов рассказывал о своих творческих планах.

Мудрый, добрый Александр Серафимович подводил итоги нашим спорам, рассказывая о Ленине и его старшем брате Александре, о боях на Пресне, о литературных событиях 1905 года, делился воспоминаниями о Горьком, Короленко, Скитальце, Глебе Успенском, Леониде Андрееве.

Перед нами раскрывалась большая литературная жизнь, в которую входили и мы, делая в ней свои первые шаги.

С большой чуткостью относившийся к каждому молодому писателю, Серафимович особенно ценил Фурманова (так же полюбил он потом молодого Шолохова). У них было много общих тем для разговоров. Ведь будущий герой «Железного потока» Ковтюх (Кожух) был соратником Фурманова по знаменитому десанту в тыл Улагая.

Серафимович часто просил Фурманова подробнее рассказать о Ковтюхе.

Это было захватывающе интересно. Вместе с Серафимовичем переносились мы на баррикады Пресни, вместе с Фурмановым и Ковтюхом по грудь в холодной воде переходили кубанские плавни.

Настоящим праздником был для нас вечер, когда Александр Серафимович прочел нам главы из «Железного потока».

Вечер этот был каким-то необычайно торжественным. Особенно блестел ярко начищенный самовар, и стол был уставлен всякой снедью.

Вокруг стола сидели писатели старшего поколения: Федор Гладков, Александр Неверов, Алексей Новиков-Прибой. Мы, юнцы, скромно отступили на второй план.

Чтение продолжалось до полуночи. И как же мы были горды за нашего старика, достигшего творческой вершины!

Старшие что-то говорили Серафимовичу, но мы, молодые, только пожали ему руку и выскользнули в ночь, во тьму пресненских переулков, взволнованные и переполненные картинами и образами народной эпопеи.

Фурманов был с нами. Простившись с друзьями на Кудринской площади, мы шагали с ним рядом по тихой Поварской, по Пречистенскому бульвару. Он был молчалив и как-то необычайно грустен.

— Ну вот, Сашок, — сказал он тихо, — вот что значит мастер. Куда мне с моими «Таманцами». Придется сдать их в архив, считать незаконченным, а можно сказать, даже не начатым произведением. Для будущих исследователей творчества некоего весьма заурядного сочинителя, описателя гражданской войны Дмитрия свет Фурманова. Нет... Но как он Епифана Иовича изобразил. Ай да старик! Давно ничего подобного не слышал, а язык-то, язык-то какой! Ну да бог с ними, с моими «Таманцами», Саша. Есть еще у меня много о чем написать. Есть еще порох в пороховницах. Да и «Мятеж» в двери стучится. Дай ему бог побольше здоровья, и побольше жизни нашему старику.

Особенно сблизился Фурманов с венгерским писателем Мате Залка.

Мате Залка нашел вторую свою родину в Советской России. Он доблестно воевал на фронтах гражданской войны, награжден был орденом боевого Красного Знамени. (В 1937 году он легендарный генерал Лукач, командир Интернациональной бригады, погиб под Уэской на многострадальной испанской земле).

Они очень подходили друг к другу, оба эти краснознаменца. Они познакомились в те дни, когда Фурманов писал «Чапаева», и жаркие разговоры о жизни, о боях, о творчестве продолжались иногда до самого утра.

«Писателем не могу считать себя раньше 1923 года, когда произошла моя встреча с Фурмановым», — говорил Мате Залка.

— Если вы спросите меня, — говорил он на своем не совсем точном русском языке, — что значит быть писателем-большевиком, помогающим каждой строчкой своей партийному делу, — я вам скажу: это значит быть Фурмановым...

«Железный поток» стал любимым романом Фурманова. Дмитрий Андреевич прочел этот роман, как только он был опубликован весной 1924 года в литературно-художественном сборнике «Недра». Роман прочел он залпом. Глубокой ночью разбудил меня телефонный звонок Митяя.

— Серафимовича читал?

— Что именно? И почему тебя это интересует именно ночью?

— Эх, ты!.. О «Железном потоке» говорю.

— Не читал. Слышал отрывки. На квартире старика. Вместе с тобой.

— Завтра приходи. Возьмешь у меня «Недра», узнаешь, что такое настоящая книга... Ну и старик! Поехать бы к нему сейчас, расцеловать. Вот как писать нужно.

На следующий день, вручая мне «Недра», Фурманов долго и вдохновенно говорил о достоинствах «Железного потока».

— Ты посмотри только, как изображен Ковтюх. А я еще пыжился со своим «Красным десантом». Учиться надо. Всем нам учиться.

Фурманов написал первую рецензию о «Железном потоке» еще до выхода романа в отдельном издании.

«Центр сборника («Недра», кн. 4. — А. И) — десятилистовая повесть Серафимовича «Железный поток». Это произведение следует отнести к тем, которыми будет гордиться пролетарская литература».

Он считал «Железный поток» «классическим образцом исторической повести из эпохи гражданской войны».

Большую статью посвящает Фурманов всему творчеству Серафимовича. Он пишет о том, что Серафимович необычайно ярко сумел показать массы, сумел «распутать сложный и спутанный клубок жизни». Фурманова привлекают цельность Серафимовича, его вера в силу пролетариата. «Серафимович, — пишет Фурманов, — свою долгую жизнь, оттуда из царского подполья до наших победных дней в нетронутой чистоте сохранил верность рабочему делу. Никогда не гнул и не сдавал этот кремневый человек — ни в испытаниях, ни в искушениях житейских. Никогда ни единого раза не сошел с боевого пути; никогда не сфальшивил ни в жизни, ни в литературной работе».

Он был настоящим другом, Дмитрий Фурманов. Вряд ли был среди писателей хоть один человек, который не уважал бы этого прямого,

искреннего, задушевного человека. Даже среди противников. Он обладал какой-то особой, исключительной способностью подходить к людям. Работая редактором Госиздата, а потом инструктором по литературе в Центральном Комитете партии, он быстро занял руководящее место в пролетарской литературе. Вскоре ни один вопрос у нас не решался без Фурманова. От всех он требовал максимальной аккуратности и четкости, сурово обрушивался на малейшие проявления расхлябанности, на богему.

Однажды, после неоднократных нареканий, он дал нам прекрасный урок.

Заседание правления МАПП было назначено на пять часов.

Мы, как водится, начали собираться к шести. Пришли и остановились в дверях, изумленно прислушиваясь к фурмановским словам:

— Итак, переходим к третьему вопросу. Садитесь, товарищи, заседание продолжаем.

В комнате находился только Фурманов и технический секретарь Л. И. Коган.

Как мы узнали потом, Фурманов начал заседание ровно в пять, в одиночестве.

— Надо уважать время товарищей, — сказал он нам в конце заседания. Больше мы не опаздывали.

Заседания под руководством Фурманова проходили как-то особенно энергично. Только во время речей несогласный с чем-нибудь Фурманов нет-нет да и вставит ядовитую, колкую реплику. Иногда он приглашал нас к себе в Госиздат. Там Дмитрий Андреевич сидел за огромным столом, заваленным рукописями; надевал он очки и становился как-то старше и добродушней. На скамейке в коридоре Госиздата не раз выслушивали мы ясные, дельные, четкие мнения Фурманова по всевозможным вопросам. Резко и решительно восстал он против сектантской политики, которую проводили в Ассоциации пролетарских писателей сначала Родов и Лелевич, а потом Авербах. Много раз и в Госиздате и на квартире Митяя в Нащокинском переулке обсуждали мы план борьбы против сектантов и политиканов в литературном движении. А когда Фурманов клеймил кого-нибудь, он не жалел слов и не щадил своих противников.

Собранность, четкость отличали Фурманова и в быту. Когда Фурманов был поглощен творческой работой над новой книгой, он, очень общительный и гостеприимный, сводил до минимума встречи с друзьями. (Надо не забывать о том, что много часов в обычные дни отнимала у него служебная и общественная работа.)

Но как же умел он веселиться!.. Порою после тяжелого рабочего дня,

до краев наполненного и творчеством и борьбой, собирались мы в его маленькой квартире на так называемые фурмановские «ассамблеи», и он запевал любимые чапаевские песни. Он страстно любил литературу и никогда не был конъюнктурщиком. Жадно и напряженно всматривался в творчество самых разнообразных писателей. В те двадцатые годы, когда были сильны еще осужденные Лениным пролеткультовские тенденции, когда многие руководители МАПП и ВАПП свысока относились к творчеству так называемых «попутчиков», не было среди нас более яростного врага сектантства, чем Фурманов. Он высоко ценил Александра Серафимовича, встречался с Николаем Никитиным и Алексеем Толстым, с Всеволодом Ивановым, Константином Фединым.

Он внимательно следил за всеми новинками советской литературы. Каждую книгу своего современника читал с карандашом. Сразу определял свое отношение к ней, делал пометки на полях, записи в дневнике, отмечал, что дает ему эта книга и в познавательном и в творческом плане.

С большим пристальным вниманием и симпатией следил Фурманов за развитием творчества, за политической борьбой Владимира Маяковского и высоко ценил поэзию Сергея Есенина, хорошо понимая все достоинства и недостатки ее.

Незадолго до трагической своей гибели Есенин пришел в Госиздат, вынул из бокового кармана сверток листочков — поэма, как оказалось потом, предсмертная. Его окружили Фурманов, Евдокимов, Тарасов-Родионов, сотрудники Госиздат.

— Мы жадно глотали, — вспоминал потом Фурманов, — ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались на местах, где уже не было силы радость удержать внутри. А Сережа читал. Голос у него знаете какой — осипло-хриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался тогда, и голос крепчал, ясел. Он читал, Сережа, хорошо. В читке его, в собственной, в есенинской, стихи выигрывали. Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами своими, ни успехами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявления внимания к себе, когда был трезв. Кто видел его... тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых, голубых глаз. И если улыбался Сережа, тогда лицо становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.

Фурманов встречался с Есениным часто. Он рассказывал, что Есенин не любил теоретических разговоров, избегал их, чуть стыдился, потому что очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной раз он вступал в спор по какому-либо большому политическому вопросу, тогда

лицо его делалось напряженным, неестественным. Есенин хмурил лоб, глазами старался навести строгость, руками раскидывал в расчете на убедительность; тон его голоса «гортанился», строжал.

— Я в такие минуты, — рассказывал Фурманов, — смотрел на него, как на малютку годов 7–8, высказывающего свое мнение. (Ну, к примеру, по вопросу о падении министерства Бриана.) Сережа пыжился, тужился, потел, доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти, я начинал разговор О ямбах... Преображался, как святой перед пуском в рай, не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза... голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда — и без гортанного клекота — Сережа говорил о любимом: о стихах.

Он очень не любил, Есенин, когда его поучали вапповские «вожди» — Бардин или Лелевич. Но вот к Фурманову он приходил всегда за самыми разными советами и не стыдился показать ему свою политическую неосведомленность.

Однажды по почину Фурманова мы поехали в гости к писателю Тарасову-Родионову, который имел дачу в Малаховке и считался среди нас крупным собственником. Среди гостей были Дмитрий Фурманов, Георгий Никифоров, Феоктист Березовский, Анна Берзина, Артем Веселый. В дороге смеялись, что пригласивший нас Тарасов-Родионов, как генерал (он носил два ромба), может забыть о своем приглашении и повторить трюк героя гоголевской «Коляски».

К счастью, этого не случилось. Нас прекрасно приняли.

...Есенин начал читать стихи. Доходило, что называется, до сердца. Фурманов обнял его и расцеловал.

Разожгли костер. Купались в пруду. Лучше всех плавал Есенин.

А потом опять Есенин читал стихи. До самой зари:

*Ничего! Я споткнулся о камень —
Это к завтраму все заживет...*

Фурманов сидел рядом тихий, задумчивый, грустный. И я слышал, как он повторял про себя последние слова: «Это к завтраму все заживет».

Разгульная жизнь Есенина огорчала Фурманова. Он высоко ценил его талант и всегда противопоставлял его кривлянию имажинистов, в частности Мариенгофа.

Он пытался решительно и со всем присутщим ему тактом критиковать Есенина, помочь ему. Но Есенин, высоко ценивший дружеское отношение

Фурманова, всегда отшучивался, и настоящего, большого разговора у них не получалось.

Смерть Есенина Фурманов воспринял очень тяжело. Мы встретились в тот день, когда появилось сообщение о самоубийстве. Фурманов, сгорбившись, сидел за письменным столом и перелистывал томик Есенина. Кажется, это был сигнальный экземпляр.

Увидев меня, он снял очки и, точно вспоминая ту ночь над прудом, а может быть, какой-нибудь другой свой разговор с Есениным, сказал не то мне, не то самому себе:

*Ничего! Я споткнулся о камень —
Это к завтраму все заживет...*

Помолчал...

— А не зажило ведь... Вот беда... Не уберегли Сережу. Не зажило...

И мне показалось в тот день, что он не просто жалеет о смерти большого поэта, стихи которого так любил. Он считает и себя в какой-то мере ответственным за эту смерть.

А в дневник свой он записал:

«Большое и дорогое мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин, вся эта гамма его простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами».

Фурманов радовался каждому успеху советской литературы, взволнованно говорил об этом успехе и писал о нем.

Одобрительно отзывался он о творчестве Ларисы Рейснер, женщины-комиссара. Весь облик этой отважной и обаятельной женщины очень привлекал Фурманова.

С интересом прочитал он первые рассказы Лидии Сейфуллиной, которые сразу обратили на себя внимание и писателей и читателей.

С особым доброжелательным вниманием относился Фурманов к Бабелю. Книги его перечитывал не раз. Творческая направленность Фурманова была иной, чем у Бабеля, и со многим у Бабеля он не соглашался, но он всегда хотел овладеть секретами бабелевского мастерства. При встрече с земляком Бабеля Семеном Кирсановым он долго расспрашивал его о Бабеле, требовал каких-то очень конкретных деталей жизни и творчества полюбившегося ему писателя.

Вспоминаются строчки из стихотворения Кирсанова, посвященного

этой встрече:

*...не будем даром
зубрить сабель,
неважно, в Лефе ли Вы,
в ВАППе ль,
меня интересует
Бабель,
ваш знаменитый одессит.
Он долго ль фабулу
вынашивал,
писал ли он
сначала начерно,
и уж потом
переиначивал,
слова расцвечивая
в лоск?
А может, просто
шпарил набело,
когда мозги
сжимала фабула?
В чем,
черт возьми,
загадка Бабеля?..
Орешек
крепонек зело?..*

Потом Фурманов познакомился с самим Бабелем и подружился с ним.

С первой встречи они стали испытывать симпатию друг к другу. Бабель стал часто бывать у Фурманова. Разговоры и споры продолжались иногда всю ночь.

Бабель очень высоко оценивал «Чапаева», но нелюбезно излагал Фурманову и свои резкие критические замечания.

— Это золотые россыпи, — говорил он, — «Чапаев» у меня настольная книга. Я искренне считаю, что из гражданской войны ничего подобного еще не было. И нет. Я сознаюсь откровенно — выхватываю, черпаю из вашего «Чапаева» самым безжалостным образом. Вы сделали, можно сказать, литературную глупость: открыли свою сокровищницу всем,

кому охота, сказали щедро бери! Это роскошество. Так нельзя. Вы не бережете драгоценное... У вас не хватило терпения поработать, и это заметно на книге — многие места вовсе сырые, необработанные. И зло берет, когда их видишь наряду с блестящими страницами, написанными неподражаемо... Вам надо медленней работать. И потом... еще одно запомните: не объясняйте! Пожалуйста, не надо никаких объяснений — покажите, а там читатель сам разберется. Но книга ваша исключительная. Я по ней учусь непрестанно.

Бабель не раз рассказывал Фурманову о своих творческих планах, о своем замысле написать большую книгу «Чека».

Интересные разговоры велись между ними о поисках новой формы.

Бабель говорил о своих творческих муках: старая форма не удовлетворяет, а новая не удается.

— Пишу-пишу, рву-рву... Беда, просто измучился. Так это я работаю, много читаю... В Госкино, на фабрике много занят (он написал сценарий. — А. И.), словом, не кисель... общественный работник, ха-ха!.. Но мучительно дается мне этот перелом. Думаю — бросить все, на Тибет куда-нибудь уехать или красноармейцем в полк, писарем ли в контору. Оторваться надо бы...

Фурманов очень умел располагать к откровенности, умел успокаивать. Ему верили, чувствовали, что он ничего не говорит попусту, на ветер.

Он находил нужные, успокаивающие — без сладенького утешения — и бодрящие слова и для Бабея. Сознал это сам. Записал как-то в свой дневник.

«Я чувствую, как благотворно успокаивающе, бодряща действуют на него мои спокойные слова. Он любит приходить, говорить со мной. Мне любо с ним говорить — парень занятный».

И это писал Фурманов в горячие августовские дни 1925 года, дни напряженной борьбы, дни, когда сам он волновался, нервничал, ожесточенно отбивался от противников.

Кстати говоря, Бабель тоже принимал участие в борьбе за Фурманова. Он ожесточенно спорил со всеми теми, кто считал творчество Фурманова «нехудожественным», только «мемуарным».

Это глубокое понимание Бабелем, большим мастером прозы, истинной художественности фурмановского «Чапаева» весьма показательно.

Однажды мне пришлось присутствовать при их разговоре. Незадолго до этого я написал в журнале «Книгоноша» небольшую рецензию на рассказы Бабея и спутал имя Бабея, — расшифровывая инициал «И.», назвал его Иваном. Дмитрий Андреевич познакомил нас. И мы долго

посмеивались над моим промахом. Фурманов смеялся, как всегда, раскатисто, заразительно. Бабель короткими залпами. В тот день Бабель говорил Фурманову о планах своего романа «Чека».

Я не помню точных его слов. Но Митяй, как всегда, записал их в своем дневнике.

— Не знаю, — говорил Бабель, — справлюсь ли, очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну.... ну, просто святые люди... И я опасаясь, не получилось бы приторно. А другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры, — это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь!..

И опять разговор зашел о «Чапаеве», о сочетании реального, исторической действительности с художественным вымыслом и обобщением, о разнице между «Чапаевым» и «Конармией».

Рассказывал Бабель, и довольно смешно рассказывал, о первой своей встрече с Фурмановым в служебной обстановке. Бабель пришел в Госиздат с просьбой отсрочить сдачу «Конармии» в производство.

Сам Фурманов так потом зарисовал его портрет:

«5 часов. Все ушли. Сижу один, работаю. Входит в купеческой основательной шубе, собольей шапке, распахнут, а там: серая толстовка, навывпуск брюки... Чистое, нежное с морозцу лицо, чистый лоб, волоски назад черные, глаза острые, спокойные, как две капли растопленной смолы, посверкивают из-под очков... Широкие круглые стекла-американки. Поздоровались... Он сел и сразу к делу:

— Вы здесь заведуете современной литературой... Я знаю... Но хотелось бы вам еще сейчас кое-что сказать, просто как товарищу... Вне должностей...

— Конечно, так и надо.

— Я пропустил все сроки с «Конармией», уже десять раз надувал. Теперь просил бы только об одном: продлить мне снова срок.

— Продлить-то что не продлить, — говорю, — можно. Только все-таки давайте конкретно поставим перед собой число, и баста.

— Пятнадцатое января.

— Идет».

Так вот и состоялась первая встреча автора «Конармии» с автором «Чапаева», двух столь разных людей, сразу почувствовавших необходимость друг в друге.

Бабель в ту пору жил в Троице-Сергиевском посаде. Рассказывал о том, что нет отбою от разных ходоков-заказчиков, где-то понаслышанных о нем.

— Я мог бы буквально десятки червонцев зарабатывать ежедневно. Но креплюсь. Несмотря на то, что сижу без денег. Я много мучаюсь. Очень, очень трудно пишу. Думаю-думаю, напишу, перепишу, а потом почти готовое рву: недоволен. Изумляются мне и товарищи — так из них никто не пишет. Я туго пишу. И верно, я человек всего двух-трех книжек. Больше едва ли сумею и успею. А писать я начал ведь эва когда: в 1916-м. И помню, баловался, так себе, а потом пришел в «Летопись», как сейчас помню, во вторник, выходит Горький, даю ему материал. «Когда зайти?» — «В пятницу», — говорит. Это в «Летопись»-то. Ну захожу в пятницу — хорошо говорил он со мной, часа 1½. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу. «Пишите», — говорит. Я и давай, да столько насшибал.

Он мне снова: «Иди-ка, — говорит, — в люди», то есть жизнь узнавать. Я и пошел. С тех пор многое узнал. А особенно в годы революции: тут я 1600 постов и должностей переменял — кем только не был: переплетчиком, наборщиком, чернорабочим, редактором фактическим, бойцом рядовым у Буденного в эскадроне... Что я видел у Буденного — то и дал... Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной Армии, дам, если сумею, дальше.

...А я ведь как вырос: в условиях тончайшей культуры, у француза-учителя так научился французскому языку, что еще в отрочестве знал превосходно классическую французскую литературу. Дед мой — раввин-расстрига, умнейший, честнейший человек, атеист серьезный и глубокий. Кой-что он и нам передал, внучатам. Мой характер — неудержим, особо раньше, годов в 18–20, хуже Артема был (Артема Веселого. — А И) А теперь мыслью, волей его скручиваю. Работа — главное теперь мне, литературная работа...

А потом речь пошла на самые различные темы. Бабель спрашивал совета, стоит ли вставлять в «Конармию» образы политработников, и жалел о том, что он не повстречался с Фурмановым на фронте. Фурманов просил подробнее рассказать о конармейцах, о том, как достигает Бабель такого предельного лаконизма, об оттенках юмора на его творческой палитре и жаловался на то, что юмор не удается ему самому, а Бабель возражал и приводил запомнившиеся ему эпизоды из «Чапаева».

О критических замечаниях Бабеля Фурманов вспоминал не раз. 1 января 1926 года в своем дневнике он писал (это была одна из последних записей Фурманова): «Помню, Бабель как-то говорил мне: «Вся разница моих (бабелевских) очерков и твоего «Чапаева» в том, что «Чапаев» — это

первая корректура, а мои очерки — четвертая». Эти слова Исаака не выпадали из моего сознания, из памяти. Может быть, именно они отчасти и толкнули на то, чтобы я кавказские очерки — материал, по существу, третьестепенный — обрабатывал с такой тщательностью». Фурманов не обижался на справедливую критику, всегда использовал ее для улучшения своих произведений. В этом отношении особенно интересно его письмо к А. М. Горькому в ответ на замечания Алексея Максимовича по поводу «Чапаева» и «Мятежа».

Фурманов долго не решался послать свои книги Горькому. Конечно, ему хотелось узнать мнение любимого писателя, мнение, которое даже в случае суровой критики было ему дороже всех похвал. И все же этой критики он боялся. Наконец, преодолев все колебания, он отнес толстую бандероль на почту. С трепетом душевным сделал надпись: «Sorrento. Massimo Gorki».

И потерял спокойствие душевное на много дней. Да и хватит ли у Горького времени прочесть его книги? Небось книг от писателей он получает тысячи.

Ответ пришел. И скорее, чем он ожидал. По возбужденному лицу его Ная поняла, что случилось что-то необычайное. Он прошел в свою комнату и заперся. Надел очки, которыми стал в последние месяцы пользоваться все чаще, читал и перечитывал письмо, написанное почти печатным горьковским почерком.

Горький писал: «Как читатель я, разумеется, скажу вместе с тысячами других Ваших читателей: и «Чапаев» и «Мятеж» интереснейшие и глубоко поучительные книги, Дмитрий Андреевич». Но, разбирая их досконально (Фурманов поразился, с какой скрупулезностью он читал, обращая внимание на каждую строку, на каждое слово!), Горький сделал много суровых критических замечаний. Основная его мысль заключалась в том, что историческое и идеологическое значение книг Фурманова превышало их значение художественное.

«Рассказываете, как очевидец, но не изображаете, как художник».

Некоторые замечания как бы перекликаются с критическими замечаниями Бабеля: книги «написаны не экономно, многословно, избыточны повторениями и разъяснениями. Разъяснения эти — явный признак Вашего недоверия к себе самому, да и к разуму читателя...

В рассказе масса совершенно лишних деталей, затягивающих его. А рядом с этим в описаниях, в характеристиках людей чувствуется и Ваше умение наблюдать и умение схватить главное, характерное. Это уже доказательство таланта, признак дарования. Это очень подкупает

читателя в Вашу пользу, а мне дает право предъявить к Вам требования строгие. Вы можете и должны писать хорошо... Не верьте никому, кроме самого себя, своей воли, своего разума и чести коммуниста-художника... И не бойтесь противоречий, не сглаживайте их, нарушая правду. Многие, очень многие из начинающих литераторов жалуются мне на мучительность противоречий, создаваемых текущей действительностью. Но Вы должны знать, что эти противоречия заложены в ней, в действительности, в корнях ее, а не в Вашей натуре. Вы живете действительностью будущего, желаемого, современность же все еще «редиска», только с поверхности красненькая.

Безбоязненно вскрыть белую и черную сердцевину «редиски» Вы умеете — об этом убедительно говорят обе книги.

Мне приятно было прочитать Ваше заявление: «работаю внимательней, осторожнее, все больше предъявляю к себе требований».

Так и надо. Это, это тоже ведь бой, литература. И это бой куда более трудный, чем с винтовкой в руках. Старенькое, отжившее, гниющее тем и опасно, что гниет, а трупный яд один из сильнейших ядов...»

Письмо Горького глубоко взволновало Дмитрия Андреевича. Он долго с ним не расставался, снова по многу раз перечитывал.

— Вы понимаете, — говорил он нам возбужденно, — Горький пишет, чтобы я «скорил ответ», значит, он этим ответом интересуется, значит, письмо его написано не для проформы, значит, ему интересно переписываться со мною...

Написав ответ Горькому, он собрал близких друзей, прочитал опять и письмо и ответ, советовался по поводу каждого слова. Хотя, впрочем (как однажды признался он мне и Анне Никитичне), сам все обдумал, окончательно решил и не прибавил и не исключил бы ни одного слова.

«Вы мне походя надавали тумачков, — писал Фурманов, — и каждый тумак — за дело, за дело!.. Все указания и сам я принимаю, разделяю, знаю, чувствую, что верные они указания...»

Теперь я не написал бы этих любимых, любимейших моих книг так, как они написаны, я писал бы их по-иному. Не знаю, оставил ли бы я ту же основную их композицию (ни очерк, ни роман, ни рассказ), — может, и оставил бы: структура меня еще не так смущает, можно и в этих формальных рамках дать волнующее содержание, можно. Меня заставляет страдать мой скудный убогий язык, которым книжки написаны. Теперь самому мне тошно от этого обычененького, тускленького язычишка (как узнаем мы в этих строках всегда честно с собой до крайности, иногда даже несправедливо беспощадного к себе Дмитрия Фурманова! — А. И.)

...Я теперь бы сидел над страницей не час — я сидел бы над ней целую ночь; мой «Чапаев» ушел в печать едва ли не с первой корректуры (страшно и стыдно сказать!), а теперь — теперь я легкий газетный набросок переписываю, семь-десять раз!

Милый и строгий Алексей Максимыч, разве это одно не шаг вперед, когда начинаешь робеть и стыдиться своего материала... Зато — какая радость, когда после седьмой, восьмой, десятой корректуры получается то, вот то, что хотелось и как хотелось сказать. Расту — это бодрит. И если бы теперь писал «Чапаева» с «Мятежом», сделал бы их лучше. Не раз подымался передо мной вопрос: не распластать ли их по листочкам, не взяться ли за кореннейшую переработку?.. Может, в особой обстановке и при особых условиях и займусь я этим, но не теперь, когда так много и в мыслях и в сердце нового материала, когда так много скопилось тем, что не видишь им конца, а рвешься, естественно, к новому и новому.

...книжки, говорите Вы, «написаны не экономно, многословно, избыточны повторениями и разъяснениями... Разъяснения эти — явный признак Вашего недоверия к себе самому, да и к разуму читателя...»

«Главное, может, и в этом, — соглашается Фурманов. — Но еще было вот что:...книжкам своим я ставил практическую, боевую, революционную цель: показать, как мы боролись во дни гражданской войны, показать без вычурности, без выдумки, дать действительность, чтобы ее видела и чуяла широчайшая рабоче-крестьянская масса (на нее моя ставка). Вот не удалось, может, — это да, а разъяснения мои вызывались аудиторией, на которую книжки я писал...»

И Фурманов раскрывает перед Горьким планы новых работ своих, мечту о создании романа-эпопеи, посвященного гражданской войне во всем ее объеме... «Вы говорите о том, что надо «беспощадно рвать, жечь рукописи». До этого дойти — большая, трудная дорога. Я как будто начинаю подходить, начинаю именно так беспощадно относиться к своим рукописям — это единственный путь к мастерству. И все-таки не всегда хватает духу: видно, болезнь роста... Я до сих пор говорил только о дефектах. Но у Вас в письме, Ал[ексей] М[аксимы]ч, много и бодрых строк. Эти строки мне как живая вода. Уж если Вы мне крепко жмете руку, так дайте и я Вам пожму, а вот приедете к нам в Россию, в нашу, в Вашу — в Советскую Россию, тогда и на деле пожмем друг другу руки...»

Горький, критикуя книги Фурманова, высоко ценил его. По свидетельству участников рейса эскадренных миноносцев «Петровский» и «Незаможный» в Италию, Горький при встрече с ними назвал Фурманова «огромным писателем», который «не сочиняет» и у которого «жизнь рвет

через уши, рот. отовсюду». «О, это будет великий писатель, увидите...»

Фурманов не только творчески воспринимал критику Горького. В своей литературно-воспитательной работе, в своих взаимоотношениях с писателями он старался работать методами Горького. Он умел резко и нелицеприятно критиковать, ненавидел графоманов и в то же время умел по-настоящему ободрить, увидеть основное и ведущее, определяющее путь того или иного писателя. И поэтому в литературной работе начала двадцатых годов Фурманов играл исключительно большую роль. Эту роль одинаково высоко ценили и Серафимович, и Сейфуллина, и Маяковский, и Бабель.

Владимир Маяковский, несмотря на свою подчас резкую полемику с руководителями ВАПП и МАПП. обличая их сектантство, всегда тянулся к пролетарским писателям, видел в них своих соратников в борьбе за строительство Советского государства. Но особенно высоко всегда ценил Маяковский Дмитрия Фурманова. Не случайно в 1924 году Маяковский послал Фурманову только что вышедший четвертый номер журнала «Леф» с надписью: «Тов. Фурманову, доброму политакушеру от голосистого младенца Лефенка. За Лефов Вл. Маяковский. 4.1.24 г.». Мы были свидетелями разговора Фурманова с Маяковским, когда оба собеседника пришли к выводу об единстве своих взглядов в понимании писательских задач. Обоих писателей объединяла борьба за реализм, за активное вмешательство писателя в современность, борьба и против декаданса и против оголенной схематической тенденциозности.

Особенное одобрение Фурманова в этом разговоре вызвали ненависть Маяковского к мещанству, отрицательное отношение поэта к бесцельному, «бескорыстному», «жреческому» искусству, утверждение Маяковского о важной роли художественного слова в борьбе народа за коммунизм.

Фурманов с первых шагов своей литературной деятельности высоко ценил и творчество Маяковского и многие его эстетические установки. Его привлекали высокая идейность, патриотизм, принципиальность поэта. В дневниках своих, рассказывая о своем разговоре с поэтом Дмитрием Петровским, Фурманов заметил: — Разговор продолжался о Маяковском. Я сказал, что в отношении близости политической, пожалуй, он самый близкий, и не зря близкий... Он, надо быть, и в прошлом близок был... (В разговоре этом Фурманов, касаясь основных проблем искусства, снова выдвинул основной свой «символ веры»: «будь понятен миллионам, а не десяткам литераторов».)

Когда Маяковский, еще в 1922 году, проводил в Политехническом музее свою «чистку современной поэзии», Фурманов не пропустил ни

одного вечера. Фурманов говорил, что задача, поставленная Маяковским, — вывести на чистую воду лжепоэтов, проанализировать их литературные приемы с точки зрения проблем сегодняшнего дня — задача в высшей степени интересная, благородная и серьезная. Надо было видеть, как реагировал он на меткие и резкие характеристики Маяковского, как он заразительно, по-фурмановски, смеялся, слушая ответы Маяковского на реплики и выкрики с мест. Он целиком соглашался с основными критериями, которые положил Маяковский в основу чистки: работа поэта над художественным словом, степень успешности в обработке этого слова, современность поэта с переживаемыми событиями, его верность своему призванию. Многие эстетические критерии Фурманова целиком совладали с критериями Маяковского. Роднила их и борьба с декадансом, борьба против мистических стихотворений Вячеслава Иванова, всевозможных изощрений ничевоков, фуистов и прочих штукарей тогдашней литературы. Высоко ценил также Фурманов большую органическую связь Маяковского с широкими пролетарскими массами. Они были очень несхожими, Маяковский и Фурманов, и в то же время далеко не случайна та взаимная симпатия, которая роднила их и которую мы чувствовали в каждом их разговоре. И в то же время Фурманов прямо говорил Маяковскому о том, что ему не по душе, с чем он не согласен в отдельных его произведениях, в той же «Мистерии-буфф».

Очень понравилась Фурманову поэма Маяковского о Ленине. Он слышал ее в исполнении самого поэта и, обычно скупой на похвалы, высказал ему свою высокую, одобрительную оценку:

— Вот это мне по душе. Очень по душе...

Как только поэма «Владимир Ильич Ленин» вышла в свет, Маяковский подарил ее Фурманову с надписью: «Тов. Фурманову Маяковский дружески. 25. V. 25 г.»

Фурманов никогда не был сектантом, но он не был маниловцем, либералом. Он боролся за партийность советской литературы и правильно определял направление главного удара.

Многие видные критики восхваляли в ту пору Бориса Пильняка как открывателя, новатора, чуть ли не зачинателя советской литературы. Острый спор с Пильняком вели пролетарские писатели, в том числе и Фурманов, не отрицавший, впрочем, талантливости своего противника. Это

была борьба против идеологической направленности книг Пильняка, дающих искаженное представление о советской действительности.

С особой симпатией относился Фурманов к писателям, утверждавшим реалистическую линию в литературе.

Говоря о художественных приемах Серафимовича, Фурманов подчеркивает, что автор «Железного потока» показал армию в ее формировании, в динамике, в росте, изобразил правдиво, не лакируя. Особенно близко Фурманову то, что армия показана у Серафимовича без тени ложного пафоса, без всякой фальши.

«Серафимовичу не нужно быть тенденциозным, — пишет Фурманов, — ему достаточно быть самим собой. Надо только правдиво рассказать о том, за что он взялся».

Художественные приемы Серафимовича близки автору «Чапаева». Он подчеркивает, что даже темные стороны жизни коллектива Серафимович показывает так, что оттеняется основное, героическое.

Разбирая роман «Железный поток», Фурманов высказывает свои основные эстетические положения. «Художественная правда, — говорит Фурманов, — заключается в том, чтобы без утайки рассказывать все необходимое, но рассказывать *правильно*, то есть под определенным углом зрения».

Искусство, развивает Фурманов свою мысль, должно быть тенденциозным, но в высоком смысле этого слова, без авторского нажима, без того, чтобы все время за каждым героем чувствовался указующий перст автора. Необходимо знать и чувствовать время, обстановку, среду. Необходима соразмерность частей художественного произведения, необходим правильный показ коллектива, массы и ее вожаков.

С не меньшей страстностью пишет Фурманов о книге Л. Сейфуллиной «Виринея». Фурманов резко выступал против тех догматиков из ВАПП, которые, выдвигая часто бездарных писателей из конъюнктурных соображений, в то же время огульно охаивали всех «попутчиков», крупных советских писателей Фурманов во весь голос говорил о необходимости внимания к основному ядру советских писателей. Отношение его к Сейфуллиной, Всеволоду Иванову, Леонову — отношение человека, который понимал литературу и по-настоящему любил ее.

Образ Виринеи Фурманов считал одним из интереснейших образов советской женщины. «У Виринеи, — писал он, — в каждом слове, в каждом поступке чувствуете вы подлинную силу, богатые, но дремлющие, не развернутые способности. Это не просто забитая крестьянская женщина, удрученная и замученная невзгодами тяжелой, беспросветной

жизни, — о нет, Виринею в дугу не согнешь. Как кряж крепкая — она огрызается, отбивается, не поддается и, видно, не поддастся никому, скорее погибнет, а не поддастся».

Фурманов отмечает естественность и органичность всех речей и поступков Виринеи, когда плечом к плечу с Павлом Суловым идет и она по пути борьбы. Он подчеркивает народность образа Виринеи. Сила Виринеи кажется ему сродни силе Чапаева. Это цельный, глубокий образ. С особым сочувствием говорит он о динамике развития образа Виринеи «Из Вирки растет у нас на глазах и готовится настоящий борец — женщина беззаветная, мужественно-смелая, а в дальнейшем верная и вполне сознательная, передовая женщина нашей великой эпохи».

Мы смотрели вместе с Фурмановым и его женой постановку «Виринеи» в театре Вахтангова.

Пьеса произвела на Фурманова огромное впечатление. И в антрактах и после спектакля он горячо развивал перед нами мысли о реалистической силе образа Виринеи. Он говорил о том, как естественны и органически законны ее речи и поступки, о том, как показана Виринея в росте, в движении, в постепенном развертывании ее волевых и духовных качеств.

И здесь он видел то ценное, что принимал в арсенал своей творческой учебы. Он издавна мечтал написать «настоящую» пьесу, еще до «Чапаева» пробовал силы свои в области драматургии, потом принимал участие в инсценировке «Мятежа» (совместно с Поливановым). Но ему не суждено было увидеть «Мятеж» на сцене. (Пьеса «Мятеж» была впоследствии поставлена театром МГСПС, но оказалась более слабой, чем роман. Всей сложности и многогранности романа не сумел выявить и телеспектакль «Мятеж», показанный уже в 1967 году.)

Проблема идейности литературы занимает основное место в эстетических высказываниях Дмитрия Фурманова.

Он резко выступает против тех литераторов, кто хочет остаться в стороне, кто хочет пройти по жизни «особняком».

Немало записей в его дневнике посвящено литературе предоктябрьской, крупнейшим поэтам русского символизма, акмеизма, футуризма. Фурманов подчеркивает неоднородность символизма, специфику и особый путь каждого из больших поэтов-символистов к революции и в первые годы революции.

С В. Я. Брюсовым Фурманов был лично знаком, уважал и ценил его. Брюсов преподавал теорию поэтической композиции в университете, в частности и на курсе, где учились мы с Фурмановым, и после каждой лекции Митяй делился со мной впечатлениями:

— Жаль, что не удалось послушать его раньше, — сказал он мне как-то, — может быть, не писал бы плохих стихов в юности. Вот ведь какой большой учености человек и каких только перепутий не было у него в жизни и в поэзии, а пришел к нам, в нашу партию.

Любил он Александра Блока, многие стихи его знал наизусть и нередко читал своим друзьям. Особенно привлекали его «Скифы» и «Соловьиный сад». Часто вспоминал четверостишие Блока:

*Пускай зовут: Забудь, поэт!
Вернись в красивые уюты!..
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет...*

Нередко в записях своих Фурманов противопоставляет символистам писателей-реалистов, предшественников советской литературы. Реалистический показ действительности был близок Фурманову и у Куприна и у Бунина. И в то же время он прекрасно видел различия в их творчестве, видел то, что разделило впоследствии двух писателей, не принявших Октябрьской революции и эмигрировавших за границу.

Соглашаясь с Маяковским в его резких оценках всевозможных декадентских групп, Фурманов в другой своей записи, говоря об идейности поэзии, замечает: «Когда с этим критерием мы подходим к поэтам современности — многие остаются за бортом»...

«Достоин ли художника в эти трагические дни отойти от современности и погрузиться в пучину сторонних, далеких, чуждых вопросов? Можно ли и теперь воспевать «коринфские стрелы» — за счет целого вихря вопросов, кружащихся около нас?»

«Оторванность от живой жизни, отчужденность старых школ от борьбы ведет их совершенно естественно туда же, куда и породившее их старое общество, — в могилу».

Насколько важно в советской литературе отразить современность, говорит Фурманов неоднократно.

Держать постоянно руку на пульсе народа! Это одна из основных тем его речей и докладов, этому посвящены многие записи в его дневниках, это проходит красной нитью во многих его статьях и рецензиях. Так, в рецензии на книгу «Две сестры» С. Васильченко Фурманов пишет:

«Сцена долго и напряженно ждет хорошую пьесу, где была бы схвачена и художественно отображена наша драматическая современность.

Их нет, этих желанных пьес. Старая писательская гвардия отыгрывается на воспоминаниях о «потерянном рае», пописывает про «коринфские стрелы» или попросту бьет баклуши, а новый большой писатель еще не созрел, его еще не вынесла революция.

Сцена засиротела, ей нечего дать своему новому зрителю — рабочему и крестьянину. Мы смотрим и слушаем все то же, что смотрели и в 1910 и 900-м году, что смотрели и... в прошлом веке.

Как будто и не произошло ничего значительного, словно и не было Октября — Великого Октября, во всем открывшего новые пути, всему задавшего новый, неслыханный доселе революционный тон. Что ж поделывать: на нет и суда нет; будем хранить старое, смотреть его и слушать, любоваться им, а в известном смысле и наслаждаться. Придет время — выйдут из недр народных великие мастера художественного слова, и они дадут сцене, дадут искусству вообще то желанное, которого теперь так остро ощущают не хватает».

Фурманов настойчиво призывал прозаиков и драматургов отображать современность. Вместе с тем он глубоко понимает ограниченность узкотенденциозных плакатных агиток, которые издавались и ставились в начале двадцатых годов.

Всевозможным декадентским группам Фурманов противопоставляет рождающееся социалистическое искусство. «Еще не тверды шаги нового боевого искусства, — пишет он, — но чувствуется уже в нем могучая сила, укрепляющая его на месте погибающих течений и школ».

Взгляды Фурманова на задачи искусства находят прекрасное выражение в его собственном творчестве. Идейность и большевистская правдивость его книг, умение поставить существенные проблемы современности придают особую жизненность его героям.

«Каждый порядочный художник, — пишет Фурманов, — непременно причастен к общегосударственной жизни, понимает ее, ею интересуется, следит за ней, даже часто активно в ней участвует своими собственными силами, знанием, опытом».

Большое внимание уделяет Фурманов проблемам формы, в то же время подчеркивая недопустимость отрыва формы от содержания. Реалистическое мастерство заключается у него не только в выборе злободневной темы. Неоднократно пишет он о том, что писатель-реалист может взять любую тему, весь вопрос в том, как к этой теме подойти.

«Все ли можно писать? Все. Только... В бурю гражданских битв пишешь об особенностях греческих ваз... Они красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын или по идиотизму, или по классовости. Писать надо то,

что служит непременно, прямо или косвенно служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть фарфоровое и время, а не стальное. Впрочем, можешь и про вазы, но душа произведения, смысл, гармония чувств и настроений — все решительно должно быть близким современному, его пополнять, объяснять, ему помогать идти вперед».

«Как писать? — заносит Фурманов в свой дневник. — Вопрос удивительный, непонятный, почти целиком обреченный на безответность. Крошечку завесы можно, впрочем, поднять. Так, чтобы это действовало в отношении художественном, подымало, будило, родило новое. Драма, повесть, стихотворение — все равно. Только не упивайся одной техникой — она... как тина болотная втягивает и губит подчас с головкой, остается голая любовь к форме — это нечто враждебное, совсем чуждое поэзии. Пиши, чтоб понимали».

Борьбу за реализм, за понятность, за художественную простоту Фурманов всегда связывает с борьбой против формализма. Уделяя и в своей эстетике и в своей практике большое внимание качеству, высокохудожественной форме, Фурманов резко возражает против формализма, против трюкаческих изысков. В одной из своих заметок о Всероссийском союзе писателей он прямо пишет: «Нельзя отбрасывать те завоевания художественной техники, которых мы достигли, ими пренебрегать — это значит быть рутинером, но радеть только над рифмами — чушь, бесполезное занятие. По-моему, содержание должно неизбежно, органически рождать те рифмы, которые ему необходимы, которые его выражают, — все равно, старые или новые. Одна рифма сама по себе еще отнюдь не имеет красоты — эту внутреннюю красоту дает только содержание, порождающее рифму».

Проблема народности, массовости искусства встает перед Дмитрием Фурмановым с первых же дней его творческой работы. Целые страницы его дневников, тех самых дневников, в которых давались и описание боев и портреты Чапаева и его соратников, теперь заполняются мыслями о литературе, эстетике. Особое место в высказываниях его об искусстве занимает проблема создания положительного образа, создания характера. Фурманов требует показа человека во всем его многообразии.

«У каждого действующего лица, — пишет он, — должен быть заранее определен основной характер, и факты — слова, поступки, форма реагирования, реплики, смена настроений и т. д. — должны быть только естественным проявлением определенной сущности характера, которому ничего не должно противоречить, даже самый неестественный, по первому взгляду, факт».

Немало места в своих высказываниях уделяет Фурманов и вопросу об общей композиции произведения, о движении темы в целом.

«Тема должна быть полна интересных коллизий, избегая воспроизведения известного заранее. Допустимы неожиданности, но не часто, чтобы не сбиться на уголовщину, на авантюризм, сенсационность, филигранное пустяковство».

Фурманов требует показа героя в действии, а не в риторических отступлениях, не в рассказе о нем. Он говорит о том, что описания лиц должны быть коротки, надо «скорее вводить их в действие, главным образом в поступки, а не в рассуждении о чужих делах».

Особый интерес в высказываниях Фурманова как писателя, работавшего над исторической тематикой, представляют его взгляды на принцип введения в повествование документального материала. Фурманова упрекали в фактографии. Между тем сам Фурманов, признавая огромное значение конкретно-исторического факта, никогда не считал его доминирующим в художественном произведении. Фурманов писал о том, что необходимо вводить памятные особенности эпохи для полноты ее обрисовки (открытия, важные события в разных областях науки и т. д.), но в то же время требовал от художника собственной трактовки события, художественности формы изложения, говорил о том, что *абсолютно недопустимо «нырять случайно, от факта к другому»*.

Немалое внимание уделял Фурманов и языку художественных произведений. С большим интересом относился к новым словообразованиям, к новым языковым изменениям. Необходима работа над совершенствованием художественного слова, писал Фурманов, «усиленная и плодотворная работа над словом, над его обновлением, оживлением, мастерским объединением его с другими — и старыми и новыми словами». И в то же время Фурманов резко отрицательно относился к формалистским трюкачкам, к языку, как заумному, так и псевдонародному.

«С чрезвычайной тщательностью, — пишет он, — отделять характерные диалоги, где ни одного слова не должно быть лишнего».

В одном из своих писем к начинающему писателю, довольно сурово проанализировав язык его повести, Фурманов пишет: «Вы ошибочно взяли псевдонародный язык, выдавая его за подлинно рабочий: «чаво», «ведметь», «када», «тада» и т. п. — вовсе не являются типичной рабочей речью... Отдельные рабочие, конечно, могли говорить и так, но нельзя этого обобщать и распространять на всех рабочих, как правило. Это неверно, а потому и художественно фальшиво».

Уже в ранних своих высказываниях о языке Фурманов близок к Горькому, борется против жаргонизмов и вульгаризмов, за чистоту языка.

Перелистываешь страницы фурмановских дневников и на каждой из них находишь золотые крупички его раздумий.

«Нужна художественная политика».

«Поэзия Некрасова настраивала на боевой лад, в этом ее заслуга».

«Простота в искусстве не низшая, а высшая ступень».

«Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров».

«Формальные приемы творчества, язык и проч. — зависят от содержательно-идеологической сущности произведения» (Плеханов).

«...Старый мир мы тоже можем освещать (не только современить!), но под своим углом зрения...»

«Эстетика должна быть наукой и отнюдь не догматической. Она не предписывает правил, а только выясняет законы; она не должна осуждать или прощать, она только указывает и объясняет...»

«Голос пролетлитературы был всегда созвучен современности...»

«Ближе к живой конкретной современности!»

«Да здравствует пролетарская романтика!»

«Необходимы эпические произведения вровень эпохе...»

«Надо расширять и углублять содержание и работать над новой, синтетической формой».

«Мы боремся с застоем, перепевами самих себя, крайним увлечением формой».

«Существующие формы — лишь исходные точки для пролетарского писателя в деле создания новых форм».

«Футуризм — гаубица, из которой можно стрелять в любую сторону».

«К литературе нельзя относиться мистически — это орудие борьбы».

«Довольно политической безграмотности литераторов!»

«Помогайте массам понять революцию».

«Давай историческую перспективу!»

«Стойте ближе к РКП».

«Надо смотреть на жизнь глазами рабочего класса».

«Мы против сектантства».

Замечательная запись, особенно остро звучащая в наши дни огромного роста мемуарной литературы:

«Человек, ударившийся в воспоминания, иной раз напоминает токующего глухаря: так залюбуется собою, так себя обворожит своими же собственными песнями, что хоть ты голову ему снимай — не шевельнется».

Воспоминания обычно владеют человеком настойчивей, нежели он сам овладевает ими: воспоминания всплывают как бы непроизвольно, сами по себе, выскакивают, словно пузырьки по воде: раз, два, три, четыре... И до тех пор, пока ты созерцательно отдаешься своим воспоминаниям, — сделай милость, вспоминай что хочешь, вреда от этого нет никакого.

Но если задумал воспоминаниями своими поделиться на сторону, тем паче ежели надумал их написать, — тут уж ими, воспоминаниями, следует активно овладеть, из всего воспоминаемого отобрать самое ценное и важное, отбросить второстепенное, как бы навязчиво ни томило оно в мыслях, как бы тебя ни волновало. Больше всего опасайся к крупным событиям подходить с мелким масштабом; приподнимаясь на цыпочки, глядеть через плетень и воображать, что видишь целый мир. Бойся и того, чтобы в центре излагаемых событий непременно выставить себя' смотрите, дескать, какой я молодец, эва каких геройских дел натворил. От такого самовосхваления отдает всегда тошнотворной пряностью, рябит в глазах, звенит в ушах — словом, нехорошо себя чувствуешь...

Не про то я здесь говорю, что «стыдно», «нехорошо» говорить о своих поступках, — это чепуха, отчего же не сказать? Но в этом деликатном вопросе очень много значит — *как сказать?..*»

Своеобразные заповеди Фурманова, взятые нами из его дневников, речей, высказываний, писем, составляют законченную эстетическую программу, сохраняющую всю свою боевитость и в наши дни, действенную и сегодня, как «старое, но грозное оружие».

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

«МЯТЕЖ». ПОЕЗДКА В КРЫМ.

ЛИЦОМ К ОГНЮ

42

10 ноября 1923 года Фурманов, заканчивая большое письмо старой своей приятельнице Марте Хазовой, сообщил ей: «Начал книгу о «Мятеже». И страниц 50 уже написал...»

В письме этом делился он с Мартой сокровенными мыслями своими о самом характере творческого процесса, о «духовном равновесии», которое следует сохранять, работая над книгой.

«Духовное равновесие — это, конечно, совсем не то, что называем мы «покоем души», мирно-беззаботным, кротким состоянием. Можно быть возбужденным до последнего предела, можно кипеть кипучей радостью или негодованием, можно (и должно!) быть потрясенным до основания — и все это на пользу настоящему, глубоко содержательному процессу творчества. Больше того — без этой потрясенности немислимо самое творчество, ибо оно не что иное, как собственное художественное выражение суммы мыслей, чувств и состояний, которыми ты взволнован. Но это состояние должно как раз содержать в себе элементы того произведения, над которым работаешь. Это потрясенное состояние должно собой представлять ту сдобренную почву, из которой подымутся колосья литературного труда...»

Работа над «Мятежом» глубоко волновала писателя. Он снова читал и перечитывал дневники свои и записные книжки. Ему казалось, что он опять дышит воздухом Семиречья, что он снова находится в самой гуще тех минувших классовых схваток с противником.

Записи непосредственного участника событий он проверял огромным фактическим, документальным материалом. Ведь на этот раз он не был Клычковым, он был Фурмановым — и автором и главным персонажем, объединенными в одном лице. Это накладывало на него особую ответственность.

«Я пользуюсь, как и при писании «Чапаева», своими записными книжками, кой-что оттуда даже списываю целиком, доподлинно, не изменяя ни единого слова. Но больше — перерабатываю, пишу заново...»

Он детально проштудировал десять толстых томов верненского процесса, делая пространные выписки.

Он изучил материал о национальном движении на Востоке, о борьбе с басмачеством в Фергане, о политической работе среди населения и в армейских соединениях. Наметил подробные темы каждой главы, день за днем, событие за событием.

«Теперь все выписки просмотрю, взвешу, обдумаю, скомпоную мысленно в одно целое; прикину примерную последовательность изложения и — айда! Писать! Опять, как перед «Чапаевым», занимает дух. Опять растерялся, не знаю, в каком лице, в какой форме повествовать, как быть с историческими документами... В процессе работы потом прояснится. Совладаю бесспорно, и не думаю и мысли нет, что не удастся...»

Это легко сказать «айда! Писать...» Но снова и снова возникает перед ним вопрос:

«Как писать? Этот вопрос стал передо мною, как и тогда, когда зарождался «Чапаев». Не знаю. Право, не знаю. Повестью? Но там будет немало подлинников-документов. А ежели сухим языком ученого исследования — и не гожусь я для таких работ, да и неловко малость давать «историческое исследование» того события, в котором играл весьма видную роль. Очень опасаясь, как бы не вышло бахвальства. А с другой стороны, не хочу и совсем замалчивать наши заслуги и затемнять правду наших дел. Полагаю, что чуть-чуть поможет здесь предисловие — в нем будет оговорка: «не хвалюсь, мол, а правду говорю — попробуйте доказать, что все это, рассказываемое мною, было не так»... А поведу рассказ от первого лица, от себя...»

И вот уже долгие вечера и ночи заняты работой над «Мятежом». Ночи. Потому что днем — служба, Госиздат, встречи с товарищами, беседы с «молодыми», выступления...

Именно в эти дни он повесил на дверях квартиры знаменитое свое, не без юмора написанное предупреждение:

«1. По воскресеньям ко мне прошу не ходить, я очень занят, не мешайте работать.

2. Приходите не чаще 2 раз в месяц:

1. Между первым и пятым числом.

2. " 15-м и 20-м.

3. Только от 5-ти до 7-ми.

Примечание: В экстренных случаях особая статья, тут можно в любой час».

Трудно выдержать подобную нагрузку, тем более что начинают беспокоить глаза (рецидив старой болезни), приходится пользоваться очками... Но они по-молодому горят, эти темно-карие глаза его, когда он в редкие часы передышки читает нам отдельные главы, которые кажутся ему написанными лучше, чем «Чапаев».

«Занят только «Мятежом»... Только «Мятеж», он один...» Особенно волнует его проблема соотношения документального исторического материала с художественным вымыслом.

В первоначальных набросках намечалась и любовно-романтическая линия.

«Ввести такой элемент: Мамелюк, влюбленный в Наю, желающий овладеть ею и, следовательно, избавиться предварительно от меня, тайно пробирается в крепость, изменяет нам и подговаривает всех нас арестовать, расстрелять, а для виду арестовать и его. Тот, кому он это в крепости говорил (положим, Караваев), впоследствии на следствии все открывает, и Мамелюка сессия арестовывает. На суде он все откровенно рассказывает, говорит о пламенной любви своей к Нае. Его приговаривают к расстрелу. Ная молит меня спасти его. Грубая сцена ревности, и мой гнев на ее просьбу, укоры: «Он же изменник, подумай, за кого ты просишь! Надо в таких случаях забыть о личных симпатиях. Дело и борьба выше всего! Его надо расстрелять...»

Он делился с Анной Никитичной своими планами. Сначала эта «лирическая» версия понравилась ей. Чего греха таить, ей нравилось, Нае, быть эдакой литературно-романтической героиней (как в «Чапаеве», так и в «Мятеже»). Но потом она согласилась с Митяем, когда он снял всю эту «линию».

Получалась она примитивной, мелодраматически-сентиментальной и никак не вязалась со строгим исторически-документированным изложением.

Не желая уделять слишком много внимания своим личным отношениям с женой, из чувства внутреннего такта Фурманов не включил в роман и лирическое обращение к Анне Никитичне, которое писал он в крепостной камере в ожидании расстрела. А об этом как раз можно и пожалеть. Оно, обращение это, обогатило бы только образ комиссара, сделало его многограннее.

Ведь при всей своей автобиографической индивидуальности образ

самого Фурманова в романе имеет большое обобщенное значение. Это не всегда замечали критики романа, в особенности критики несправедливые.

Несомненно, и «Чапаев» и «Мятеж» связаны одной идеей. «Чапаев» — это повесть о герое из народных «низов», который идет к большевизму, идет к сознательной защите революции под влиянием партии, представителем которой был комиссар Клычков — комиссар Фурманов. «Мятеж» — это повесть о том, как партийная воля направляет на правильный путь несознательную массу, которую хотели использовать враги против революции, против пролетариата. Проблема большевистского воспитания занимает ведущее место в той и в другой книге. Особенно ярко раскрыто в «Мятеже» сочетание большевистской решимости и непримиримости с большим тактом в подходе к массам.

«Мятеж», — как писал позже Серафимович, — это кусок революционной борьбы, подлинный кусок, с мясом, с кровью, рассказанный просто, искренне, честно, правдиво и во многих местах чрезвычайно художественно».

Но до выхода «Мятежа» в свет оставались еще долгие недели.

Заслуженный успех «Чапаева» открыл Фурманову двери всех редакций.

Ему заказывают рассказы, очерки, фельетоны, стихи. Его приглашают участвовать в редколлегиях.

По справедливости нельзя не сказать, что слава в первое время вскружила ему голову. Он печатается в газетах «Рабочий край», «Известия», в журналах «Печать и революция», «Военная мысль и революция», «Военный вестник», «Октябрь», «Политработник», «Пролетарская революция», «Красноармеец», «Огонек». В кубанском издательстве «Буревестник» выходит далеко не совершенная, но интересная по материалу повесть его «В восемнадцатом году». (Первоначальное название «Молодежь».)

В конце 1923 года выходит второе издание «Чапаева». Публикуются уже и очерки о верненском мятеже, являющиеся, в сущности, заготовками к роману, над которым он усиленно работает.

Конечно, среди публикуемых произведений встречаются и совсем слабые, а некоторые даже (при всем уважении к автору «Чапаева») возвращаются ему. Так случилось с рассказом «Шестьдесят», который передал Фурманов в «Красную ниву» старому писателю Ивану Касаткину.

Это охлаждает Фурманова.

Нельзя размениваться на мелочи, нельзя соглашаться на каждое предложение. «Чем дальше, тем строже начинаешь относиться ко всему,

что выходит из-под пера», — замечает он в одном письме.

Многие часы отнимает и работа в Госиздате. «Целый день над книгой: с утра в Госиздате. Домой приду — здесь читаю, готовлюсь писать «Мятеж», строчу, отмечаю: словом, часов 15–18 в сутки за книгой».

Снова тревожит болезнь глаз. Начинает пошаливать и сердце. Но он, дисциплинированный во всем, не поддается болезням. Регулярно делает зарядку.

«Ночью — начитавшись, написавшись — чувствуешь, как иглами закололо глаза. Больше работать не в силах. Встаю и минут 15 делаю гимнастику. Кровь разыграется, и., глазам становится легко. Получается впечатление, будто кровь в очах остановилась, застыла, ссохлась и колола этими ссохшимися колючками. А вот разогнал, разжарил, растворил ее — снова заиграла, закипела она по жилам, и глаза оздоровели. Вообще скажу, может быть, только благодаря гимнастике я и могу так интенсивно работать, каждую ночь до 3—4-х часов, подымаясь около 9-ти и целый день будучи занят...»

Во что бы то ни стало надо сохранить здоровье. Ведь столько еще предстоит сделать, столько написать.

Он торопится, высчитывает. В двадцать четвертом году «Мятеж», в двадцать пятом «Таманцы». (К мысли написать «Таманцев» он возвращается все же не раз. Не оставляет ее даже после «Железного потока» Серафимовича.) А дальше — неисчерпаемые запасы материалов о гражданской войне, о земляках-ивановцах, о Фрунзе. «Каждый год по книге, а то и две. Это план жизни... Романы, повести, а на старости — дневники свои буду обрабатывать: тут материалу на сто лет...»

...Все больше времени начинает отнимать литературная борьба. Не признающий никаких компромиссов Фурманов ничего не мог делать вполсилы. Решительно и резко выступает он против Воронского, открывающего доступ на страницы печати многим классово чуждым произведениям.

«Воронений проталкивает с[борник] Клычкова. Там стихи о лампадках, троеручицах и прочей благодати. Написано часто великолепно, но по содержанию и настроениям совсем нам чужие... А Вор[онский] проталкивает...»

Реплики его по адресу Воронского с каждым днем становятся все более гневными и колючими. «Перед стариками писателями у него слепое благоговение. Он к ним относится как к фетишам... Таким консерваторам теперь не место... Из нового кой-что он понимает, но понимает, и только. А водружать новое, укреплять, развивать, помогать, выводить — на это его не

хватает».

В ту пору Фурманов поддерживает критику позиций Воронского, которую проводит журнал «На посту», осуждавший всю деятельность Воронского и целиком отрицавший его заслуги в собирании сил советской литературы. Вскоре наступит время, когда Фурманов по-настоящему, по-партийному выступит и против одностороннего сектантства и догматизма напостовцев, против пресловутой «напостовской дубинки».

В то же время Фурманов высоко оценивает творчество своих соратников, писателей группы «Октябрь», не раз выступает бок о бок с ними на многочисленных вечерах и диспутах, становясь как бы знаменосцем «Октября», одним из его правофланговых.

Особенно ярко сохранился в памяти литературный диспут в конце ноября 1923 года в большой университетской аудитории, когда после многих острых и резких речей выступил с чтением своих стихов Александр Безыменский, тогда еще совсем молодой, пышноволосяй друг наш, Саша Безыменский. Он читал широко известные стихи свои: «О шапке», «Петр Смородин», «Поэтам Кузницы». Под конец, поддержанный комсомольской аудиторией, Саша спел недавно написанный гимн «Молодая гвардия».

Когда Безыменский вернулся на свое место, Фурманов крепко обнял его и поцеловал.

Потом он записал в дневнике своем: «Я, прошедший фронты гражданской войны, видевший и узнавший слишком много человеческих страданий и вследствие этого отупевший, — я вчера три раза ощутил под ресницами слезы. И тихо, незаметно для других, склонившись — смахнул их, мои слезы. Я был взволнован чрезвычайно. Тысячеголовая 1-я аудитория университета неистовствовала. Он, Безыменский, был вчера первым, любимым среди нас...»

21 января весь наш народ испытал огромное горе. Умер Владимир Ильич Ленин.

На другой день Дмитрий Андреевич собрал нас, молодых поэтов, у себя в Госиздате. Он не говорил никаких речей. Они были не нужны сейчас, эти речи. Он только просил нас сохранить высокую поэтическую ответственность в стихах, посвященных Ильичу. «Чтобы они были достойны Ленина, — сказал Фурманов. — Вы понимаете — достойны Ленина».

Глядя на его скорбное волевое лицо, мы учились умению сохранять присутствие духа в самые тяжелые минуты.

Мы решили подготовить сборник стихотворений о Ленине. И еще приняли одно решение по предложению Фурманова: стихи, написанные в

эти дни о Ленине, не подписывать своими фамилиями, а именем коллектива: МАПП (Московская ассоциация пролетарских писателей).

В решении этом было что-то очень строгое и благородное.

Так четырьмя буквами МАПП была подписана и моя «Баллада о Ленине и Ли Чане», первое мое большое стихотворение, увидевшее свет на страницах журнала и одобренное Фурмановым и Безыменским.

Фурманов уже не писал стихов, но высокой поэзией проникнуты те записи, которые он сделал в эти дни в своем дневнике;

«Я шел по красным коврам Дома Союзов — тихо, в очереди, затаив дыханье, думал:

«Сейчас увижу лицо твое, Учитель, — и прощай. Навеки. Больше ни этого знакомого лба, ни сощуренных глаз, ни голой, круглой головы — ничего не увижу».

Мы все ближе, ближе...

Все ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело как бумага, спокойно, на нем ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог, оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корч, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо.

Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что еще прекрасней оно потому, что любимое, самое любимое, самое дорогое. Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков. Вот вижу со ступенек все лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже ее чуточная борода. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали — теперь кажутся они гуще и черней...

Двигается, движется человеческая цепочка, слева направо, вокруг изголовья, за гроб. Виден только череп... Блестит голой, широкой покатостью... И дальше идем — снова щека — другая, левая... Идем и оглядываемся — каждому еще и еще хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить. И снова по красным коврам идем проходами, коридорами Дома Союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная ли она, не рассмотреть: кругом толпа, до Дома Советов, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждет очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу...»

Он стоял в почетном карауле, потом с толпой несколько раз проходил вместе с другими мимо гроба, вглядываясь в лицо Ильича. Бродил по городским улицам, стоял у костров, прислушивался к тому, что говорят в народе о Ленине.

На похороны Ильича, на Красную площадь, мы шагали вместе, в одном строю. Митяй бережно поддерживал совсем, казалось, ослабевшую Наю. Старая, кубанская папаха его и густые брови обындевели на морозе. Потом я проводил их домой, на Нащокинский. Не произнесено было ни слова.

Фурманов вернулся домой совсем разбитым. В эту ночь он не мог заснуть. Он опять разговаривал со старым, верным дневником:

«Ленин умер... В эти минуты остановилась вся жизнь. Неведомые голоса пели похоронный гимн, телеграфные ленты выстукивали: Ленин умер, Ленин умер. Нам осталось многое сделать, труден будет наш путь, но в руках у нас зажженный учителем светильник — он разрезает мрак. В руках у нас резец — он рассекает скалы, он прокладывает путь. В мозгу нашем — опыт великого учителя, в сердцах наших — его неутомимость, гнев ко злобствующему, враждебному миру и высокая, безмерная любовь к человечеству, к труду, к тому, во имя чего он жил, ради чего ушел преждевременно от жизни.

Прощай, Ильич — самый любимый, самый нужный человечеству!»

Зная предельную фурмановскую оперативность и точность, его не щадят, загружают десятками обязанностей.

Он участвует почти во всех обсуждениях новых произведений пролетарской литературы. Проводит юбилейный вечер Александра Серафимовича. Руководит всей организационной работой ассоциации, многочисленными совещаниями с «Кузницей», «Лефом», совещаниями, на которых много излишней заседательской суетни, суесловия, шумихи. Без Фурманова этой суетни было бы во много раз больше.

Вместе с Юрием Либединским занимается проблемами национальных литератур (в то время в МАПП входило много национальных секций, кстати сказать, впоследствии одной из них, татарской, руководил Муса Джалиль).

Как опытный рулевой, он ведет корабль пролетарской литературы по истинному партийному фарватеру, не позволяя отклониться ни вправо, ни

влево. Ни к всеядности, ни к сектантству. Уже тогда приходится ему не по вкусу «напостовская дубинка», сокрушающая все и вся.

И вместе с тем он борется со всякими проявлениями буржуазных влияний в литературе.

Не забыть, как однажды, поздним вечером, на Нащокинском, после особо бурного заседания (Анна Никитична приготовила нам крепкий, почти черный чай, который любил Митяй, требуя, чтобы стакан его наливали до самых краев), он сказал:

— Вот у нас некоторые деятели из «Перевала» под идейным покровительством Воронского объявляют классовый мир и всепрощение. Посмотри их первый сборник. Во многих произведениях не только отсутствует классовая выдержанность, а прямо выпирает идеологическая зыбкость, неустойчивость. А ведь люди, несомненно, способные, талантливые...

Погляди, я тут кое-что написал об этом альманахе.

Давая в рецензии оценку произведениям писателей-«пере-вальцев», Фурманов заключал:

«Каждое художественное произведение должно не только заинтересовать или увлекать своими техническими совершенствами — его задача более ответственная и сложная: оно частичка, крупица того строительного материала, которым создается коммунистическое общество».

Это была его прямая, бескомпромиссная, истинно партийная линия в литературе.

Недаром так обрадовался Фурманов, когда узнал о вступлении в коммунистическую партию высоко ценимого им французского писателя Анри Барбюса, автора романа «Огонь». Он записал тогда в дневник свой: «Итак, Барбюс, ты хорошо сделал, что вступил в Коммунистическую партию... Постарайся охранить себя как творца — и пусть тебе в этом поможет Компартия, но не чурайся... не отходи и от той черной, маленькой... работы, которая, по существу, является строительной».

По обязанности редактора Госиздата и секретаря МАПП он читал множество рукописей начинающих писателей. Относился к ним требовательно, придирчиво. Но радовался каждому истинному «зернышку», каждой искре таланта!..

Однажды я пришел к нему в Госиздат. Фурманов отложил какую-то рукопись, снял очки и сказал мне задумчиво:

— Да... писатель из него может выйти любопытный. — И, заметив мое недоумение: — Был у меня, Сашко, сейчас интересный человек. Из

самой глубинки. Не нашим проповедникам чета. (Разговор происходил уже в дни, когда началась наша борьба против сектантского, родовского руководства БАПП.) Панферов. Федор. Разве я тебе не говорил об его рукописи?.. «Огневцы»... В делах теоретических и склочных он еще не понаторел. А деревню знает прекрасно. И писать о ней может. Не слыхал? Панферов, Федор Иванович.

Это имя мне ничего не говорило.

— Надо его как-нибудь затащить на Нащокинский. Или, может, к старику на Пресню. Пусть там почитает.

Чтобы попасть на Пресню к Серафимовичу или на Нащокинский к Фурманову, надо было пройти предварительный отбор, обнаружить несомненные признаки дарования. Графоманов там не поощряли. Значит, этот новый, Панферов, чем-то действительно порадовал Митяя.

— Мало мы знаем деревню. Мало и плохо. Проводим вот целые вечера в спорах, а жизни не знаем, — продолжал между тем Фурманов все более взволнованно. — Я вот в свое время немало поездил по ивановским деревням, а прочел эту рукопись и точно новый, незнакомый мир познал. А ведь пишет он еще сыровато. До самых глубин не дошел. Только первый пласт поднял. Ну, я ему все прямо, и сказал. Думаю, понял. Сказал, что еще поработает. Глаза у него хорошие. Такой не соврет. Конечно, неплохо бы еще позвонить ему, приободрить. Да телефона у него нет. Живет еще по-пролетарски. Ну ничего, придет следующий раз — мы его к старику затащим. А ты его фамилию запомни. Федор Панферов... Такие нам в МАПП нужны...

Разговор этот происходил незадолго до столь горькой для нас смерти Митяя. Так больше и не повстречались Фурманов и Панферов.

И вот через два года (после демобилизации из армии меня избрали секретарем МАПП и назначили в издательство «Московский рабочий» редактором «Новинок пролетарской литературы») на моем столе оказалась рукопись романа Ф. И. Панферова «Бруски».

...А по ночам Фурманов окончательно отделявал «Мятеж», писал статьи и рецензии, работал по предложению Пролеткино над киносценарием «Чапаева». Мечтал о будущем большом романе.

В качестве «дополнительной» нагрузки его назначают на работу в Истпарт. (Затребовали М. С. Ольминский и П. Н. Лепешинский.)

Фурманов исхудал. Даже обычный румянец исчез с его щек.

Анна Никитична убеждает его в необходимости хотя бы кратковременного отдыха. Намечает для него интересный крымский маршрут. К сожалению, она связана срочной работой и не может

сопровождать мужа. Вопреки советам жены он берет с собой целый чемодан книг, чтобы не тратить времени даром. Среди книг даже увесистый том «Капитала».

Фурманов в Крыму.

Море. Горы. Встречи с новыми людьми. Позади московские заботы. Он чувствует себя помолодевшим.

Обо всем этом надо будет потом написать. Хоть об этом уже столько написано. И удастся ли ему сказать какое-то новое слово в описании этой природы, этого крымского рая? А повторять чужое... К чему же повторяться? Ведь у него накопилось столько своего, того, о чем никто рассказать не сможет.

Он бродит теплыми ночами по берегу моря и думает о жизни своей, о Нае. Как-то она там, на Наццокинском? Он вспоминает их встречи. Любовь. Вечная тема. А ведь он еще никогда не писал о любви. Не все же о войне. Не все же о боях и походах.

Положив бумагу на широкий подоконник, он пишет при свете полной гурзуфской луны (вот она, истинная романтика!) письмо Нае:

«У каждого есть своя звездочка, на которую он широкими глазами смотрит в минуты духовного напряжения, к которой простирает руки — с любовью, с надеждой, с глубочайшей верой, что там, на этой звездочке, в этом далеком мире, и скрыта его настоящая жизнь. Моя звездочка — ты. Я в самые серьезные минуты, в минуты сосредоточения мыслей моих и чувств — обращаюсь к тебе. И ни о чем больше не хочу говорить, как только о своей любви...

Так ли ты переживаешь разлуку? Какие чувства и настроения переполняют тебя? Эта разлука — наше испытанье, говорила ты мне в одном письме. Я себя спрашиваю: испытанье ли? Может ли что поколебать меня? Может ли что прийти извне и потревожить безграничную мою любовь к тебе?.. Смело, ясно, уверенно отвечаю себе: нет. И не только нет, никогда!..

Ибо целые толпы женщин прошли и проходят перед моими глазами, но хоть одна-единная смогла ли поколебать непоколебимое чувство? Ни разу.

...А ты? Как ты сама? Ты ведь тоже человек, и человек молодой, полный всеми устремленьями, человеку свойственными. И было бы удивительно, если бы даже мимолетно, невзначай, хоть на минуты, ничто, никто, никогда не задержали на себе твоего взора, вниманья, чувства... Почему ты пройдешь, холодная и безучастная, мимо благородного сердца, мимо серьезной, насыщенной мысли или просто мимо прекрасного, веселого, душевного характера? Разве своим вниманием ты оскорбишь хоть

сколь-нибудь наши отношения? Да нисколько.

Вся жизнь человеческая состоит из встреч — с новыми мыслями, новой работой, новыми людьми, новыми нуждами, новыми красотами, тревогами, радостями, — так как же можно с холодностью затворницы не откликнуться горячо на то, что по пути, из чего состоит жизнь!

...Никогда не надо ни стыдиться, ни сторониться новых испытаний, надо только мудро постигнуть ту грань и ту меру, которую им отвести...

Уменье всему отвести свое место, время, количество сил, чувств, вниманья... это очень трудное и очень большое дело...

...Мы свои нежные отношения выковали долгими годами совместной жизни. И жизни не пустой, живоотнообразной, а полной всяких испытаний и тревог, больших и малых. Мы так много и серьезно пережили за эти годы, мы так много имели возможностей один другого узнать и испытать, что с полным правом можем близость свою считать испытанной и серьезной вполне. И если теперь, через годы, все так же глубоки и свежи чувства наши друг к другу, если они до сих пор смогли устоять передо всеми испытаниями жизни и остаться в основе своей нетронутыми, столь же прекрасными, как раньше, вначале, когда-то давно-давно, — разве же это случайность? О нет — таких случайностей не бывает. Это означает лишь одно: в нашей дружной жизни подлинное счастье, подлинная красота, которую я без тебя, а ты без меня, быть может, и не найдем никогда. Вот почему близость эту надо хранить, беречь обоим. Разобьем — не воротишь. На всю жизнь останется изъян, который ничем не восполнишь...»

Ну и расписался... Прямо не письмо, а целый философский трактат о любви. Пора кончать. Скоро рассвет. Скоро настанет новый день.

1 августа Фурманов вернулся в Москву посвежевший и отдохнувший.

За месяц крымского путешествия он написал одиннадцать писем-очерков, отосланных Пае: «Путь», «Севастополь», «В Ялту и Гурзуф», «На Ай-Петри», «Странствие», «Снова в Гурзуфе», «В Никитский сад», «На Яйлу», «Любовь», «Грот Пушкина», «В Наццокинский».

Это целая путевая сюита, пронизанная задушевым лирическим чувством поэта. Да, автор «Чапаева» и «Мятежа», суровый комиссар дивизии, соратник Чапаева, Белова и Ковтюха продолжал оставаться лирическим поэтом. Он думал обработать впоследствии эти письма-очерки и издать отдельной книгой. Только не после первой корректуры, а после десятой или двадцатой...

А пока надо было кончать «Мятеж». Надо было опять включаться во всю сложную литературную жизнь, в борьбу «на литературных баррикадах».

В своих дневниках, описывая литературную жизнь, Фурманов часто пользуется привычной военной терминологией.

«На литературном фронте отчаянные схватки с воронщиной, видимо, подходят к концу. Уже имеются упорные слухи, что Вор[онски]й уходит, подал сам в отставку. Победа, таким образом, остается за пролетлитературой...

За боями, за победой, за первой полосой — вторая: закрепление позиций, отбитых у врага; наконец, будет третья — творчество, подлинное творчество, ради которого вели борьбу и закрепляли свои завоевания...»

Литературная борьба для Фурманова — это не игра, это не закулисные интриги и склоки, которые он ненавидит. Это принципиальное, боевое отстаивание партийной линии в идеологии, в искусстве. Как и на военных фронтах, он всегда в передовой цепи, лицом к огню. И в то же время Фурманов с величайшим вниманием и тактом относится ко всем писателям, близким к народу, невзирая на то, состоят они в МАПП или не состоят.

Приемы сокрушительной «напостовской дубинки» становятся для него все более неприемлемыми. Высоко ценя творчество Маяковского, он ведет плодотворный творческий диалог с руководимой Маяковским группой «Леф». «Лефы с нами будут идти об руку рука, как первые сотоварищи».

Обновляется редакция журнала «Красная новь». В нее вводят, в частности, заместителя заведующего отделом печати ЦК В. Сорина. До этого Воронений фактически руководил куриалом единолично.

На заседании правления МАПП В. Сорин приглашает пролетарских писателей принять активное участие в журнале.

«Наша победа признана ЦК, — пишет Фурманов, — Вор[онски]й на обеих лопатках».

Но Фурманов тут же одергивает тех своих друзей, которые односторонне, по-сектантски оценивают эту «победу».

— Наше вхождение в органическую работу, — настаивает он, — должно произойти постепенно и незаметно — оно, во всяком случае, не должно распугать «попутчиков»...

В журнале «Молодая гвардия» публикуется первая часть «Мятежа» («По семиреченскому тракту»). Вторая отослана в ленинградскую «Звезду». Третья (наконец-то!) печатается в «Красной нови» с предисловием Александра Серафимовича.

Переиздается повесть «В восемнадцатом году». Но «почти каждую страницу вдребезги исправляю... Так все кажется слабым, за многое стыдно, что это я писал, — словом, вырос, видимо, малость, стал требовательней...»

Возникает мысль о полной переделке «Чапаева», книги, которая получила уже всенародную известность. Но пока не доходят руки. Выходит уже третье издание. Предисловие пишет Анатолий Васильевич Луначарский.

В Доме печати проходит широкая дискуссия «О героях произведений Бабеля». Выступают В. Полонский, В. Шкловский, Л. Сейфуллина. Вступительное и заключительное слово произносит Фурманов. Отметив (как он говорил об этом и самому Исааку Эммануиловичу), что Бабелю не удалось в полной мере показать героизм конармейцев и ведущую роль коммунистов в боях, Фурманов, как и всегда, дает высокую оценку художественному мастерству Бабеля.

Фурманов председательствует на широком писательском собрании, посвященном 7-й годовщине Октября. Делает доклад на третьей конференции МАПП. Его вводят в коллегию отдела печати МК РКП(б).

Знаменательная встреча происходит 24 ноября. Фурманов председательствует на открытом литературном собрании МАПП. На собрании обсуждаются первая часть поэмы Александра Безыменского «В глуши», стихи Ивана Молчанова и рассказ девятнадцатилетнего писателя — молодогвардейца Михаила Шолохова «Коловерть». Фурманов тепло говорит об истинной творческой искре, которую он почувствовал у Шолохова.

На вечере, посвященном второй годовщине группы «Октябрь», Фурманов произносит приветственную речь. Он отмечает, что «Октябрь» явился основателем МАПП и руководящим ядром ВАПП и Международного бюро пролетарских писателей. «Небольшая группа протестантов, которая твердо заявила о необходимости равнения литературы на рабочие массы, выросла в мощную организацию, объединяющую почти всех пролетарских писателей».

Казалось бы, все благоприятствует ему, казалось бы, исполнились все мечты его и желания...

И все же он не чувствует удовлетворения. Ночами, сидя над гранками «Мятежа», он глубоко задумывается, бросает перо. Все кажется ему слабым, недописанным, недотянутым. Зачеркнуть все и начать сначала? Но он не в силах это сделать. Как писать?.. Этот вопрос постоянно мучает его. Об этом говорит он и с Бабелем, и с Либединским, и с Сейфуллиной.

В октябре умер Валерий Яковлевич Брюсов. Кто-то из выступающих говорил о мятежном таланте Брюсова, прочел примечательные его строки:

*Нам слышны громы: то вековые
Устои рушатся в провалы;
Но снежной ширью бывлой России
Рассвет сияет небывалый...*

После похорон мы бродили с Митяем по старому Новодевичьему кладбищу (оно еще было далеко, далеко не так заселено, как сейчас...). Остановились у могилы Чехова. Постояли. Помолчали.

— Ты помнишь «Степь», — сказал Фурманов, — такого достичь, кажется, невозможно. А мы бегаем, суетимся, заседаем. Мишура. Много мишуры. Погоня за славой. «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво...» Кажется, так?.. Когда же займемся мы истинным творчеством, творчеством, которому надо отдать всю жизнь? Всю жизнь...

Вскоре Фурманов уехал вместе с Наей на несколько дней в Ленинград. Город Ленина покорило его. Сколько мыслей всколыхнул он!

«У Зимнего, на площади, матросы обучались стрельбе: черные, светлые, здоровые, надежные! Как эта жизнь не похожа на ту: матросы революции! Верно — все комсомольцы! А давно ли тут проходил царь!.. И давно ли на караул ему брали и прочее! Как эта жизнь не похожа на ту! Только сторожа кое-где остались. А из картин многие разорваны штыками — следы Октябрьской бури...»

Потом Невская лавра... Могилы. Знакомые, родные имена. Петропавловка. «Смотрим Трубецкой бастион. Одиночки, где такая жуть, ужас такой могильный. Эти вот царапины, черточки, этот глазок, замки-засовы, коридоры в земле, решетчатые окна — за окнами Нева, волны, выхода нет никуда. Здесь был и Морозов, здесь Фигнер Вера... Отсюда уводили на казнь декабристов, петрашевцев... А вон, поблизости — дворец Кшесинской! Красавец! Игрушка-зданье! И беседка: с этой беседки говорил Ильич! Его голос слышали мученики крепости...»

Осмотрен уже и Эрмитаж, и Аничков дворец, и знаменитые кони. «На Волковой кладбище поклонились дорогим могилам — неистовому Виссариону, Добролюбову, Писареву, Плеханову, Засулич... День был сырой и хмурый. По Волкову ходили унылые, словно заново хоронили всю эту славную рать».

Издалека видели Кронштадт. И опять целый калейдоскоп картин. Кронштадтский мятеж. Красная Горка. Крепость била сюда из орудий. Делегаты партийного съезда идут усмирять мятежников. Жаль, не довелось ему быть среди делегатов.

Кончилась передышка. Снова Москва.

Первая Всесоюзная конференция пролетарских писателей. Со всей страны собрались именитые и молодые. Представлены и «Октябрь», и «Молодая гвардия», и «Рабочая весна», и «Кузница». Александр Серафимович, Александр Безыменский, Феоктист Березовский, Федор Гладков, Юрий Либединский, автор «Недели», Александр Тарасов-Родионов, автор нашумевшего «Шоколада». Иван Жига. Верховодит по-прежнему Семен Родов.

Фурманов делает доклад «Организационная система ВАПП». Появление на трибуне автора «Чапаева» встречают аплодисментами. Он смущен и взволнован. На полувоенной гимнастике горит столь редкий в то время орден Красного Знамени.

Его, единогласно избирают в правление ВАПП. Его одинаково ценят вожди разных вапповских группировок. И крайне «левый» напостовец Безыменский и вожак «Кузницы» Гладков.

Фурманов не обходит вниманием ни одного крупного произведения пролетарской литературы. Публикует новую большую статью о Серафимовиче. Пишет отзыв о романе Гладкова «Цемент».

В спектре его внимания и произведения так называемых попутчиков. Один из первых поднимает он на щит «Виринею» Сейфуллиной («Дважды прочитал я «Виринею», и дважды острое чувство боли сжало сердце, когда убили Вирку: так тяжело бывает только при гибели дорогого, близкого человека»).

«Чрезмерное» внимание Фурманова к попутчикам, к Сейфуллиной, Бабелю, Всеволоду Иванову, Федину, Леонову, вызывает раздражение в напостовском «ортодоксальном» руководстве.

Проводя поистине диктаторскую политику в ВАПП, Родов не терпит, чтобы ему перечили. Мы, молодые, поддерживая Фурманова, начинаем постепенно переходить в оппозицию.

Авторитет Фурманова велик, и это тоже не нравится Семену Родову.

Под председательством Фурманова проходит большой вечер,

посвященный первой годовщине со дня смерти Ленина.

Фурманов произносит вступительное слово. Ночью долго бродит по Москве, вспоминает о прошлом, восстанавливает в памяти облик Ильича, которого видел он и слышал неоднократно.

В дневнике сохранилась запись его размышлений, которую хочется привести целиком.

«Год назад... умер Ильич. Я прошел снежным сквером и уперся в гранит храмхристовских лестниц. Тьма. Кремль в мелких, в ярких звездах-огнях. В темно-синюю вечернюю вуаль, где-то далеко-далеко на блике Кремля бьется отсветами, красными отблесками флаг. Мы стоим молча — один, другой, десятый, сотый. Все молчим. И взорами вонзились туда, на Красную. Скоро салют — пальба. Скоро. Напряженно гудит тело, гудит в голове, у горла что-то накипает, нарастает, все ближе, ближе, ближе... И вот одна за другой жалобно, протяжно заплакали заводские сирены... Над траурной Москвой поплыли, заплакали навзрыд печальные стоны...

Ударили орудия, выждали минуту, ударили вновь, а в густой вечерней синеве — над морем огня — жалобные, протяжныеплыли во тьму рыданья сирен. Мы стояли окаменелые. Никто не говорил другому ни слова. Мы полны были глубоких чувств и молча их хранили в груди. Мы затем пришли, чтоб чувствовать здесь, что за день, что это за час, что за минуты.

Останавливалось дыхание, сгрудились спазмами в горле рыданья, по щекам моим сползали слезы...

Нет его, великого учителя, нет...

И вспоминалось дорогое лицо — как видел я его на съездах: желтое, утомленное, но горящее радостью, зажигающее бодростью, верой в успех, в победу своего дела... Вспомнился этот крутой череп, остро стриженные усы, колючие и ласковые вместе Глаза — весь встал Ильич. Ожил. Он на трибуне, говорит речь — простую, ясную до дна, убеждающую до отказа — историческую речь... И знать теперь, что нет его, — э-эх, тяжело...

Вся Москва в этот день, эти дни особенно — в воспоминаниях о дорогом покойнике: заставлены, затянуты в траур витрины; портретами, бюстами — учреждения, залы — черно-красной материей, по залам, по клубам, на собраниях, в ячейках — везде речь об Ильиче, о делах его, о жизни, о борьбе.

Этот день, эти дни, каждая минута жизни нашей пронизана мыслью и чувством только о нем.

Идут по улицам с плакатами рабочие, до глубокой ночи бьют барабаны пионеров, слышны комсомольские песни. Москва вспоминает великого учителя, великого борца, любимого Ильича».

В эти дни он особенно много думает о Ленине, о той роли, которую Ильич сыграл в его собственной жизни, о книгах Ленина, изучение которых входит в постоянный план его работы.

Он пишет в одном из ответов начинающей писательнице Сочинской:

«Надо учиться ленинизму — глубокому и верному пониманию жизни и человеческих отношений, иначе всем вашим писаниям будет грош цена, раз не поймете и не усвоите себе основного: науки о жизни, о борьбе, обо всем, что найдете в книгах Ленина и в других книгах, освещающих и разбирающих его учение. Это единственный верный путь сделаться значительным художником; с одной стороны, изучать ленинизм, с другой — величайших художников слова. У каждого учиться своему и пытаться сочетать простую и мудрую ленинскую пауку о жизни с простой, но тоже по-своему мудрой наукой о художественном мастерстве, и это все — передуманное, перечувствованное — отражать в своем художественном творчестве, в своих произведениях, в своих образах, в набросках...»

В начале февраля Фурманов с радостью по приглашению земляков едет в село Дунилово Шуйского уезда, где долго работал брат его Аркадий. В Дунилове большой праздник: открытие электростанции. Здесь Дмитрия знают и помнят. Здесь не раз выступал он в былые годы. Вот и теперь в страстной речи своей вспоминает он о прошлом, рассказывает о том, как рождался план электрификации страны, как загорались первые «лампочки Ильича».

В конце февраля, к годовщине Красной Армии, выходит роман «Мятеж», уже известный читателю по главам, напечатанным в журналах.

Работа над «Мятежом» продолжалась больше года. О том, что он поставил последнюю точку в рукописи, Фурманов сказал мне еще в конце сентября 1924 года. Но он продолжал еще работать над книгой. И только в ноябре счел рукопись готовой к печати.

— Сделал себе подарок ко дню рождения, — сказал он мне, улыбаясь, — а ты знаешь, сколько лет мне стукнуло сегодня? Тридцать три года... Многовато для молодого, начинающего писателя. Как Илье Муромцу, что сиднем сидел тридцать лет и три года...

Потом задумался, надел очки, полистал рукопись и добавил грустновато:

— Подарок... Не знаю, будет ли это подарком читателям. Жутковато после «Чапаева»...

Александр Серафимович Серафимóвич был одним из первых

читателей «Мятежа». (Некоторые главы Фурманов читал на «встречах» наших, на Пресне.)

«...Я читал «Мятеж», — писал позже Александр Серафимович. — Я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться, перечитывал отдельные куски, потом долго ходил, потом опять перечитывал. И я не знаю, хорошо это написано или плохо, потому что не было передо мной книги, не было комнаты, — я был в Туркестане, среди его степей, среди его гор, среди его населения, типов, обычаев, лиц, среди товарищей по военной работе, среди мятежников, среди удивительной революционной работы.

Да, это художник, художник, вдруг выросший передо мной и заслонивший многих...»

В «Мятеже» особенно ярко выявилось умение Фурманова наблюдать, находить яркие художественные детали, выделять основное из массы фактов, отбрасывая ненужное, второстепенное.

Фурманов изобразил многонациональное Семиречье во всей сложности классовых противоречий. Он показал, как большевистские руководители сумели, разоблачив вожakov мятежа, привлечь к себе массы, втянутые в мятеж классовыми врагами.

Это одна из немногих книг нашей литературы, показавшая роль большевистского руководства в сложных условиях революционной борьбы в Средней Азии.

Каждая глава книги, насыщенная большим драматическим содержанием и действием, изобилует глубокими мыслями автора о ходе событий, и эта философичность книги не делает ее отвлеченной и риторичной. Правильно замечает Серафимович — в книге повсюду видна наша партия, которая «проявила удивительную приспособленность, гибкость, учет окружающей обстановки, исходя всегда из основных своих незыблемых коммунистических положений — и этим победила...

Эта книга может многому научить».

Особенно интересны в книге размышления Фурманова о жизни, о борьбе, взаимоотношениях руководителя и массы. Образ председателя Военсовета Фурманова в повести «Мятеж», несомненно, продолжает и развивает образ комиссара Клычкова.

Вот Фурманов должен выступить с речью перед толпой. Он должен понять эту толпу, чтобы овладеть ее мыслями и чувствами. Подробно описаны сложные раздумья Фурманова о психологии вожакa и психологии массы. Это внутренний монолог огромной силы и художественной убедительности. Мы уже говорили о нем подробно в главе о самом мятеже, и все же хочется привести основные заключительные слова в

окончательной редакции романа:

«...Знай, чем живет толпа, самые насущные знай у ней интересы. И о них говори. Всегда надо понимать того, с кем имеешь дело. И горе будет тебе, если, — выйдя перед лицом мятежной, в страстях взволнованной, разгневанной толпы, — ты на пламенные протесты станешь говорить о чужом, для них ненужном, не о главном, не о том, что взволновало... Знай у толпы не одни застарелые нужды, — нет, узнай и то, чем жила она, толпа, за минуты до страстного взрыва, и пойми ее неумолчный рокот, вылови четкие коренные звуки, в них вслушайся, вдумайся, на них сосредоточься...»

...А «когда не помогают никакие меры и средства, все испытано, все отведено и все — безуспешно, — сойди с трибуны, с бочки, с ящика, все равно с чего сойди так же смело, как вошел сюда. Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза.

Умереть по-собачьи, с визгом, трепетом и мольбами вредно.

Умирай хорошо. Наберись сил, все выверни из нутра своего, все мобилизуй у себя — ив мозгу и в сердце, не жалея, что много растратишь энергии, — это ведь твоя последняя мобилизация! Умри хорошо...

Больше нечего сказать. Все».

Через несколько дней после выхода в свет книги «Мятеж» Московская ассоциация пролетарских писателей проводила литературный вечер для работников аппарата Центрального Комитета партии. На этом вечере Александр Безыменский, Иосиф Уткин и я читали стихи. Дмитрий Фурманов — прозу. Обычно стихи воспринимаются слушателями лучше прозы. На этот раз случилось иначе.

Фурманов читал главу, из которой я привел вышенапечатанные строчки. Никто из сидящих в зале еще не успел прочесть «Мятеж». Я уже знаком был с этой главой по рукописи и слышал, как читал ее Дмитрий Андреевич на квартире Серафимовича. Однако и я был снова захвачен ее страстной силой, как и все сидящие в зале. А в зале сидели и старые большевики, участники трех революций, и комсомольцы.

Когда Фурманов резко, обрывисто закончил: «Больше нечего сказать. Все!..» — наступила тишина. Никто не хотел аплодисментами разрушить той тесной связи, которая создалась между автором и слушателями. А потом седая невысокая женщина в строгом черном костюме подошла к писателю и безмолвно обняла его. И только тогда взорвались

рукоплескания.

Мы возвращались с вечера в полупустом трамвае. Всю дорогу молчали. Я искоса поглядывал на Фурманова. Полуприщуренные глаза его иногда широко, как-то удивленно раскрывались, вспыхивали. Может быть, картины прошлого вновь возникали перед ним... А может быть, он думал о недавно пережитых минутах, о седой женщине из Центрального Комитета. По резко очерченным губам его скользила мягкая улыбка. И мне казалось, что он счастлив.

«Мятежом» Фурманов утвердил свое положение одного из ведущих пролетарских писателей. Однако он, конечно, и думать еще не мог о той поистине всемирной славе, которую приобретут его книги.

Хочется привести, забегая вперед, один из примеров такой славы. Во время поездки моей на Кубу я увидел «Чапаева» на испанском языке в книжных магазинах Гаваны. Мне пришлось побывать в кубинских воинских частях и слышать, с каким воодушевлением говорили кубинские воины о Чапаеве, о Клычкове — Фурманове, о Петьке.

Никогда не забыть мне беседы на эту тему с Эрнесто Че Гевара в Гаване. Мы говорили о советской литературе, которая помогает революционерам всего мира жить и бороться. О Горьком, Серафимовиче и Фурманове. Об Островском и Фадееве. О «Чапаеве» и «Мятеже». Кубинские товарищи просили издать и «Мятеж» на испанском языке. Эта просьба была недавно осуществлена. Я написал предисловие специально для Кубы, и большой тираж «Мятежа» был послан в Гавану. Только Эрнесто Че Гевара не мог уже получить и прочесть его... «Мятеж» вслед за «Чапаевым» был переведен на многие языки. Я видел книги Фурманова и в Африке, и в Корее, и в книжных магазинах героического Ханоя, и в джунглях, и на площадках зенитных батарей.

Одновременно с «Мятежом» Фурманов пишет небольшую повесть «Штарк», которая обсуждается на заседании Московской ассоциации пролетарских писателей.

В день годовщины Красной Армии на собрании МАПП Фурманов читает отрывки из «Чапаева» и «Мятежа».

Последняя поездка на родину опять всколыхнула старое желание написать ряд очерков о земляках, об ивановских ткачах, о Талке, об Отце — Федоре Афанасьеве, об Евлампии Дунаеве, о Марии Икрянисовой — Трубе.

Между тем вся московская обстановка не дает ему возможности заняться этой творческой работой. «Служенье муз не терпит суеты». А литературная борьба разгорается с каждым днем. Теперь уже внутри самой

Московской ассоциации пролетарских писателей.

С каждым днем Фурманов убеждается в том, что так называемое папостовское руководство — Семен Родов и его соратники своей грубой сектантской политикой мешают истинному развитию советской литературы, пытаются замкнуть ее в узкий круг, отталкивают десятки истинно даровитых писателей, на которых обрушиваются с «напостовской своей дубинкой».

Как всегда прямой и решительный Фурманов сначала только внутри МАПП поднимает свой голос против групповой кастовой политики, которую он называет родовщиной.

Фурманов чувствовал партийную ответственность за всю советскую литературу в целом. Мужественный писатель-большевик не мог молчать, видя, как некоторые руководители ВАПП задерживают рост советской литературы. Двадцать пятый год — это год непрерывных боев.

Фурманов пишет свои тезисы о родовщине.

«Болезнь, которой объявляем мы беспощадную борьбу, это родовщина, — целая система методов, форм и приемов и хитростей па фронте пролетарской литературы.

Родовщиной эту заразительную и вреднейшую систему действий в нашей среде называем мы единственно потому, что в лице Родова нашла она свое наиболее полное, законченное, резкое и концентрированное выражение. Но болезнь эта свойственна и целой группе товарищей, идущих, по нашему мнению, ложным путем в борьбе за пролет[арскую] литературу...»

Родовщина «живет методами раскольничества и заостренного политиканства». «Родовщина пытается сбить нас с верного пути и уводит от политики в сторону политиканства, к замене широко развернутой работы нормально избранных организаций работой случайных, закулисных, конспиративно действующих и все предрешающих группочек, приобретающих себе функции и права каких-то диктаторских центров, неведомо как создающихся...»

«Всесоюзная и Московская] орг[аниза]ции пролетписателей фактически поставили себя в такое положение, что ни ЦК, ни МК не считают эти организации себе подсобными, так как они... всей системой своего поведения отнюдь не стремятся приблизиться к парторганам, а, наоборот, отмежевываются от них».

«Установление теснейшего контакта в повседневной работе с соответствующими] органами партии, а равно и постоянное руководство со стороны этих органов делом развития пролетлитературы мы считаем

основной предпосылкой успешного и быстрого ее роста».

Разногласия Фурманова с родовским руководством обостряются. Он поднимает против родовщины значительную часть МАПП. Родовцы уже объявляют его «правым уклонистом», «воронщиком» и даже предателем. А он считает, что надо ликвидировать родовскую болезнь, не загонять ее внутрь, не бояться говорить о ней открыто и прямо.

Главный огонь направляет он против сектантства.

«Нет таких резких противоречий у нас с «Кузницей», на 50 % — это пуф. «Кузнецов» можно и *должно* ассимилировать в своей среде...

Артема (Веселого. — А. И.) и Дорогойченко преступно отогнали от себя, преступно.

С попутчиками вроде Сейфуллиной, Бабеля, Леонова *преступно* задерживаются отношения, их уже можно брать в орбиту нашего воздействия».

Насколько прав был Фурманов, можно судить хотя бы по письму, направленному в ту пору группой советских писателей, называемых «попутчиками», в отдел печати ЦК РКП(б).

Письмо было подписано И. Бабелем, С. Есениным, М. Зощенко, Б. Пильняком, Н. Тихоновым, М. Пришвиным, А. Толстым, М. Шагинян, А. Чапыгиным и многими другими.

«Мы считаем, — заявили они, — что пути современной русской литературы, — а стало быть, и наши, — связаны с путями Советской пооктябрьской России. Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живем и работаем, — а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основные ценности писателя: в таком понимании писательства с нами идет рука об руку целый ряд коммунистов-писателей и критиков. Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу... Их труд и наш труд — единый труд современной русской литературы, идущей одним путем и к одной цели».

Фурманов не любил, когда писателям безапелляционно приклеивали ярлык классового врага, объявляли правым или левым попутчиком.

С укоризной говорил он критику Александру Зонину:

«Ты написал... что «Новь» надо перепахать. Так и озаглавил. Неверно, по-мальчишески запальчиво и вредно. Что там — одни сорняки? Надо дифференцировать.

...У чужого по идеологии Пильняка есть талант, надо терпеливо

указывать на классовые вывихи. Но кое-чему можно нам и поучиться. Зоркость художника иногда создает яркий верный образ вопреки замыслу. Десятки примеров дает литература прошлого. Это у тебя не партийная критика...»

Мате Залка как-то спросил Фурманова:

— Митяй, ты знаешь, что тебя называют правым?

— Дуракам закон не писан. Пускай называют. Лишь бы я оставался верным линии партии. Растоптать просто, а вырастить нужно время.

— Мы порой чванимся, третируем крестьянского поэта, — говорил он на собрании правления МАПП, — а он отражает колебания огромного слоя населения, который надо удержать в союзе с рабочим классом и теснее-теснее сблизить. Если верим в дело партии — значит должны верить, что этот поэт будет с нами одного мировоззрения. Когда же его обижает один из нас, он думает, что его обижает партия...

«В этом мой уклон, — раздраженно писал он, — это «правый», по-вашему? Эх вы, болтуны честлюбивые, боитесь попросту подлежать нормальной выборности, потому и позахватывали все, на этом и держитесь целые годы...»

«Борьба моя против родовщины — смертельна; или он будет отброшен, или я. Но живой я в руки не дамся...

...Борьба-борьба! Смертельная борьба родовщине, иезуитизму, подтасовкам, игре на склоках, мелочах, пустяках — до победы!...»

Сначала мало кто внутри БАПП поддерживал Фурманова в его борьбе. Неоднократно Фурманов оставался в меньшинстве, и вапповское руководство продолжало вести свою антипартийную линию. Весной 1925 года Фурманова «снимают» с поста секретаря МАПП. Но каждый раз после поражения Фурманов, не падая духом, собирал нас, своих друзей, и намечал новый план сражений. В эти дни дневники Фурманова напоминают дневники его военных лет. «Перед боем»... «Атака»... «Наступление»...

...«Половина второго ночи. Только что оборвали (не кончили!) фракцию Правления МАПП. Постановили фракцию МАПП — на пятницу. Это уже будет воистину наш последний и решительный бой! Верно, верно, верно, что мы победим, несмотря на то, что та сторона берет именами... (Ярко вспоминаю это заседание фракции МАПП, где после большого боя резолюция Фурманова была отклонена большинством в один голос. — А. И.).

...Довольно, черт раздери пополам. Мы хотим конца этим мерзостям и подлостям, потому и пошли на все: бросили на несколько недель свои

литературные работы, чтобы в дальнейшем сберечь... целые годы... махнули рукой на свои болезни, все и у всех лечение — к черту, вверх тормашками, заседаем глубокими ночами, у всех трещат-гудят, разламываются головы — и на то идем... Пусть все это, пусть, мы ведь боремся с самым пакостным и вредным, мы его с корнем вырываем из своей среды... Надо доводить до конца... Я в бой иду спокойно и уверенно... Надо раздавить врага, враз раздавить, иначе оживет... Кончаю. Иду. Что-то стану писать сегодня ночью, когда разбитый, измученный и с болью в голове, в сердце — ворочусь домой? Что стану писать?..»

Фурманов боролся против попыток противопоставить особую напостовскую линию линии партии. А именно так ставили в 1925 году вопрос многие руководители ВАПП и редакции журнала «На посту».

«Ты не настоящий напостовец», — упрекали они Фурманова, так же как впоследствии упрекали Серафимовича и его друзей.

Фурманов, органически связанный со всем пролетписательским движением, отдавший ему всю свою жизнь, тяжело переживал нападки руководителей ВАПП. Он стал нервным, раздражительным. Мы не узнавали иногда нашего спокойного, выдержанного Митяя. На собраниях, когда особенно накалялась атмосфера, Фурманов вдруг багровел, вскакивал, стучал кулаками по столу.

Нервная система была уже расшатана годами гражданской войны, развивался склероз сердца (это в 33 года!), сказывалась и тяжелая глазная болезнь. А «администраторы» от литературы не берегли его, мешали ему работать, доходили до прямой травли.

Все мы, друзья Фурманова, видели, как сторает Митяй, пытались успокоить его, но борьба все обострялась, а большинство в ВАПП было не на нашей стороне.

Большую поддержку находил всегда Фурманов в Центральном Комитете партии. Фурманов пошел в ЦК «потому, что (как записывает он в дневнике) не считаю зазорным вообще... заходить посоветоваться в ЦК, и только групповым злопахательством, только исключительной узостью подхода и даже несознательностью можно объяснить убеждение, что в ЦК вообще ни с чем нельзя ходить за советом... Если уж это предательство, то нам, пожалуй, на версту надо обходить наш ЦК и всех его работников, не являющихся напостовцами... Я считаю, что «напостовство» вещь в значительной степени дутая и раздутая; идеология тут зачастую подводится для шика, для большого эффекта; чтоб самое дело раздуть, куда как крупно, а чтоб 2–3—5-ти его вожакам славиться тем самым чуть ли не на всю вселенную... О бараны туголобые!»

Высоко ценя повседневное руководство Центрального Комитета партии всем литературным движением, Фурманов взволнованно отмечал в одной из своих записей: «...ЦК. ЦК! В тебе пробудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь...»

В марте 1925 Года в Центральном Комитете партии было созвано совещание Литературной комиссии ЦК РКП(б). На совещании многие руководители партии, говоря о значении массовых пролетарских организаций, в то же время резко критиковали позицию напостовцев.

С особой радостью воспринял Дмитрий Фурманов выступление Михаила Васильевича Фрунзе, который, будучи народным комиссаром по военным и морским делам, в то же время пристально следил за литературой.

Фрунзе резко выступил против групповщины напостовцев. Он призывал внимательнее относиться к интеллигенции.

«Отнюдь не в наших интересах, — говорил Фрунзе, — вести такую линию в области литературы и искусства вообще, которая отталкивала бы от нас эти группы. Наша задача — действовать так, чтобы они, так же как и крестьянская масса, все теснее и теснее примыкали к нам при условии сохранения за нами полного идейного руководства... Подходя к вопросам литературы с этой точки зрения, приходится прежде всего сделать вывод о неправильной позиции «напостовцев» в отношении так называемых литературных «попутчиков». Проводимая ими фактическая линия административного прижима и захвата литературы в свои руки путем наскоков — неверна, — таким путем пролетарской литературы не создашь, а политике пролетариата повредишь...»

Как бы высказывая сокровенные мысли самого Фурманова, бичевал Фрунзе коммунистическое чванство, высокомерие, зазнайство, утверждение напостовцев, что пролетарским писателям нечему учиться у «попутчиков»...

Многие положения, высказанные Фрунзе, нашли одобрение и в резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы» (1925). В подготовке этой резолюции Фурманов принимал активное участие.

С особым вниманием, еще и еще раз перечитывал он резолюцию ЦК, которая явилась программой дальнейшего роста советской литературы.

«...Таким образом, как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается

в формах бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике...

...По отношению к пролетарским писателям партия должна занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать всеми средствами проявление комчванства среди них, как самого губительного явления...

Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, — таков должен быть лозунг партии...

...По отношению к попутчикам необходимо иметь в виду: 1) их дифференцированность; 2) значение многих из них как квалифицированных «специалистов» литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т. е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии...

...Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним.

Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое *идейное* превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство...

...Партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области (области литературной формы. — А. И.).

...Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела».

С большой радостью принял Фурманов эти решения ЦК партии и резко выступал против попыток их ревизовать.

«Резолюция ЦК о художественной литературе, — писал Фурманов, — открывает широкие, совершенно новые пути дальнейшего развития пролетарской литературы, — это необходимо понять. Кто не поймет — тот ходом событий будет отставлен от активного участия в ее развитии и

поступательном ходе»,

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ

СМЕРТЬ ФРУНЗЕ. РОМАН «ПИСАТЕЛИ».

СНОВА «ЧАПАЕВ». ТРАДИЦИИ ФУРМАНОВА.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

46

Постоянное нервное напряжение сильно сказалось на здоровье Фурманова.

По настоятельному требованию врачей он уезжает лечиться в Мацесту, в санаторий ЦК РКП(б) «Светлана». «Ежели уж направлю здоровье — эх, и беречь теперь стану: так расхотать нельзя, надо все расхотать умеючи, а особенно здоровье...»

Но отвлечься от литературной работы он, конечно, не в силах.

«Набрал вот план рассказа — весь материал, казалось бы, известен, лица — типы стоят перед глазами, есть заряд — словом, садись, пиши.

И рядом вопросы:

А это знаешь хорошо?

А это изучил достаточно?

А это понял точно?

А вот тут, вот тут, — тут не отделаешься тарабарщиной, измышлениями, плохонькой «беллетристикой».

Он сам хорошо понимает, что эти серьезные требования к себе, как к писателю, — признак творческого роста. Он ведь уже не «начинающий», боевой комиссар, который может подкупить свежестью и оригинальностью материала.

Он — автор «Чапаева» и «Мятежа», руководитель целой организации, редактор. «Два года назад было не так: темка подвернулась, раскалила нутро, сел — и за ночь готов рассказ. А теперь строго...»

Он не только лечится. Он путешествует по Кавказу, по новым неизведанным местам. Встречает сотни людей на морских берегах (именно

так: «Морские берега» будет назван потом цикл его очерков).

Прилегович

I. Пленулы подвигу
через грудную и
грудной вырешил
бабу в риде арка
неравнаною зроте-кур-ра
к стр 502

II. В. не 4К о худм. кур-ра
ахротау ширине и
совемно новое нури
дальнейше рибвца
котоу. кур-ра — до
мелк. поше. Кур не
наинур рур кадеи собои
дм. Буди аравен оу
авивноу риде о се
рабочи и пошу-
идивном хад:

Страницы дневника его заполняются новыми записями. О людях, о природе...

Скорее, скорее, скорее в Москву, на поле боя. Хотя нет еще полного исцеления. По-прежнему болит голова, пошаливает сердце.

Снова круговорот событий. Снова писать приходится по ночам. («Морские берега». Они будут потом печататься в газете «Известия» и журнале «Октябрь».)

Днем одолевают «нагрузки». Ко всему прочему он еще назначен редактором огромной «Универсальной библиотеки». Новые встречи. Новые душевные разговоры. Исаак Бабель. Сергей Есенин. Леонид Леонов.

Встреча с Леоновым вышла поистине примечательной.

Фурманов уже прочел его первые повести «Петушихинский пролом» и

«Барсуки». Сочный талант Леонова покори́л его, хотя не все в повестях пришлось ему по душе. Очень хотелось встретиться с Леоновым, поговорить с ним.

И вот Леонов должен прийти в Госиздат. Фурманов с волнением ждет встречи. Познакомить их обещал директор Госиздата Николай Никандрович Накоряков.

Выходит из кабинета своего в соседнюю комнату — видит: сидит старый знакомый Васька Лаптев. Четыре года назад редакция журнала «Военная мысль и революция», в которой работал Фурманов, помещалась «стенка в стенку» с московской военной газетой «Красный воин». В газете изредка печатались очерки, подписанные «В Лапоть». Молодого веселого очеркиста очень любили все сотрудники, в том числе и Фурманов. Хотя тогдашним творчеством В. Лапотя он мало интересовался.

Сейчас обрадовался. Выполнились те годы, суэта редакционная, всякие шутки и розыгрыши.

Бросился к Лапотю, обнял его. А тут входит Накоряков.

— А вы, оказывается, уже знакомы с Леоновым.

— Как с Леоновым?..

— Так это же с ним вы обнимаетесь...

Фурманов записал потом в дневнике:

«Я вытаращил глаза на Ваську, но спохватился враз, подобрался, молчу, как будто и неожиданности тут нет никакой, как будто все это само собой известно мне давно. Даже рассмеялся, в живот ткнул Ваську:

— Да мы ж, боже мой, мы четыре года знакомы!

А сам гляжу ему в густые зеленые глаза и думаю.

«Да что же за диво такое! Вот не гадал!»

И потом я все заново приглядывался к лицу его и видел, что на лице у него есть будущее, а особенно в этих глубоких, налитых электричеством большого мастера зеленых глазах его, Васьки. И чувствовал я, как растет во мне интерес и нему, растет уважение, чуткое внимание к слову, к движению его. Я сразу преобразил Ваську Лаптева в Леонова, отличного, большого в будущем писателя.

И теперь не встречусь — нет больше для меня Васьки Лаптева, не вижу я его в Леониде Леонове — вижу только этого нового человека, по-новому чувствую, понимаю его — вот как!»

Фурманов и Леонов обменялись своими новыми книжками.

На экземпляре «Мятежа» Фурманов написал: «Четыре года я видел тебя — и не знал, что это ты!..»

...Именно в эти сентябрьские дни двадцать пятого года Фурманов

получил то письмо от Максима Горького, в котором Горький давал оценку «Чапаеву» и «Мятежу».

31 октября 1925 года умер Михаил Васильевич Фрунзе. Для Фурманова это было тяжелое несчастье. Ушел из жизни близкий человек, связь с которым не порывалась никогда.

Каждую свою новую книгу Дмитрий Андреевич посылал Фрунзе с теплой, трогательной надписью. После гражданской войны Фрунзе долго работал на Украине. Приезжая в Москву, он обязательно собирал друзей-ивановцев, друзей-чапаевцев, и среди них всегда был Дмитрий Фурманов.

И вот в ненастный осенний день двадцать пятого года друзья-ивановцы собрались без своего вожака. Направились к Колонному залу Дома союзов, где лежал командарм, стали в почетный караул.

Фурманов вглядывался в любимые черты, и проходила перед ним вся жизнь...

Вот они сидят с товарищем Арсением в Ивановском революционном штабе, и Фрунзе говорит ему о партии большевиков... Вот слышатся ему вдохновенные слова Михаила Васильевича перед отъездом на фронт.

Уфа. Река Белая. Чапаев ранен. Фрунзе появляется перед Ивановским полком. Фрунзе в цепи. Лавиной несутся бойцы за любимым командармом. Фрунзе контужен, но не уходит с поля боя...

И вот последнее выступление Фрунзе по вопросам литературы... Учитель... Командарм... Вожак.

Утром Фурманов делал доклад о Фрунзе в школе ВЦИК. Не сдержался — заплакал... Да и сейчас... Нет, надо взять себя в руки... И он начинает думать о книге, которую он напишет о товарище Арсении... Обязательно напишет.

От имени Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей Фурманов пишет воззвание ко всем поэтам и писателям — создать произведения о М. В. Фрунзе — «о лучшем из лучших, чья жизнь, как мудрая книга, будет учить поколения — как надо бороться за счастье человечества».

Сам он приводит в порядок свои воспоминания о Фрунзе, оформляет их как цикл очерков. Это только начало, запев.

От первой встречи до вот этих трагических минут, когда «голова обернулась туда, где колыхалась красная гробница. Внесли, поставили, первый караул встал на посту — члены Политбюро ЦК. За ними новый караул, и новый, и новый — бессменные караулы у гроба полководца... Вот Надежда Константиновна — скоро два года, как первый раз стояла она здесь у изголовья другого гроба. Как сложны должны быть чувства, как

мучительно должно быть теперь ее состояние, — не прочтешь ничего в глубоких морщинах лица: так оно много вобрало в себя страдания, что остыло в сосредоточенном, недвижимом выражении — лучатся только горем выцветшие очи верного друга великого человека.

Мы дежури́м в третьем часу.

Стою, смотрю в это мертвое лицо, на черную ленту волос, на просек ресниц, на глаза, закрытые смертью навек, на сомкнутые крепко губы — и вспоминаю всю свою жизнь, встречи с этим бесконечно дорогим человеком, сыгравшим в жизни моей большую роль... Проходят вереницы в почетные караулы — до утра не редет толпа. А с утра приливают новые волны, отряд за отрядом, — идет Москва к праху славного воина...»

А потом Красная площадь. Кремлевская стена, тысячи людей провожают в последний путь своего наркома.

13 ноября 1925 года. «Правда» печатает воспоминания Фурманова «Тов. Фрунзе под Уфой».

«Много ли вас осталось, бойцы уфимских боев? Я знаю — в страшном тифу, на безводье, в кольце казацких войск — вы долго бились на Урале, ходили вы и на панскую шляхту. Не раз освежали заново ваши боевые ряды — сотни ткачей и пахарей полегли по степным просторам... Но те, что остались, — над свежей могилой помяните теперь прощальным словом своего боевого командира».

После «Мятежа» Фурманов выпустил еще несколько книг рассказов и очерков. В них были включены и ранее (до «Чапаева») написанные произведения и очерки последних лет. Пожалуй, наиболее яркими являются рассказы, посвященные ивановским рабочим («Талка», «Как убили Отца» и другие), и очерки, посвященные Фрунзе. Несомненно органическая связь этих рассказов с книгами «Чапаев» и «Мятеж».

Цикл очерков о Фрунзе был напечатан в журнале «Красная новь».

Продолжал он и работу над очерками о Кавказе («Морские берега»). Трудился (совместно с С. Поливановым) над инсценировкой «Мятежа».

В декабре Фурманов и Поливанов читали первый вариант пьесы «Мятеж» в Театре Революции. На читке присутствовал руководитель театра Мате Залка, заведующий литературной частью Б. В. Алперс, президент Государственной академии художественных наук профессор П. С. Коган. Театр принял пьесу к постановке.

Задумал он и большую повесть о Ленине. Сохранилась запись «Каменщик» в сентябрьском дневнике двадцать пятого года: «Умер великий каменщик-строитель, но дело его воистину не умерло — оно живо с особой ясностью в каждом новом испытанье».

Последней большой работой Фурманова, оставшейся только в стадии подготовки материалов, был роман «Писатели».

В романе Фурманов собирался изобразить литературную жизнь двадцатых годов. Он думал сделать роман сюжетным, показать образы писателей, литкружковцев, рабкоров.

20 октября 1925 года Фурманов пишет о замысле «Писателей».

«Как я задумал их писать, почему — не знаю. По всей видимости, увлекла на эту тему наша весенняя мапповская борьба: очень уж колоритно она промчалась...»

«Опишу ли только весеннюю борьбу; дам ли состояние литфронта наших дней, или захвачу глубокие пласты в десятки лет назад; что это будет: мемуары, записки мои или роман, — роман во всем объеме понятия; что это будет — небольшая книжечка или целый огромный томище!»

Одна из основных задач книги «Писатели» — показ роли партии в воспитании писательских кадров, в борьбе с чуждыми, враждебными настроениями в литературе.

Уже продумана и общая композиция книги, планы отдельных глав, общие характеристики многих персонажей, основные конфликты и столкновения.

Центральный образ книги — писатель, участник гражданской войны Павел Лужский — в общем сюжетном плане противостоит враждебным партии литераторам, декадентам, халтурщикам.

В заметке «Композиция» намечены основные вехи будущей книги:

«Начать с перелома на нэп —

охарактеризовать эпоху:

перелом настроений, ожидания;

новые возможности работы: новые надежды;

новые опасности...

Литература... эге, куда ее загнали.

Общее состояние переломности. Общее состояние эмбриональности. Торжество богемы, одиночек. Зарождение организации пролетписателей. Наметившаяся сразу классовая борозда. Пролетписатели демобилизуются с фронта — примазываются к ним шкуротыловики. Первые робкие выступления. Университеты, лекции, дома писателей — все чужое!..

Партия поручила это дело Вороненному — в нем душок либерализма.

Помогая направо, зло косился налево. Пролетписатели берут его под обстрел. Развертывается борьба и творчество. Годы проходят за годами...»

Как интересен уже самый план этот, план романа о сложных этапах идеологической борьбы, о творчестве.

— Это будет острая воинствующая книга, — зажигаясь, говорил нам Фурманов. — Это должен быть «Чапаев» со всем накалом классовой борьбы, только в совсем новой, неизведанной и неисследованной области. Если бы мне только удалось написать такую книгу...

Он уже составил длинный список персонажей. Так же приступал он в свое время к «Чапаеву».

Каждому — свой лист, своя папка, своя общая характеристика.

За каждым именем — живой человек, хорошо ему знакомый, у некоторых даже подлинное имя. «Он будет стержнем, а вокруг навью. Его, может быть, сольб с другим — третьим, пятым, это потом виднее будет, а пока вот поставить его как веху, чтоб не сбиваться в трудном извилистом творческом пути...»

Беллетристы. Поэты. Критики.

«Поставил стержневые фигуры, наиболее характерные: сложившийся, начинающий, даровитый, бездарный, страстный, вялый, рабочий, старая труха интеллигент и т. д.»

Среда. Основные этапы и формирования и литературной борьбы. «Литкружок». «Партком». «Наш съезд».

Он извлек из письменного стола и перечитал все свои записки о писателях, о МАПП, все дневники, газетные вырезки.

Материалу уйма. «А сюжета — нет. Сюжета все нет. Скелета книги не имею — имею в голове и сердце только разорванные отдельные картинки: вот сценка в МКК, вот заседание литкружка, наше ночное бдение и т. д., но целого нет: с чего начну, чем кончу, как — этого не знаю...»

Значительны даже самые планы «Писателей». Какое огромное поле действия. Интересна и многообещающа панорама событий, еще никем не описанных, многогранен один только перечень действующих лиц, острые характеристики.

Приведем только некоторые:

«Беллетристы:

Павел Лужский — талант, надежда, интеллигент, коммунист.

Борис Буровой — крепкий орг[анизатор] с большими данными (потенциально).

Глеб Глебыч Труха — старенький беллетрист, по существу весь в прошлом, тщится вовсе зря стать современником; тля серая, мертвечина,

безнадежен.

Иосиф Шприц — талантливый попутчик, эстет, моралист, сенсуалист, любитель «проблем».

Тепломехов — сменовеховец-эмигрант, принявший всерьез советскую власть.

Леля Кукушкина — плохонькая беллетристка, ограниченная, играющая советскими словами, не понимающая советских дел.

Ник. Ник. Щеглов — свой, родной революции попутчик, участник боев, советский работник.

Леонид Банков — страдал за соввласть в боевые дни, а при нэпе сдал, обогемился, живет процентами со старого, революционного багажа.

Леонардо Волконский — бурж. сволочь.

Бумажкин — середняк, самомнение что надо.

Митька Варезкин — бездарь, кичащийся рабочий.

Соня Лунева — из кружка, комсомолка, начинающая.

Илья Глухарь — крестьянский писатель из глуши.

Як — литературный маньяк.

Оксана — жена Лужского».

В таком же плане составлены «послужные списки» поэтов и критиков. Здесь и истинно талантливые творческие люди, и бездарные, и дельцы, и пройдохи, и представители богемы, и фразеры, и компиляторы, и твердые большевики, и карьеристы, и сектанты. Весь тот сложный литературный мир, который окружал Фурманова и в котором он жил, борясь и со всевозможными вариациями буржуазных влияний, влияний старого мира, и с сектантством ультрареволюционных карьеристов.

Во всем этом сложном и обильном подготовительном материале проступают уже и сюжетные линии, вырисовывается идейная направленность книги, формируются некоторые главы, определяются и новые психологические портреты персонажей:

«Поэт Бугай (Степан) — талант по природе, но лодырь.

Поэт Яшка Лунц — пропадающий талант, не работающий над собой, ударяющийся к богеме: на полпути.

Павел Коростелев — талантливый поэт, рабочий. Лучших человеческих качеств: скромн, честен, прям, мужественно смел, работник, товарищ.

Булыжник — «левый» поэт, горлопан.

Иннокентий Викентьев (подписывается полностью) — бездарность, с самомнением, подобающим серо-тусклому. Мелкобуржуазная душонка.

Крупнов Алексей — талант, крестьянский поэт. Алебастров — талант,

образцово чеканит стихи. Ефим Греч — пройдоха, поэтишка-делец.

Шура Кокетьянцева (она же Кукушкина...) — сладкая рифмоплетка.

Крючечкин — бездарь, крестьянский поэт.

Кирик Бушман (критик) — хорошо подкован, серьезен, талантлив, хороший товарищ.

Ал-ндр Остроухов (критик) — бездарный фразер, любитель общих мест; компилятор — все вынюхивающий, обобщающий, выдающий за свое. Ни одной свежей мысли.

Сладкопевцев — коммунист, объективный враг пролетлитературы.

Леопольд Грум — вовсе буржуазный критик.

Кузьма Сомов — талант-беллетрист, в производстве, в кружке. Семейная трудная обстановка — бедно, голодно, нет места. Пишет урывками, думает непрерывно. Стойко борется за пролетарскую литературу. Работает редактором стенгазеты на заводе, сам рабкор. Строгость к себе растет.

...Слушай в народе, не слова, а дела (мы еще вырастем!) Читает в кружке набросок (меткие сравнения, образы).

Как почувствовал перелом (начало роста), стал кидать свой материал...

Пантелей Стужа — беллетрист, еще с подполья, пролетписатель, в первую очередь, впрочем, общественный работник, удерживает молодежь от увлечения чистым писательством, богемой, уютом и т. д. Пишет мало, но сильно, крепко, словно молотом бьет».

Какое обилие характеров, индивидуальностей! И за каждым намеченным образом мы, современники Фурманова и соратники его по литературной борьбе, ощущаем подлинную фигуру, истинный прототип.

Постепенно персонажи включаются в композиционный план книги, получают свою роль в намеченных сюжетных ситуациях. Намечаются диалоги, споры, столкновения, вырисовывается фон, обстановка, самый плацдарм боев.

«Среднего качества, но большого задора буржуазный писатель бранит пролетписателя:

— Вам партия и по пивнушкам, по притонам не разрешит ходить — где вы возьмете материал?

— Разве только там? А для нас главное — завод, фабрика, крестьянство... Разве это не материал? Это *главный*. — И продолжает: — Вы подслушиваете у народа только *слова* — потому вы его и не умеете показать, он у вас ходульный, а мы *дела* подсматриваем, нутро понимаем... Пусть пишем мы и хуже вас: научимся, это дело времени, тут сноровка,

тренировка — десятками лет. А это — у нас впереди».

Намечается сложная эволюция персонажей.

Кирилл Плотицын — рабочий, член литкружка, пишет средне. Встреча с Кириком решает его судьбу: тот внушает, что он — середняк. Плотицын уходит в производство, становится отличным хозяйственником, подсмеивается над своим прошлым, но по старой памяти с любовью ходит изредка в кружок.

...Так важно вовремя определить себя и избрать верный путь.

А вот другая сюжетная линия. Ник. Ник. Щеглов. Талантливый беллетрист. Попутчик. Участвовал в боях гражданской войны. Сам критикует правых попутчиков, видит их шатанья, однако боится идти к пролетписателям, опасаясь, что сочтут примазавшимся («Так иные не вступали в РКП», — замечает Фурманов). Вещи его высокого качества, работает добросовестно, до исступления, рвет, правит, сжигает... Рассказ пишет три месяца... Правит 10–12 корректур...

Этот образ был глубоко симпатичен Фурманову, и он, несомненно, занял бы в книге одно из ведущих мест.

А как бы в противовес ему — образ другого попутчика, не менее типичного для тех лет, Иосифа Шприца. Тоже талант. Но «эстет». Охотник до разрешения «проблем». Сенсуалист. Революцию видел со стороны, наблюдал, усвоил как бунт (Стеньки и подобных), организации не признает. Не видит вокруг ни одного «настоящего» писателя, глумится над молодой пролетарской литературой... («гм... рабоче-крестьянская?»).

Копит деньги на черный день, рвач — всюду торопит, жалуется на грошовые гонорары. Вещь поместит сначала, перед выпуском книжкой, в десяти местах: «отрывками», «главами», «очерками», «выдержками», «кусками», «летучками», «страничками», «листками», «частями», «местами» и т. д. и т. п. — в газетах, журналах, альманахах, сборниках, хрестоматиях, «комбинированных» своих книжках (то есть тех, где переставлен так и этак один и тот же материал) и потом лишь — книгой.

Ходит в партком, держится как завзято «свой».

Ведет «Интимные записки писателя», где костит советские порядки, где говорит «наедине... со своею душой...» (Вспомни: «На всякого мудреца довольно простоты» — его дневник.)

Держит связь с заграничной шпаной — им он близок, и они ему. Там печатается. Там его и хвалят как «единственного представителя отмершей породы писателей».

Снисходительно-презрительно относится к эмигранту-сменовеховцу Тепломехову, как «коренной представитель новой интеллигенции», все

время бывший «на баррикадах», а не где-нибудь там... в Берлинах!..

Зло. Очень зло. Так, как умел писать Фурманов. И уже снова намечается скрещение линий: Щеглов — Шприц — Тепломехов.

Одним из основных является психологический портрет Ивана Ивановича Сладкопевцева. В нем можно узнать некоторые черты А. К. Воронского, облик которого, однако упрощен и обеднен. Здесь сказались и острота литературной борьбы и многолетняя личная неприязнь Фурманова к Воронскому.

«Как критик-коммунист сложился в прошлом, воспитался на буржуазной культуре, что сам всегда повторяет. Объективно — враг пролетлитературе, рассуждает: «Сначала дайте шедевры — тогда вас признаю». Редактор крупнейшего журнала, от него, следовательно, независимо большинство писателей, держит всех в кулаке...»

Думается, что в дальнейшей работе над книгой Фурманов сумел бы сделать образ Сладкопевцева более сложным и многогранным.

С большой остротой написан образ поэта-прониры Ивана Колобова, который тычется по всем кружкам, нигде не работает, со всеми запанибрата, у всех клянчит денег. А рядом с ним портрет писательницы, которая старается на каждом заседании «втыкать, подтыкать, подпирать, просовывать, контрабандой проволакивать, прошибать сквозь глухую стену, подвешивать не приметно, науськивать, нашептывать, втирать и т. д.»

Фурманов хочет показать ту обстановку, ту литературную среду, ту накипь нэпа, в условиях которой могли еще существовать шприцы и волконские.

«Ожили при нэпе (дать имажинистов, разных «истов»). Будуары. Ковры. Запахи духов. Женщины. Ихние «вечера», ихние «субботы». Съезжаются на рысаках, авто. Возлежат с сигарами, чашками кофе. Читают истошно. Слушают. Философски снисходительно аплодируют. Хихикают насчет «агит-поэтов»... В один из вечеров — доклад «О современной художественной литературе» — сплошной поклеп, клевета, ядовитая слюна на классовость и прочее...»

И вывод: «Дать их за время 1917–1925 гг., когда стихли, вовсе примолкли. Потом бравурно играли словом «революция» и, наконец, бросили при нэпе это слово, стали писать свое «настоящее»: про женщин, любовь, соловья...»

Убийственную характеристику дает Фурманов одному из «модных» в то время драматургов:

«Многообразен ли, многосторонен ли автор? Нет. Даже наоборот. Лишь полное отсутствие литературного чутья позволяет ему писать на

самые разнообразные темы. Ведь для многообразия нужно обладать огромной эрудицией, знаниями, а у автора как раз этого и нет.

Драмы его — не драмы, а пустяки. Там ни одного типа, ни одного характера, язык действующих лиц — это язык автора... Он берется за многое и ничего путного не делает. Разговоры — все на один лад. Патетические тирады против буржуев тошны. Пьесы печет он, как блины на масленице... В письме своем к нашему ужасу сообщает: «Скоро пришлю вам еще четыре большие историко-революционные пьесы!»

Резко обрушивался Фурманов на верхоглядов, всезнаек, людей, несерьезно относящихся к своему труду.

Воплощение склочничества и ловкачества — поэт Ефим Греч. «Писал раньше «на царскую фамилию», а теперь «на Ленина...» Сохранилось по журналам много его стихов 1910–1917 годов, вдребезги бездарных и порочащих его как человека: бряцанье оружием... сладострастничанье... Греча «вывели на чистую воду».

С большим вниманием относясь к творчеству молодых писателей, руководя кружками как секретарь Московской ассоциации пролетарских писателей, Фурманов в то же время высмеивал «теоретиков», которые вместо воспитания занимались интригами, расценивали творчество молодых не соразмерно их таланту, а с точки зрения конъюнктуры.

С не меньшей резкостью обрушивался Фурманов на толчею, которой часто в кружках подменялась истинно творческая работа. Очень резко критиковал он скороспелые, необработанные произведения, критика его была дружеская, но суровая.

«Писать надо, — говорит на собрании литкружка Кирик Бушман, несомненно выражая мысли самого Фурманова, — долго, годами — пока не научишься писать хорошо. Кому нужна безграмотная брехня? Не торопитесь, друзья. Наш лозунг строже, чем где-либо, должен быть лишь один: «Лучше меньше, да лучше»... Я не знаю другой отрасли труда, производства, где бы так просто, бездумно, безоглядно и даже... цинично относились к продукту своего ремесла: «Написал, сдал — и ладно!» Пишут всякую дребедень, кому что вздумается, пишут, не зная, не понимая, не чувствуя, — совсем, словом, вслепую. И нет другой такой области, где безответственная мазня процветала бы так махрово, как именно в области художественной литературы. Ну кто посмеет все-таки писать про какой-нибудь Сатурн, про Мадагаскар, про тарифную политику или что-либо вообще специальное, — кто посмеет писать, *не зная вовсе ничего?* Редко. Бывает, но редко. А в художественном творчестве — да отчего ж не взяться? Разве тут есть какие-нибудь каноны, правила, традиции, разве тут

обязательны точные знания? Да ничего подобного! Наоборот: чем неожиданней (думают иные храбрецы), тем больше надежд на успех, на внимание. И дуют, кому что охота дуть...»

Изображая окружающую его литературную среду со всеми ее отрицательными явлениями, Фурманов в то же время с большой чуткостью относился к молодым начинающим писателям, оказывая им посильную помощь своими советами и указаниями. Он умел отличить настоящее от фальшивого, всегда искренне радовался каждому творческому росту. В своих замечаниях о работе с начинающими писателями Фурманов писал: «Писательский молодняк надо осторожно, строго, но и любовно отбирать из тысяч — единицы».

Он никогда не льстил молодому писателю. Он говорил: «Начинающего писателя с самого начала надо брать в шоры и не давать ему останавливаться в росте тем паче не давать ему садиться на лавры — этого достигнуть можно, разумеется, только строжайше обоснованной критикой материала и предъявлением к автору требований предельных, — по мае штабу его дарования».

«Работайте годы, — говорит «молодым» один из персонажей «Писателей». — Не торопитесь на столбцы газет или в книгу. Успеете. Нам нужен высококвалифицированный материал. А вы — ученические опыты предлагаете! Да еще в обиду, когда не печатают. Попутчики? Да, они пишут лучше вас. Что ж тут удивительного. Научитесь и вы. А когда научитесь — начинайте. Тогда и печатать будут».

В письмах к начинающим писателям говоря об общих задачах литературы, Фурманов был предельно конкретен.

«Писать рассказ торопись, а в печать отдавать погоди, — советовал он одному из молодых, — рассказ что вино чем он дольше хранится, тем лучше. Только в том разница, что вино не тронь, не откупоривай, а рассказ все время бери посматривай, пощупывай — верь, что всегда найдешь в нем недостатки. Когда готов будет по совести, только тогда и отдавай. Никогда не отдавай переписывать «начисто» другому, переписывай сам ибо окончательная переписка — это не просто техническое дело, а еще и окончательная обработка».

Во всем многообразии писательских портретов, в многочисленности сюжетных линий, их перекрестков и пересечений Фурманов конечно пользуется не только приемами сатирическими, памфлетными, иногда доходящими до остроты гротеска. В галерее его персонажей сложные, далеко не однолинейные положительные образы. И того же коммуниста писателя Павла Лужского, который должен был стать центральным героем

книги, и рабочего поэта Павла Коростелева («лучшие человеческие качества»), и киргизского писателя Хачара Кашамова («Поэзия для него — орудие борьбы, пропаганды, призыв»), и крестьянского талантливое поэта Алексея Крупнова («Его перетаскивают в город, почувствовав по стихам, что это исключительное дарование»), и рабочей поэтессы Каролины Стальской («Талант, тяжелое детство, нужда, несчастья»), и критика Кирика Бушмана, талантливого, «разносторонне осведомленного, с удивительной памятью, эрудицией не по годам, тщательностью подхода к материалу».

По плану Фурманова именно Кирик Бушман начинает борьбу со Сладкопевцевым, с которым ему приходится совместно работать. Возможно, что именно в этом скрещении Бушман — Сладкопевцев и заключался один из основных конфликтов романа «Писатели».

Если собрать воедино все планы книги «Писатели», все заметки, заготовки, характеристики персонажей, наметку ком позиционных и сюжетных линий, можно представить себе какое значительное произведение приобрела бы советская литература и просто в познавательном и в эстетическом плане. Конечно, это были не просто мемуары — это был бы роман, многоплановый, глубокий, рисующий классовую борьбу в идеологии на одном из самых острых, переломных этапов истории нашей культуры.

И роман этот целиком совпадал бы с теми партийными идейными позициями, которые занимал Дмитрий Фурманов, с его основной эстетической программой, которая и сейчас является боевой и действенной.

К великому сожалению, роман этот не был написан.

По-прежнему он работал и днем и ночью.

— Понимаешь, — грустно говорил он мне, — какое получается несоответствие. Огромные планы. Чувствую, что могу писать лучше и должен еще многое написать. Я ведь еще так мало, в сущности сделал. Как бы тебе сказать — творческих сил много, а физических не хватает. Врачи советуют отдохнуть. Не могу же я в свои тридцать четыре года по курортам ездить.

Он даже в дневник записал: «За последние месяцы стала ныть, а иной раз остро ныть — левая часть головы, чаще площадка виска. Потом — мозжечок — он особенно быстро отзывается на нервные взрывы, словно

тут гирию к нему привесят, так мучительно тянет и давит».

В Центральном Комитете партии видели то уважение, с которым относятся к Фурманову все писатели — и пролетарские и «попутчики», высоко ценили его принципиальную партийную линию.

Вскоре он уже был приглашен в ЦК и назначен инструктором по литературе.

И опять бесконечные встречи, беседы, заседания, консультации.

А ночью долгие раздумья за письменным столом. Роман «Писатели» движется медленно. Он это чувствует и сам И подгоняет себя и сам тормозит С этой будущей книгой связано многое Но почему-то не лежит к ней душа так, как к «Чапаеву».

В первый день 1926-го, размышляя над планами нового года (кто мог знать, что это будет последний год его жизни?..), он записывает в дневник.

«Вот взять «Писателей». Когда задумал и начал? Давно. Больше полгода. А что сделал? Мало. Не работается. Не пишется. Да и не люблю как-то я эту книгу, — так не люблю, как «Чапая», даже «Мятеж». Но писать буду и времени, труда много затратил, и тема интересна, и «Эпопею» (о гражданской войне — А. И.) ворошить рано, и одними мелочами пробавляться не хочу».

Да. Любимой книгой Фурманова оставался «Чапаев». К ней он возвращался не раз.

После того как «Чапаев» был издан многократно и заслужил всенародную славу, Фурманов опять и опять задумывается над тем, чтобы переработать «Чапаева», чтобы сделать книгу еще лучше, еще качественнее. Он всегда был в поисках, в сражениях, в бою. Вот он сидит над планами «Писателей», рассказывает нам о том, как покажет в романе столкновения самых различных характеров, и внимательно прислушивается к советам Юрия Либединского, Исаака Бабеля. Дружба с Бабелем все растет. «Этот уже вовсе дружьи ведет беседы. Мы очень любим говорить с ним про то кто и как пишет. Это у нас самое любимое до 2-х, до 4 х, почти до зари говорим». И вдруг откладывает все и опять раскрывает «Чапаева». «Мой рост, отточка мастерства за последний год, выросшая бережность и любовь к слову, бережность к имени своему — это все не раз наводило меня на мысль переработать коренным образом «Чапая» — самую любимую мою книгу, моего литературного первенца. Мог ли бы я сделать его лучше? Мог. Могу».

Кавказские свои очерки — «материал, по существу, третьестепенный» — он обрабатывал с особой тщательностью. «Я на этих очерках пробовал себя. И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос. Над очерками работал я

долго и незаслуженно много — зато убедился в важном, понял основное в мастерстве (Это заметил и Алексей Максимович Горький, внимательно следивший за творчеством Фурманова. Прочитав «Морские берега», он удовлетворенно написал, что эта книга «отличается и простотою фразы, и экономией слов, и точным знанием границ того, что автор хочет рассказать читателю» — А. И.). И вот писал дальше «Фрунзе», писал про «Отца», свою «Талку» — над ними работал как бы по привычке так же усердно и тщательно, как над очерками, — значит вошло в плоть, в существо, в обиход».

Он замечает откровенно и самокритично «Хотел бы может поторопиться, вежливо выражаясь — похалтурить — ан совесть литературная и привычка не дают. Очень ясно, что теперь вся работа в отношении количественной пойдет тише. Ну и ладно. Хорошо. Эк беда, подумаешь! Говорить откровенно — я и работаю-то уже не так сосредоточенно, как во времена «Чапаева» — тут и больная голова, переутомленность, занятость. Выплыл вопрос о переработке, о коренной переработке «Чапая». Как это может быть? А так, что на полгода — отложить «Писателей», вовсе отложить, взять «Чапая» с первой строки и переписывать — обрабатывать тщательнейше строчку за строчкой — так все 15 листов! Это полгода. И больше в эти полгода — ничего. Это как раз к собранию сочинений. Обновленный «Чапаев». И уже вовсе решил. Достал стопу бумаги, на первом листе написал, как когда-то, три года назад «Чапаев». Написал — и испытал то самое чувство, когда еще садился писать впервые. Отступил. Дал главу «Рабочий отряд». И встал. Открыл «Чапая», прочитал несколько страниц и ощутил, что перерабатывать не могу. Как же я стану — да тут каждое мне местечко дорого — нет, нет, не стану и не могу».

И все-таки он перерабатывал «Чапаева». И все-таки он опять сидел над ним долгие дни и ночи. Он успел переработать первые сто страниц текста. (Четвертое издание «Чапаева», в новой редакции, вышло в свет уже после смерти Фурманова).

Что нового внес Фурманов в текст?

Прежде всего примечательна его работа над языком. Он очищает язык повести от лишних слов, от неопределенных эпитетов, бледных метафор, слов-паразитов. Он стремится к большей сжатости текста.

Выбрасываются всякие «будто», «зачем-то», «о чем-то». Добавляются новые эпитеты, оживляющие, тепляющие отдельные образы, придающие больше эмоциональной окраски тому или иному персонажу «сердешный», «браток» вместо «брат» и т. д.

Уточняется само действие. Более четко определяется авторское отношение к тому или иному событию.

Не всегда новые метафоры и эпитеты удачны. Так, если в прежнем тексте было «дальше события заскакали чрезвычайно быстро», то сейчас Фурманов пишет: «Дальше события заскакали белыми зайцами». Конечно, эта метафора не обогащает текста. Так же неудачно: «Смешком посыпал свою смерть». Однако, перерабатывая текст, Фурманов постепенно преодолевает излишнюю цветистость, добивается большей художественной конкретности в характеристике действующих лиц, обстановки, отдельных положений, описаний природы.

Чрезвычайно выиграла сцена митинга. Фурманов придал образу Елены Куницыной больше теплоты благодаря новым подробностям, которые совсем отсутствовали в первом варианте. Обогатился и образ старого ткача, интереснее показано восприятие речи ткача массой, да и сама характеристика массы стала разносторонней и эмоциональней.

Оживляет Фурманов и образ Чапаева. Обогащенный дополнительными психологическими деталями, образ становится еще человечнее.

Писатель добивается большей индивидуализации языка своих персонажей. Это можно заметить при сличении речей Куницыной, Клычкова, старого ткача и т. д.

Новые яркие детали помогают читателю воспринять народную массу не как стихийную, безликую толпу, а как единство разнообразных индивидуальностей.

Недаром, отзываясь уже о фильме «Чапаев», А. М. Горький подчеркнул: «Думаю, что успех родился от счастливого сочетания чудесного материала с правильным подходом к нему режиссеров, знающих законы искусства... Судьба героя — это главное, что вызывает интерес к художественному произведению... Метод письма — и режиссерский, и фурмановский метод, ясный, без нагромождений...»

Интересны попытки Фурманова ввести почерпнутые в народном говоре пословицы и прибаутки: «генерал всмятку», «kozyрь-мозырь» и т. д. Не всегда Фурманов достигает успеха. Так, нельзя считать удачным замену слова «показаться» (в смысле похвастаться) словом «хвальнуться». Но несомненно, что при дальнейшей переработке текста писатель нашел бы более точную и удачную редакцию приведенных слов.

Фурманов был придирчив к самому себе. И здесь, как и во всем, он был настоящим писателем-большевиком.

Трудясь над новым текстом «Чапаева», Фурманов не отрывался и от текущей литературной работы.

Несмотря на всю свою силу воли, он не мог иногда отказаться от всевозможных «заказов». А они изобильно поступали из редакций газет и журналов, даже из театров, которые были уже прослышаны о намерении его инсценировать «Чапаева» и «Мятеж». Новая работа в ЦК отнимала много времени. Все это держало его в постоянном напряжении.

— Понимаешь, — сказал он как-то мне, — я все время чувствую себя в цейтноте. Что-то не успел, что-то пропустил, к чему-то опоздал.

И это при предельной его четкости и организованности, при строжайшем графике работ.

Он дорабатывает вместе с драматургом Поливановым пьесу «Мятеж» («в муках рожденную»). И вот уже художественный совет Театра Революции, которым руководит Мате Залка, дает указание режиссеру Б. В. Алперсу приступить к оформлению спектакля.

Он (в какие-то неведомо откуда нашедшиеся часы) заканчивает первое действие пьесы «Два генерала».

Он дорабатывает первую главу романа (да, это будет роман!) «Писатели». Подписывает с Госиздатом договор на собрание сочинений в трех томах.

«Правда» публикует его очерк «Как убили Отца», а журнал «Октябрь», одним из редакторов которого он является, печатает «Талку». И это очень радует его. Пусть знают земляки-ивановцы, что он никогда не забывает о них.

Не забывают и ивановцы о нем. Он получает телеграмму от Ивановского общества старых большевиков с приглашением приехать в Иваново 7 февраля — день воспоминаний о Фрунзе.

Но у него нет ни часа свободного времени. А как бы хотелось провести этот день среди земляков.

Он посылает в Иваново телеграмму: «Вместе с Вами храню память великого полководца революции, любимого ученика Ленина, человека кристальной чистоты — Михаила Васильевича Фрунзе. Он нашей славной губернии лучший представитель. Его жизнь и борьба — это целый университет большевистской мудрости, ленинской закалки. Его жизнь — это историческая наука идущим на смену кадрам большевиков».

Многие часы посвящены встречам, разговорам и с молодыми и со

старыми писателями.

Сколько многим он нужен. Сколько многим помогает в работе.

С удовлетворением показывает мне дарственный экземпляр «Конармии» (нового издания) и письмо Исаака Эммануиловича: «Все твои указания принял к руководству и исполнению». Это от Бабеля! От писателя, мастерством которого он всегда восхищался.

Всеволод Иванов, как и Бабель, сразу полюбился ему: «Нахохлившись, сидел над столом и, когда давал руку — привстал чуть-чуть на стуле — это получилось немножко наивно, но очень-очень мило, сразу показало нежную его нутровину. Глаза хорошие, добрые, умные, а главное — перестрадавшие. Говорит очень мало, видимо, неохотно и, видимо, всегда так. Он мне сразу очень люб. Так люб, что я принял его в глубь сердца, как немногих. Так у меня бывает редко...»

А Всеволод Иванов, в свою очередь, записал: «...через всю комнату светятся большие глаза Фурманова, кажется, что он слышит и понимает нас больше, чем кто-либо. Его лицо представляется мне всегда удивленным, мечтательным и строгим. До какой-то степени он и его творчество, по-видимому, воплощает для нас путь, по которому предстоит идти литературе: дерзкий, возвышенный и в то же время классически простой...»

Прекрасно передают эти строки и облик Всеволода Иванова и внутренний облик самого Фурманова.

С истинно партийной чуткостью отнесся он к Николаю Никитину, талантливому ленинградскому прозаику, некоторые произведения которого («Рвотный форт») страдали серьезными идеологическими недостатками и встретили резкое осуждение напостовской критики.

Фурманов и сам видел эти недостатки. Однако, как всегда, он был решительным противником «напостовской дубинки».

Беседа его с Никитиным была дружеской и задушевной. Николай Никитин, написавший впоследствии многие полюбившиеся советскому читателю романы, никогда не забывал ни этой встречи, ни бесед своих с Фурмановым. А напостовские вожди, от Родова до Авербаха, именно подобную практику Фурманова, заботу его о всей советской литературе расценивали как отступление от «напостовской» линии, как предательство (!), как правый уклон...

Февраль принес нам новую тяжелую потерю. Умерла замечательная писательница Лариса Михайловна Рейснер. Она изредка бывала на наших мапповских вечерах. Мы все были влюблены в нее. Фурманов часто с ней беседовал.

Скорбно стоял Фурманов в почетном карауле. В Доме печати. В том же зале, где обычно проходили наши ожесточенные дискуссии... И кто мог знать, что через несколько недель мы будем стоять в том же зале в карауле у гроба нашего друга, нашего Митяя? Кто мог знать?..

На пятой (февральской) конференции МАПП Фурманов, больной гриппом, с высокой температурой, делает основной доклад, требует выполнения постановлений ЦК о литературе.

Наконец-то большинство московской организации присоединяется к Фурманову. Конференция проходит под знаком борьбы с «ультралевыми» в лице Г. Лелевича, С. Родова, И. Вардина. Дается наказ делегатам на Всесоюзную конференцию пролетарских писателей — исключить Родова, Лелевича и их соратников из руководящих органов ВАПП.

Однако борьба не прекращается. Противники Фурманова идут в контратаку.

Фурманова стараются дискредитировать, оттеснить, развенчать как писателя и руководителя. До последних дней жизни борется Дмитрий Андреевич за партийную линию в литературе. Он не оставляет поля боя до последней минуты.

В феврале 1926 года была созвана чрезвычайная конференция Всероссийской ассоциации пролетарских писателей.

Фурманов напряженно готовится к выступлению на конференции, как к решительному бою. Но болезнь прогрессирует. Врачи запрещают Фурманову вставать с постели. Нае приходится насильно удерживать его. Он вызывает нас к себе, дает советы, как выступать, дает оперативные и тактические указания для борьбы с противниками.

Он обращается к конференции с письмом: «Приветствую чрезвычайную конференцию, собравшуюся решить важные вопросы для обеспечения правильного руководства пролетарской литературой. Требую полностью выполнения постановления ЦК о литературе, привлечения «попутчиков», близких нам, очищения наших рядов от двурушников, интриганов и склочников».

Он пишет письмо в ЦК, руководителю отдела печати поэту Владимиру Нарбуту:

«В жару и слабости лежу восемь дней. В четверг утром жду выяснения: так пройдет эта пакость или осложнится воспалением легких. Если минует — к концу недели (или в начале следующей) буду на ногах...»

Но большинство конференции не хочет еще прислушиваться к словам Дмитрия Андреевича. Литераторы, руководимые Леопольдом Авербахом, для виду осуждая левацкие напостовско-сектантские позиции Родова и

Лелевича, в то же время пытаются изобразить позиции Фурманова как позиции правого толка, дающие слишком много свободы «попутчикам».

12 марта мне позвонила Ная.

— Приезжай немедленно. Митяю хуже.

Я, в свою очередь, позвонил Мате Залка.

— Положение очень серьезное. Приезжай сейчас же на Нащокинский.

Вскоре оба мы были у постели Фурманова. Ная встретила нас в слезах.

— Плохо, очень плохо, — сказала она. Митяй не промолвил ни слова. Только посмотрел печально и как-то виновато.

...Фурманов мечется в бреду, и мы не хотим огорчать его рассказами о ходе конференции. Чтобы порадовать его, мы принесли свежий номер журнала «Октябрь» со статьей его о «Железном потоке» Серафимовича и номер «Правды» с очерком о Марусе Рябининой, чапаевке, ивановской ткачихе.

Но представитель наших противников пробивается к его постели. 13 марта днем он появляется на квартире Митяя, будто бы справиться о состоянии его здоровья.

Фурманов спрашивает его о делах.

— На что ты надеялся, — цинично отвечает непрошенный гость, — ведь вас меньшинство. Вопрос твой провален. Некоторые хотели тебе тоже записать «уклончик». Да уж пощадили. Выздоровливай, найдем общую точку. Пора тебе бросить эту нелепую борьбу. Никому она ничего не принесет. Сам понимаешь, что слишком загнул.

...Болезнь усиливалась. Врачи констатировали менингит. В доме беспрерывно дежурили близкие друзья. Не отходила от его постели исхудавшая, скорбная Ная. Приехал старый ивановец Шарапов. Пришла сестра Ленина, Анна Ильинична Елизарова. Молодой писатель Иван Рахилло колот во дворе лед для компрессов. Беспрерывно звонил телефон. Сотни людей справлялись о здоровье Митяя. Товарищи из ЦК, из ПУРа, из Госиздата, Куйбышев, Бубнов, Белов, Накоряков, чапаевцы, туркестанцы, писатели, бойцы, совсем незнакомые люди.

Вечером 13 марта 1926 года Фурманов, умирающий, вырываясь из рук державших его товарищей, шептал: «Пустите меня, пустите... Я еще не все успел сказать... Не все сделал. Мне еще так много нужно сделать...» С этими словами он потерял сознание и через два дня, 15 марта, в девять часов вечера умер. Ему было только тридцать четыре года...

17, марта в 11 часов дня состоялась гражданская панихида в Доме печати. В почетном карауле стояли делегаты Реввоенсовета, герои гражданской войны, представители ВЦИК и Московского Совета,

чапаевцы, писатели, рабочие. Венки... Целое море цветов. Горячо и скорбно говорили друзья. Потом подъехал артиллерийский лафет, сопровождаемый эскадронам кавалеристов. Длинная процессия протянулась по всей Пироговской улице до Новодевичьего кладбища.

И опять речи у свежего могильного холма. Выступал Демьян Бедный. Подавляя слезы, говорил старинный друг Митяя, ивановец и чапаевец, поседевший в боях воин Николай Михайлович Хлебников. Представители ПУРа и Московского комитета. Венгерский писатель Вела Иллеш. Стихи памяти Фурманова прочел Александр Жаров. Многие, не стыдясь, плакали. Успокаивая Анну Никитичну, сам заливался слезами Мате Залка.

Он писал потом, наш славный друг Мате:

«Все это казалось ненужным, невероятным, неестественным. Фурманов умер. Я могу представить Дмитрия убитым в бою. Лежит на поле комиссар с орденом на груди, лежит павший смертью храбрых. Но грипп... Бредом казалась нелепая эта смерть...»

В «Правде» была напечатана статья нашего старшего, Александра Серафимовича, «Умер художник революции».

«Что нужно от большевика? Чтобы он во всякой работе, во всякой деятельности был одним и тем же — революционным работником, революционным борцом. Таким был т. Фурманов. Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гражданском бою, и с пером в руке за писательским столом. Один и тот же: революционный строитель, одинаково не поддающийся и одинаково гибкий...»

И как наказ ушедшего от нас Фурманова, нашего друга и вожака, к жизни, к борьбе, к творчеству звали нас слова некролога: «И он ушел. Ушел и унес с собой еще не развернувшееся свое будущее. Ушел и говорит нам своим художественным творчеством: *Берите живую жизнь, берите ее трепещущую, — только в этом спасение художника*».

Это была наша программа. Эти слова начертали мы на своих творческих знаменах.

«Кто писал фурмановские вещи? — взволнованно восклицал на страницах «Правды» Михаил Кольцов. — Писал свой, до мозга костей близкий революции человек, не пришедший к ней, а вышедший из нее, боевик, коммунист, участник подлинных боев, один из тех, которыми победили и утвердились наша власть, наши идеи, наше будущее.

Как написаны фурмановские книги? Просто, сурово-скромно, крепко сшиты, насквозь пропитаны целостным мировоззрением марксиста, вынесшего и прокалившего свой строй мыслей сквозь ураган шрапнелей, а не только через теплицы библиотек».

«Для меня, — утверждал Анатолий Васильевич Луначарский, — он был олицетворением кипящей молодости, он был для меня каким-то стройным, сочным, молодым деревом в саду нашей новой культуры. Мне казалось, что он будет расти и расти, пока не вырастет в мощный дуб, вершина которого подымет над многими прославленными вершинами литературы... Он был необычайно отзывчивым на всякую действительность — недлинный, внимательный реалист: он был горячий романтик, умевший без фальшивого пафоса, но необыкновенно проникновенными, полными симпатии и внутреннего волнения словами откликнуться на истинный подъем и личностей и масс. Но ни его реализм, ни его романтизм никогда ни на минуту не заставляли его отойти от его внутреннего марксистского регулятора...

Я считал Фурманова надеждой пролетарской литературы: среди прозаиков ее, где, несомненно, есть крупные фигуры, Фурманов был для меня крупнейшим...»

А первый поэт нашего комсомола Александр Безыменский, выступая на VIII комсомольском съезде, дал наказ молодежи учиться у Фурманова.

«Если кто-нибудь захочет узнать, как мыслили люди в боевое время, если кто хочет узнать, какие люди делают революцию, как боролись и умирали за наше дело, тот... увидит в книгах Фурманова лицо боевых дней наших, по которым нам надо будет учиться, по которым каждому молодому члену партии, каждому комсомольцу нужно будет закаляться, воспитываться...»

Вскоре пришло письмо из Сорренто. От Алексея Максимовича Горького. Он писал Анне Никитичне:

«Утешать — я не умею. Да и чем утешить человека, который навсегда потерял лучшего друга своего? Размышления — не помогают в этих случаях. Помочь может только та биологическая сила, которая иногда залечивает даже и смертельные раны. А еще может помочь гнев против этой же силы, так часто неспособной противостоять преждевременной и невольной гибели человека, но я думаю, что всего лучше Вам помог бы гнев против тех условий, в которые так трагически, так безжалостно все мы люди поставлены историей. Ведь именно этими условиями и объясняется гибель множества таких людей, как Пушкин, Лермонтов, которые — живи они — дожили бы почти до наших дней... Но мир становится лучше. Вот — в нем все больше рождается таких орлят, как ваш муж...» И в другом письме: — «Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерял человек, который быстро завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он хорошо чувствовал, и у него был живой ум.

Огорчила меня эта смерть. Я с такой радостью слежу за молодыми, так много и уверенно жду от них...»

...На могиле Фурманова была установлена бронзовая плита. На ней высечены клинок и книга, увенчанные лавром.

— Есть что-то поистине символическое в том, — сказал Демьян Бедный, — что в этом гробу наряду с книгой покойного писателя лежит его сабля, сохранившаяся от боев гражданской войны. В этом сочетании весь Фурманов: он был не только писателем, но и бойцом.

Миллионы людей читали книги Фурманова. Миллионы людей во всем мире видели его героев на экране, слышали их голоса. Миллионы людей видели, как растет мужественная дружба Чапаева и Фурманова.

Вместе с Мате Залка незадолго до боев в Испании прикрепляли мы мемориальную доску к дому в Нащокинском переулке, где так часто собирались в былые дни у Митяя, где читал он нам первые главы «Чапаева».

Во времена войны испанского народа против фашизма возник в Испании батальон, который носил имя Чапаева. Батальон этот входил в Интернациональную бригаду, которой командовал близкий друг Фурманова, стоявший в последние минуты у его изголовья, венгерский писатель-коммунист Мате Залка, доблестный генерал Лукач.

Именем Фурманова называли боевых, отважных комиссаров в испанской народной армии. Фильм «Чапаев» показывали в Мадриде, за несколько часов до боя с войсками мятежников на окраине Университетского городка. Вдохновленные образами Чапаева и Фурманова, шли в бой бойцы Интернациональной бригады. «Песню чапаевцев» и боевой марш батальона сочинил немецкий поэт-антифашист Ульрих Фукс, погибший под Теруэлем. «Песня чапаевцев» пелась на мотив «Белая армия, черный барон». Боевой марш кончался словами:

*Франко и Гитлер, плох ваш расчет,
Мы защищаем испанский народ,
Каждый из нас Чапаева сын,
В штурм, на победу, вперед, как один!*

В песне о военном комиссаре известный испанский поэт Хосе Эррера писал

*Он вырос сам в войне гражданской,
В боях твой опыт повторен,
О новый Фурманов испанский,
Тобой Чапаев закален!*

Как интересно перекликается эта песня с другой, сложенной советским народом:

*Кто шел когда-то
В бой с тобой,
Тебя он вспомнит, дорогой
Товарищ комиссар;
И к этажерке в этот миг.
Быть может, подойдет,
С любовью среди сотен книг
«Чапаева» найдет.
И он расскажет сыновьям,
Как ты на битвы звал.
Как ты с Чапаевым врагам
Пощады не давал.
Еще расскажет он о том,
Как в час опасный вдруг
Ты приходил к бойцам, как в дом
Приходит к другу друг...*

В Африке, в Корее, на Кубе, в героическом борющемся Вьетнаме меня познакомили с Чапаевыми и Фурмановыми, борющимися против иноземных захватчиков, за свободу и счастье своей родины.

Традиции Фурманова живут в советской литературе.

Образ комиссара-писателя запечатлен в десятках песен, сложенных нашим народом, созданных нашими поэтами, песен, посвященных Чапаеву и Фурманову.

Книги Фурманова были любимыми книгами Николая Островского. В одном ряду с героями Фурманова — Левинсон и Корчагин, Воропаев и

Мересьев.

«Весь... мой жизненный путь представляет логическое развитие пути тех элементов трудовой интеллигенции, которые представлены в литературе Фурмановым», — писал Всеволод Вишневский.

Традиции Фурманова воплотили и в своей горячей жизни и в своих книгах и чех Юлиус Фучик, и болгарин Никола Вапцаров, и сохранивший несломленный дух, не покоренный даже в страшных застенках Моабита наш славный товарищ Муса Джалиль.

Фурманов «создал одну из наиболее прекрасных и наиболее волнующих повестей русской истории, — писал в предисловии к французскому изданию «Чапаева» замечательный писатель-коммунист Поль Вайян-Кутюрье —...Одно из достоинств книги Фурманова в том, что она читается одним дыханием, так она увлекает чудесами героизма, неслыханным бескорыстием и энтузиазмом гражданской войны...»

В рядах Чапаевской дивизии прошли первую боевую школу такие прославленные впоследствии герои Великой Отечественной войны, как генерал-полковник Н. М. Хлебников, генерал-лейтенант А. В. Беляков, отважный защитник Москвы генерал Панфилов.

Тысячи молодых воинов Советской Армии в дни Великой Отечественной войны мечтали о том, чтобы походить на Фурманова. Книги Фурманова лежали в их походных мешках. Часто они были прострелены пулями, окровавлены. Подвиги чапаевцев вдохновляли бойцов на новые легендарные подвиги в боях за свою Родину. И это лучший памятник большевику-писателю комиссару Дмитрию Фурманову.

ЭПИЛОГ

ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ

Много лет назад Мате Залка вспоминал, как Фурманов, рассказывая ему об Иванове — городе ткачей, однажды мечтательно заметил:

— Написать бы «Ткачей», только не по Гауптману, а по Ленину. Ивановские ткачи народ хороший, ворчливый, бедный, но пролетарский дух у них вышибешь только с жизнью. Много сделали ивановские ткачи для революции, и сделали это от всего сердца...

...Как любил он город своей юности! Прощаясь с ним, уезжая осенью 1918 года на фронт с полком ивановских ткачей, он записывал в дневник: «Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы. Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим мы на фронте твое славное имя, твое геройское прошлое...»

...И вот прошло больше тридцати лет, и мы опять на родине Фурманова. С братом его Аркадием и дочерью Анной.

Как же вырос он и похорошел, старый город ткачей! Но мы не задерживаемся в нем. Мы еще вернемся. Первая встреча с ткачами, отмечающими 70-летие со дня рождения своего легендарного земляка, в бывшем селе Середа, где он родился.

Мы мчимся по шоссе. И вдруг, точно на триумфальной арке, расположенные полукружьем, вырастают перед нами огромные буквы: «Город Фурманов». Нет больше старого села Середы. Мы въезжаем в новый город, носящий имя Митяя.

Трудно описать ту минуту, когда на взгорье перед корпусами ткацких и прядильных фабрик вырастает перед нами огромный памятник. Во весь рост стоит, с непокрытой головой, питомец ивановских ткачей, ученик и друг Фрунзе, комиссар Чапаева и Ковтюха, писатель-воин-большевик. И кажется, глаза его дружески улыбаются нам, а волнистые волосы развеваются на ветру.

...А у подножья памятника уже трубят горны, бьют барабаны... Маленькие люди в красных галстуках, хорошо знающие книги Фурманова, десятки раз с волнением смотревшие фильм «Чапаев», собираются на торжественную общегородскую пионерскую линейку, посвященную 70-летию со дня рождения своего земляка.

Развешиваются отрядные знамена и шелестят ленты венков. Уже отдана команда, и высокая стройная девочка, Таня Александрова из дружины имени Фурманова, отдает рапорт.

И как клятва звучат в морозном воздухе торжественные слова:

— Будем похожи на Фурманова!..

...На торжественном вечере в фабричном клубе была показана инсценировка: фрагменты жизни Фурманова. 1917 год... Октябрь. На сцене заседает Ивановский Совет. Старые ткачи, отцы, матери... и совсем юные работницы.

Через весь переполненный, замерший зал бежит юноша... Гимнастерка. Буйная шапка вьющихся волос... Фурманов. Он только что говорил по телефону с центром.

— Товарищи! Временное правительство свергнуто!..

Минута молчания. И — «Интернационал».

Это было тогда, сорок четыре года тому назад... В 1917-м. Это было сегодня. В 1961-м.

Старая седая прядильщица сидела рядом со мной. Она, как девочка, взбежала на сцену. И там запела со всеми. И весь зал уже пел «Интернационал». И неизвестно было, где кончается инсценировка и где начинается жизнь. И у многих на глазах были слезы...

...А сцены уже неудержимо следовали одна за другой. И Феоктиста Егоровна Пыжова, та самая седая прядильщица, наша соседка, провожала ткачей на фронт... И юноша-токарь — Женя Ледов, сегодняшней Фурманов, встречался с Чапаевым.

Много лет назад Митяй искренне и задушевно говорил мне:

— Я, конечно, не ханжа и не лицемер, и мне очень хочется, чтоб книга моя понравилась. Но как бы хотел я знать, сколько лет она будет жить и не умрет ли как однодневка, не выдержав испытания нашего сурового, грозного и прекрасного времени...

Как бы хотел я, чтобы он сидел сейчас в этом зале, наш Митяй, чтобы он видел себя — Женю Ледова и старую ткачиху Феоктисту Пыжову, чтобы ему повязывала красный галстук маленькая курносая Таня Смирнова...

Как бы я хотел, чтобы он вместе с нами пел «Интернационал» и ходил по широким улицам города, который с гордостью носит его имя.

...Десятки собраний на ивановских фабриках, в институтах, в школах... Выступления соратников, друзей, учеников...

А потом мы покинули край ткачей и отправились в необычайную поездку по всем тем местам, где Дмитрий Андреевич Фурманов боролся за Советскую Родину, чтобы откупорить, как говорил Фрунзе, «оренбургскую

пробку», чтобы дать сырье ивановским фабрикам.

Из города Фурманова самолет унес нас к предгорьям Тянь-Шаня, в край белоснежного хлопка, в город, носящий имя Фрунзе.

...Поздним вечером мы бродили по аллеям парка у подножья хребта Ала-Тау. И киргизский писатель Чингиз Айтматов, автор лирической «Джамили», переведенной на многие языки мира, рассказывал нам о том, как дороги имена Фрунзе и Фурманова для киргизского народа. Маленький захолустный город Пишпек, где семьдесят шесть лет тому назад родился Фрунзе, стал оживленным столичным городом, утопающим в садах. Маленькие киргизские школьники читают книги Фурманова, и играют в Чапаева, и заучивают наизусть главы из «Мятежа». Ученые пишут исследования о государственной деятельности Фурманова в Семиречье.

Над снежными вершинами Ала-Тау мерцали звезды. Внизу горели огни киргизской столицы.

В ярко освещенном новом кинотеатре (в который раз!) шел неумирающий фильм. Василий Иванович Чапаев задумчиво стоял на мосту, и к нему приближался стройный человек в туго перехваченной ремнем солдатской гимнастерке.

«...Здравствуйте, я Фурманов...»

В перерывах между многолюдными собраниями, посвященными Фурманову, мы осматривали город, пересеченный широкими аллеями-проспектами, выходящими прямо к подножью гор.

Памятник генералу Панфилову, герою Отечественной войны, бывшему солдату Чапаевской дивизии.

Домик, где родился Фрунзе. Музей... Вся история замечательного человека. Арсения. Трифоныча. Михайлова. Первые подпольные кружки. Верный. Тюрма. Кандалы. Камера смертников. Стокгольмский съезд. Иваново. 1905 год. Митинги ткачей. 1917 год. Революция на Талке.

Учитель и друг Фурманова.

Картины и фотографии, запечатлевшие борьбу против Колчака. Фрунзе — Фурманов — Чапаев. Фрунзе — Куйбышев — Чапаев — Фурманов. Река Белая. Знаменитый штурм Уфы.

Особую роль сыграли в том бою артиллеристы молодого командира Николая Хлебникова (изображенного в «Чапаеве» под именем Хребтова).

А сейчас генерал-полковник Хлебников стоит перед картиной, и дымка воспоминаний застилает его глаза.

...А через час Хлебников на многолюдном собрании увлеченно рассказывает жителям киргизской столицы о жизни их замечательного

земляка Михаила Фрунзе и о своем закадычном друге Дмитрие Фурманове.

...Мы едем среди гор по Чуйской долине из Фрунзе в Алма-Ату. Река Чу. Граница Киргизии и Казахстана.

На окраине селения Жана-Турлык неожиданно возникает перед нами большая мемориальная доска. В середине барельеф. Знакомое, родное лицо. Митяй.

«Продолжая свой путь из Пишпека в Верный, здесь осенью 20-го года останавливался комиссар Чапаевской дивизии Дмитрий Андреевич Фурманов».

Неподалеку от доски старый дом, где помещался пикет. У дома огромный развесистый карагач. Здесь, под этим карагачем, он сидел на камнях сорок один год тому назад и заносил путевые заметки в неразлучный свой дневник. Здесь...

Со всех сторон к нам бегут люди. Взрослые. Школьники. Малыши.

Учитель семилетней школы Мурзакул Абдрасимов приводит своих учеников.

Вспыхивает митинг. Перед ребятами, раскрасневшимися, взволнованными, оживает тот человек, облик которого врос в их сознание с первых лет жизни, книги которого они читали, герой любимейшей им картины.

А теперь перед ними выступали дочь и брат Фурманова.

Маленькая уморительная девчушка в красном платьице давно уже потрясала огромным звонком на крыльце школы. Перемена окончилась. А ребятам все еще не хотелось расставаться с нами. Да и мы прощались с неохотой, долго еще выведывая всякие подробности у седобородого аксакала, который утверждал, что видел Фурманова с книжкой в руке под раскидистым этим карагачем.

...И вот мы уже в Алма-Ате. Восхищаемся прекрасным памятником Абаю... Проезжаем по широкой и просторной улице Фурманова. Останавливаемся у бывших Белоусовских номеров, где жил Фурманов.

Доска: «В 1920 году в этом доме жил герой гражданской войны, комиссар легендарной Чапаевской дивизии, писатель-большевик Дмитрий Фурманов, вписавший героические страницы в историю нашего города, в историю борьбы за советский Казахстан».

...Въезжаем на территорию старой крепости, так хорошо знакомой нам по «Мятежу». Памятная доска:

«Здесь в бывшей военной крепости 11–18 июня 1920 года бесстрашными героями-коммунистами во главе с видным политработником Советской Армии писателем Фурмановым был подавлен

контрреволюционный мятеж».

Здесь, в этом старом каземате, сидел Фурманов в ожидании расстрела. Здесь заносил он в свой дневник последние, казалось, записи.

Здесь писал он о том, каким должен быть большевик и в жизни и в смерти. Эти страницы дневников — замечательный моральный кодекс Фурманова, воина-большевика.

...Мы выступаем в Высшей партийной школе. Здесь собраны партработники всех республик Средней Азии.

Мы проводим вечер в доме партийного просвещения. Выступаем перед студентами университета. Беседуем с бойцами алма-атинского гарнизона. Передаем привет от ивановских и фурмановских ткачих работницам швейной фабрики коммунистического труда. Она носит имя Гагарина и помещается на улице Фурманова.

И опять и опять страницы истории оживают перед тысячами наших слушателей. И это не только история. Это не только легенда. Это проникновенный разговор о подвигах, о героизме, о людях, воплощающих фурмановские традиции.

...А потом мы опять поднимаемся высоко в горы. Солнце золотит снеговые шапки.

Точно в почетном карауле, стоят по обочинам дороги тянь-шаньские голубые ели, тополя, березы, дубы, карагачи...

И вот открывается среди гор широкая долина. Поселок Медео. Знаменитый международный высокогорный каток.

А в поселке... дом, где когда-то Фурманов создал первый красноармейский госпиталь. Он приезжал сюда. Он бродил по этим дорогам, любовался величественным хребтом Тянь-Шаньских гор и думал о людях, о тех, кто не щадил ни здоровья, ни жизни в борьбе за народное счастье...

...Из Алма-Аты воздушный прыжок в Ташкент.

И опять воскресает история. И Фурманов, начальник Политуправления Туркестанского фронта, шагает с нами по старым ташкентским улицам.

На встречах в Доме офицера, в университете немало ветеранов, помнящих еще старые, боевые годы, соратников Фрунзе и Фурманова. И нельзя слышать без волнения, как читает студент четвертого курса Хозрабкулов отрывок из «Чапаева» на узбекском языке. А речь в этом отрывке идет о Николае Хребтове. А Николай Хребтов — генерал Хлебников сидит тут же в зале и подозрительно часто моргает совсем еще молодыми ястребиными глазами.

Последний вечер в солнечном гостеприимном Самарканде. И самолет

уносит нас в Москву. Мы совершили только часть пути по местам, связанным с жизнью и борьбой Фурманова.

Впереди еще Урал... И Башкирия... И река Белая. И Красный Яр. И Старая Сломихинская станица, носящая сейчас имя Фурманова.

Впереди еще Кубань и места, связанные с красным десантом, с разгромом Улагая. Впереди еще города Закавказья...

Он умер совсем молодым. Но как богата и насыщена была его жизнь.

Он написал, в сущности, только четыре книги. Но жизненного материала накопил еще на двадцать.

Путешествие по фурмановским местам для нас было поездкой не в историю, не в далекое «вчера», а в сегодня и в завтра.

Писатель-воин-большевик заслужил ту народную любовь, горячее проявление которой видели мы и в Иванове, и во Фрунзе, и в Алма-Ате, и в Ташкенте...

О такой любви можно только мечтать.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

Д. А. ФУРМАНОВА

1891, 7 ноября (н. с.) — Родился в селе Серeda Иваново-Вознесенской губернии (ныне город Фурманов).

1899 — Поступил учиться в Иваново-Вознесенское шестиклассное училище (теперь средняя школа № 23).

1905, июль — Закончил шестиклассное училище.

Август — Поступил в Иваново-Вознесенскую торговую школу (теперь средняя школа № 26 имени Д. А. Фурманова).

1908 — Окончил торговую школу.

1909 — Поступил в 5-й класс Кинешемского реального училища.

1910, 26 июня — Делает первую запись в дневнике.

1912, июнь — Заканчивает Кинешемское реальное училище.

6 июля — Первое произведение Фурманова (стихи «Мне грустно осенью холодной») опубликовано в печати.

Август — Зачисляется студентом Московского государственного университета.

1913 — Смерть отца.

1914, декабрь — Уезжает с санитарным поездом на кавказский фронт.

1915, январь — Выехал с санитарным поездом на турецкий фронт.

19 января — Знакомство с А. Н. Стешенко (будущей женой).

Сентябрь — Переводится на юго-западный фронт.

Декабрь — Приезжает в Москву для лечения глаз.

1916 — Пишет стихотворение «Пробуждение великана».

Февраль — В московской газете «Русское слово» напечатан очерк Фурманова «Братское кладбище на Стыри».

Апрель — Прибывает на западный фронт в район Двинска.

Октябрь — Возвращается в Иваново-Вознесенск.

Ноябрь — Начинает работать преподавателем на рабочих курсах.

1917, май — октябрь — Поездка с беседами и лекциями по деревням Иваново-Вознесенской губернии.

Август — Кооптирован в состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Избирается секретарем штаба революционных организаций. Приезд в Иваново-Вознесенск М. В. Фрунзе.

Сентябрь — Делегируется на Всероссийское демократическое

совещание в Петрограде.

Избран товарищем председателя исполкома Иваново-Вознесенского Совета.

Ноябрь (7) — На заседании Совета оглашает сообщение о свержении Временного правительства.

1918, март — Фурманов — член президиума Иваново-Вознесенского губисполкома.

Июль — Фурманов вступает в партию большевиков.

Август — Женитьба на А. Н. Стешенко.

Сентябрь — Избран секретарем Иваново-Вознесенского окружкома РКП(б).

Октябрь — Избран в состав Иваново-Вознесенского губкома РКП(б).

Ноябрь — Избран секретарем губкома РКП(б).

Декабрь — Выезжает в Ярославскую губернию для инспектирования деятельности военных комиссариатов и налаживания работы в воинских частях.

1919, 31 января — 1 февраля — отправляется на фронт с отрядом иваново-вознесенских рабочих.

28 февраля — Первая запись в дневнике о Чапаеве. Назначен комиссаром группы войск, возглавляемой Чапаевым.

9 марта — Первая встреча с Чапаевым.

10 марта — Сломихинский бой.

22 марта — Сформирована 25-я дивизия. Начдив — Чапаев, комиссар — Фурманов.

Апрель — Бои за Бугуруслан.

9 июня — Взятие Уфы.

Август — Отъезд из Чапаевской дивизии. Назначен в Политуправление Туркестанского фронта.

Сентябрь — Гибель Чапаева.

Фурманов — начальник Политуправления Туркестанского фронта.

Декабрь — Присутствует на VIII Всероссийской конференции РКП(б). Слушает доклад В. И. Ленина.

Участвует в работе VII Всероссийского съезда Советов, I Всероссийского съезда политработников.

1920, февраль — Вместе с Фрунзе прибывает в Ташкент.

Март — Направлен во главе группы работников в Семиречье как уполномоченный Ревсовета Туркфронта.

Июнь — Назначен военным комиссаром 3-й Туркестанской дивизии.

12 июня — Начало мятежа в г. Верном.

18 июня — Под руководством Фурманова мятеж в Верном бескровно ликвидирован.

Август — Смерть матери.

Откомандирован на Кубань, в 9-ю армию.

Назначен комиссаром отряда по ликвидации врангелевского десанта генерала Улагая.

Сентябрь — Полный разгром десанта Улагая. Фурманов контужен. (Позже за участие в разгроме десанта награжден орденом Красного Знамени.) Назначен начальником политотдела 9-й армии.

Декабрь — Участвует в работах II Всероссийского съезда политработников в Москве, в работах VIII Всероссийского съезда Советов.

1921, март — Вышла в свет первая книга Фурманова — брошюра «Красная Армия и трудовой фронт».

Апрель — Переводится в Тифлис в распоряжение политотдела 11-й армии. Назначен редактором газеты 11-й армии «Красный воин».

Май — Откомандировывается в Москву. Назначен политредактором в Высший военный редакционный совет.

Октябрь — Назначен редактором отдела военной литературы РВСР и заведующим редакцией журнала «Военная мысль и литература». Поступает в Московский государственный университет на факультет общественных наук.

Ноябрь — Заканчивает повесть «Красный десант».

1922, январь — Запись в дневнике о замысле «Чапаева».

Сентябрь — В журнале «Пролетарская революция» опубликован «Красный десант».

1923, 4 января — Фурманов закончил книгу «Чапаев».

Вышла книга «Красный десант».

18 марта — Вышла в свет книга «Чапаев».

Август — Демобилизован из Высшего военного редакционного совета.

Сентябрь — Приступил к работе над книгой «Мятеж».

Октябрь — Назначен политредактором Госиздата. Потом редактором отдела современной художественной литературы.

Ноябрь — Вступил в группу пролетарских писателей «Октябрь».

1924, январь — Смерть В. И. Ленина. Записи Фурманова в дневнике о Ленине.

Март — Избран секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП).

Июль — Путешествие по Крыму.

Ноябрь — Закончил работу над книгой «Мятеж».

1925, январь — Делает доклад на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей. Избран в правление ВАПП.

Февраль — Выход книги «Мятеж». Работа в Отделе печати ЦК РКП(б).

25 марта — Первая запись в дневнике, отражающая борьбу с сектантством в ВАПП.

Май — Лечение в Мацесте.

Июль — Поездка по кавказскому побережью.

Август — сентябрь — Работа над циклом «Морские берега».

Сентябрь — Письмо от М. Горького о «Чапаеве» и «Мятеже».

Октябрь — Первая дневниковая запись о замысле романа «Писатели».

Ноябрь — Смерть Фрунзе (31 октября). Цикл очерков о Фрунзе.

1926, январь — Очерк «Как убили Отца» помещен в «Правде».

Февраль — Болезнь. Участие в работе 5-й конференции МАПП.
Литературная борьба.

15 марта — Смерть Д. А. Фурманова.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



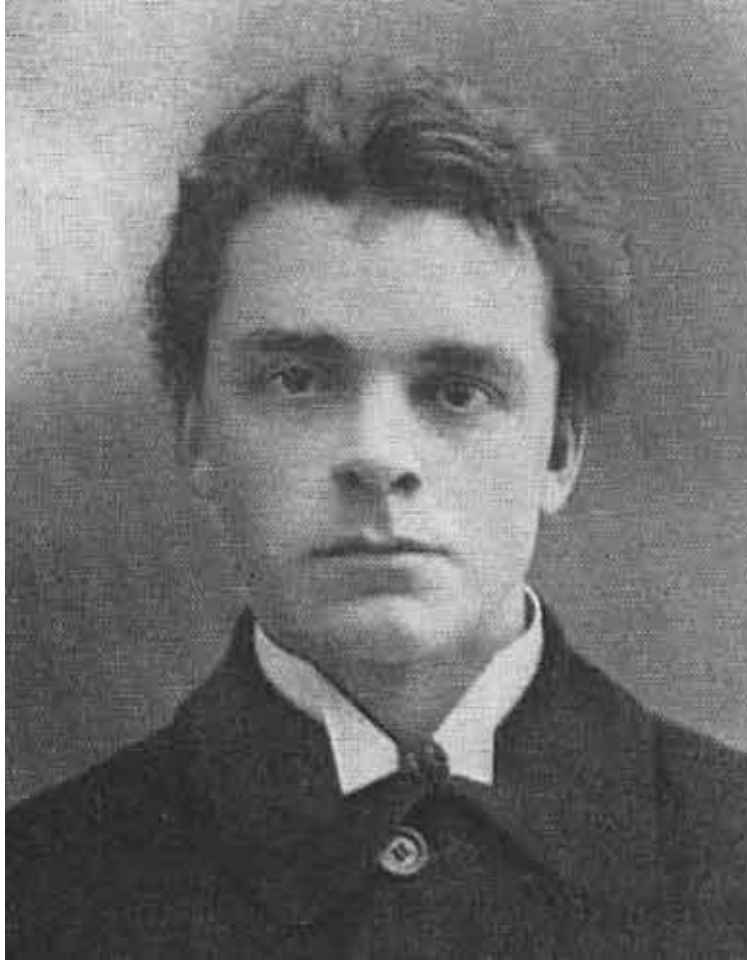
Евдокия Васильевна Фурманова.



Дмитрий Фурманов (сидит первый слева) среди учеников Иваново-Вознесенского городского училища. 1902.



Дмитрий Фурманов. 1903.



Дмитрий Фурманов — студент Московского университета. 1914.



*Дмитрий Фурманов (стоит первый слева) среди медицинского персонала санитарного поезда.
Рядом с ним Анна Никитична Стешенко. 1915.*



Д. А. Фурманов и А. Н. Стешенко на кавказском фронте. 1915.



Фурманов на северо-западном фронте. 1916



Дмитрий Фурманов. 1916.



*Слева направо: С. А. Фурманова (сестра писателя), А. Н. Стешенко, Д. А. Фурманов. Кинешма.
Ноябрь 1917 года.*



Фурманов (в центре) среди крестьян Иваново-Вознесенской губернии. Лето 1917 года.



Д. А. Фурманов и В. И. Чапаев. Уфа. 1919.



В. Гаврилову Южн. группа

Товарищи.

Разрешите мне внести предложение
на рассмотрение: Одна из деревень Совнар-
Канца имеет о недоросшихся мушкетерах
и имеет садика в одной африканской.
Я радуюсь великому Комиссару 25 Дубаева,
Женя, Вили Кукитиничи Рудиничи-Ситников,
Заведует Кукитиничи Рудиничи-Ситников,
Радина - они слава - и не уходят в ни-
шней и в нишу радуг. Ко

получил, разрешите мне внести
предложение на рассмотрение. Кукитиничи-Ситников,
Женя, Вили Кукитиничи Рудиничи-Ситников,
Заведует Кукитиничи Рудиничи-Ситников,
Радина - они слава - и не уходят в ни-
шней и в нишу радуг. Ко
1) аллоуэй и в виле Кукитиничи Рудиничи-Ситников
2) Мозес и в виле Кукитиничи Рудиничи-Ситников
3) Мозес и в виле Кукитиничи Рудиничи-Ситников

Вашим Комиссаром
25 Дубаева

Д. А. Фурманов
г. Харьков, 20.10.1919

Заявление Д. А. Фурманова в Реввоенсовет южной группы.



Д. А. Фурманов и М. В. Фрунзе. 1920.



Д. А. Фурманов среди работников культпросветотдела 25 и стрелковой дивизии. 1919.



Д. А. Фурманов и А. Н. Фурманова. 1919.



Фурманов. 1919.



Фурманов (в центре) среди группы работников, направленных в Семиречье.



Фурманов. 1921. Кубань.



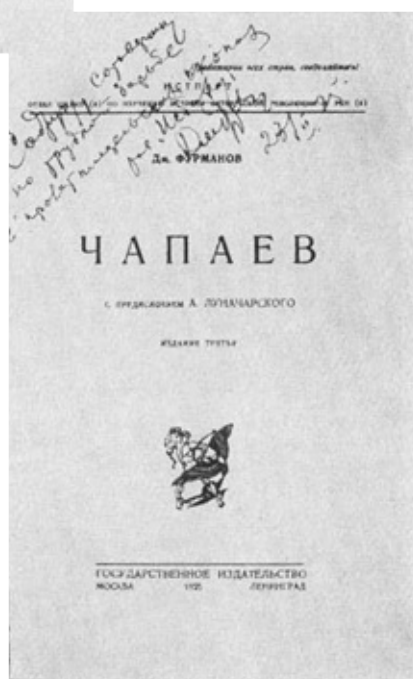
Фурманов среди военков. Тифлис. 1921.



Фурманов. 1922.



Литературная группа «Октябрь». 1924. Слева направо — первый ряд: Ф. Березовский, А. Исбах, А. Безыменский, Г. Никифоров, А. Жаров; второй ряд: С. Малахов, Д. Фурманов, А. Тараов-Родионов, Г. Лелевич, С. Родов, Перекати-Поле, И. Доронин; третий ряд: И. Катаев, И. Рахилло, М. Колосов, Е. Ефремов, А. Берзиль, Е. Дидрикуль.



Обложка и титульный лист книги «Чапаяв» с дарственной надписью автора.



Родные и друзья Д. А. Фурманова с работниками Литературного музея. Сидят: в центре Н. М. Хлебников и А. А. Фурманов; справа сестры писателя Е. А. и С. А. Фурмановы; слева М. А. Попова (пулеметчица Чапаевской дивизии). Стоят: в центре А. А. Исбах; справа от него А. Д. Фурманова (дочь писателя); слева К. В. Чапаева — дочь В. И. Чапаева; крайняя справа — А. А. Фурманова (сестра писателя).



Похороны Д. А. Фурманова. 1926.



Памятник Д. А. Фурманову в г. Фурманове (скульптор Н. В. Дыдыкин).

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ Д. А. ФУРМАНОВА

Собрание сочинений в 5 томах Гос. изд., 1928–1929. (Т. 1. Чапаев. Т. 2. Мятаж. Т. 3. Пожар. Очерки и рассказы. Т. 4. За коммунизм. Т. 5. Путь к большевизму. Страницы дневника 1917–1918 гг.).

Собрание сочинений в 4 томах. Гослитиздат, 1960–1961. (Т. 1. Чапаев. Т. 2. Мятаж. Т. 3. Повести, рассказы, очерки, литературно-критические статьи, рецензии. Т. 4. Дневники. Литературные записи. Письма.)

КНИГИ О ФУРМАНОВЕ

Сборник статей под редакцией А. Фурмановой, А. Исбаха, Б. Киреева, И. Новича. М.—Л., Гослитиздат, 1931.

М. Серебрянский, Дмитрий Фурманов. Гослитиздат, 1936.

А. Фурманова, Дмитрий Фурманов — боец — писатель — большевик (под ред. А. Фадеева). Госполитиздат, 1938.

А. Фурманова, Дмитрий Фурманов. Боец — писатель — большевик. (Биографический очерк.) Воениздат, 1939.

А. Фурманова, Дмитрий Фурманов. Иваново. Ивгиз, 1941.

Дмитрий Фурманов, Сборник материалов. Сост. Г. Горбунов. Иваново, Облгиз, 1946.

Е. Наумов, Дмитрий Фурманов. Критико-биографический очерк. Гослитиздат, 1954.

Дмитрий Фурманов — писатель-большевик (статьи и материалы). Иваново, Облгиз, 1951.

Г. Владимиров, Творческий путь Фурманова. Ташкент, Гос. изд. Уз. ССР, 1953.

Г. Владимиров, Проблемы творчества Д. А. Фурманова. Статьи. Гос. изд. Уз. ССР, 1956.

А. Калнберзина, Дмитрий Андреевич Фурманов. Критико-биографический очерк. Рига, Латгиз, 1953.

В. Озеров, Д. А. Фурманов Критико-биографический очерк. «Советский писатель», 1953

- А. Бережной*, Фурманов-журналист. Лениздат, 1955.
- Н. Венгров и М. Эфрос*, Дмитрий Фурманов. Биографический очерк. Детгиз, 1962.
- В. Сидорин*, Дмитрий Фурманов. Лекции «Высшая партшкола», 1955.
- Писатель-патриот. Сборник статей и материалов о творчестве Фурманова. Иваново, 1956
- А. Исбах*, Дмитрий Фурманов (Сборник очерков «Лицом к огню».) «Советский писатель», 1958.
- А. Исбах*, Большевик — писатель — комиссар. Изд-во «Знание», 1961.
- А. Исбах*, Дмитрий Фурманов. (В сборнике очерков «На литературных баррикадах».) «Советский писатель», 1964.
- Фурманов в воспоминаниях современников. Сборник. (Сост. А. Исбах и Д. Зонов.) «Советский писатель», 1959.
- Г. Горбунов*, Горячее сердце. Иваново, 1960.
- Г. Горбунов*, Дмитрий Фурманов. Госполитиздат, 1966.
- П. Куприяновский*, Художник революции. «Советский писатель», 1967.
- Дмитрий Фурманов*, Летопись жизни и деятельности. Ученые записки Иван. гос. пед. института имени Фурманова, 1963.
- П. Куприяновский*, Искания, борьба, творчество. Ярославль Верхневолжское изд-во, 1967.
- Н. М. Хлебников, П. С. Евлампиев, Я. А. Володихин*, Легендарная Чапаевская. «Знание», 1968.

В работе над книгой о Дмитрие Фурманове я использовал его богатое наследие: книги, дневники, записные книжки, архивные материалы.

Большую помощь мне оказали исследования и воспоминания Ю. Алескерова, Г. Броварского, А. Белякова, Н. Бельчикова, Н. Венгорова и М. Эфрос, Я. Гладких, П. Евлампиева, М. Залка, П. Куприяновского, Е. Ковтюха, В. Колчина, Л. Отмар-Штейн, М. Поповой, Г. Седых, А. Н. Фурмановой, А. А., Е. А. и С. А. Фурмановых, Н. Хлебникова, А. Шуцкевер.

Особую благодарность выражаю Г. И. Горбунову, предоставившему в мое распоряжение обильные материалы и свои записи о детстве и юности Д. А. Фурманова.

INFO

Исбах Александр Абрамович
ФУРМАНОВ

М., «Молодая гвардия», 1968.

336 с., с илл. («Жизнь замечательных людей».

Серия биографий. Вып. 16(457)).

8Р2

Редактор *С. Резник*

Серийная обложка *Ю. Арндта*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *А. Захарова*

Сдано в набор 24/VII 1968 г. Подписано к печати 13/XI 1968
г.

А04705 Формат 84x108 1/32. Бумага типографская № 2.

Печ. л. 10,5 (усл 17,64) + 13 вкл. Уч. — изд. л. 21,8.

Тираж 100 000 экз. Цена 88 коп.

Т. П. 1968 г. № 443. Заказ 1012.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Москва, А-30, Сущевская, 21.

notes

Примечания

1

В. И. Ленин, Полн. собр. соч, 5 е изд, т. 11, стр. 314.

Выделение *р а з р я д к о й*, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами заменено курсивом. — Примечание оцифровщика.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд, т. 49, стр 390

«Советское строительство», 1927, № 10–11, стр 101 «Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске».

«История гражданской войны в СССР», т. 3. М., Госполитиздат, 1957, стр. 215.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд, т. 50, стр 178.

Там же, т. 37, стр 95.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 39, стр. 246.

В. И Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 38, стр. 271.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч, 5-е изд., т. 50. стр 328.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд, т. 50, стр. 351.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч, 5-е изд, т. 39, стр. 351.

Там же.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд, т. 30, стр 362–363.

Там же, стр 407.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд, т 39, стр 413.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 39, стр. 304.

Там же.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 42, стр. 159.

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т 5-е изд, т 42, стр. 160.

Там же, стр. 161.

Пьеса «За коммунизм» была впервые опубликована в журнале «Литературное наследство» № 34, 1965. Публикация А. П. Антоненковой. Вступ статья П В. Куприяновского. Карандашная рукопись (перебеленный текст произведения) хранится в Отделе рукописных фондов ИМЛИ.